

томская классика

Вячеслав  
Шмишков

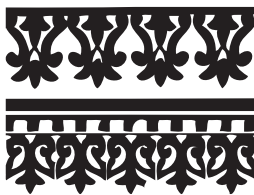
Вячеслав Шмишков

томская  
классика

IV



томская  
классика





Вячеслав Шишков

# Избранное

Томск-2014

УДК 821.161.1-32 Автор  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ш65

**Вячеслав Шишков.** Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2014. — 344 с. Составитель и автор послесловия Н. Серебренников.

Книжная серия «Томская классика»  
выходит при поддержке губернатора Томской области  
*Сергея Анатольевича Жвачкина*

Томская писательская организация благодарит  
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»  
*Андрея Андреевича Чуркина,*  
*Леонида Викторовича Ющенко,*  
*Владимира Николаевича Хорошилова,*  
*Фёдора Николаевича Халецкого*  
за финансирование издательского проекта  
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8  
ISBN 5-902350-10-7

© Н. Серебренников: составление, 2014  
© Томская писательская организация:  
переиздание, 2014

---

---

# Злосчастье

*(Из встреч)*

Тоскливо. Где-то ветер дует, отчего поверхность реки словно покрыта лаком, не успевшим местами просохнуть. Кусты задумчиво смотрят в реку, леса подёрнуты мглой. Вечереет. Чёрными силуэтами скользят по воде лодки. Вот паром торопится к берегу, а на нём люди и лошади. Там, налево, желтеет высокий песчаный берег, и хвойный лес подошёл к самому обрыву.

Два-три дерева накренились, выпустили наружу страшные корни и еле держатся за родную землю. Покачнуло их время и вырыло им могилу: налетит ветер, ударит по густым хвоям и покатаются сосны вниз, в воду.

Вот берёзка опрокинулась — упала, лежит по откосу верхушкой вниз. Но всё ещё зеленеет, всё ещё умирать не хочется. Но разве смерть пощадит её молодые боязливо трепещущие листочки? У смерти нет никому пощады. Вдали сереет степь, однообразная, сиротливая издали.

Бегут облака, одни вправо, другие влево, куда-то торопятся. Крепчает ветер, зажелтела вода, волна за волной покати-лась, и гребни их запенились сердитой слюной. Над самой водой носятся чайки, и их серые, с чёрной подкладкой, крылья красиво выделяются на опалового цвета воде. Отчего вода вдруг затеплилась — огнём заиграла? Сквозь облако, в окошечко, глянуло солнце. И спряталось.

И опять погасло всё. Улетели чайки, и не слышно больше их крика. Кругом серо и тоскливо. От реки и неба веет холодом, однообразием, скукой.

Эх, нету солнышка...

\* \* \*

Пока пароход берёт дрова, выхожу прогуляться. На берегу, поодаль, сидит кучка крестьян, всё мужики, и среди них, видно по одежде, российская баба в душегрейке. Подхожу к ним. Мужиков было человек шесть. Один из них с острыми трёхугольными глазами, безбородый, другой кривой, корявый, как старая ветла. Третий лежал ничком на животе, и его лица не было видно. Ещё, поодаль, свернувшись калачиком, лежал небритый солдат с деревянной ногой, мурлыкал что-то себе

---

под нос и от нечего делать колупал деревяшкой землю. Стою возле них, смотрю за реку, а там степь и по гривкам леса.

— Как за Обь, в Спирино попадаете? — спрашиваю.

— Лодками.

— Там много лесов?

— Нет, куды... Там степь... Леса этак поперёк идут, вёрст на семь, на десять, а там степь, чернозём гольный... Елань такая распрекрасная выдалась. Началась от Ново-Николаевска да почитай под самый Камень прошла... Скрозь!.. Шириной вёрст на шестьдесят, как не боле. Хлеба видимо-невидимо, пшеница всё, белотурка. С десятины иным годом сто двадцать, а то и все полтора ста пудов... Земля, что говорить, добрая. Хлебов столько наворочают, что по трахту-то народишу день и ночь просто чим-чимизит... И осень и зиму всё хлеб возят.

Лежащий на брюхе зашевелился, завздохал, налобучил рваную зимнюю шапчонку. Присел на землю, смотрит вдаль, говорит уныло:

— Эхма... Хороша земля, да вот места не дают нигде.

— А ты российский?

— Рязанские мы... От плохого житья на хорошее побежал, да, видно, хорошее-то не даётся даром... Есть деньги — можешь жизнь свою повернуть, нет — подыхай с голоду.

Глаза у него были воспалённые, веки в углах — точно комарами изъедены, сочились кровью. Борода, как куделя, большая, пегая. Лет сорока. Смотрит уныло и в глазах стоит большое горе какое-то...

— Где ж правда-то? Господи Христе... Что ж делать-то будешь... А?... Куда пойдёшь, кому скажешь, Господи... Ума не приложить... Вот те Сибирь... Ай-яй-яй-яй...

Встал мужик на ноги... Смотрю на него.

А лицо ещё мрачней сделалось. И губы дрожат. И голос срывается, скрипит, горем покрыт, словно трава инеем.

— В чём дело? — спрашиваю.

Замигал часто-часто, сморкнулся на землю, сказал:

— Вишь, в одних пимах остался... Да и те, дай Бог, чужи люди дали... Всё с собой, стерва, упёрла... Ай-яй-яй...

И боялся в глаза поглядеть. Скажет слово, вскинет взглядом да отвернётся в сторону: стыдно. А мужики слушают да хихикают в бороды. Только тот, что с кривым глазом, был, видимо, посердечней, слушал внимательно и вздыхал вместе с рязанцем.

— Жена у него упорала в Расею... Взад оглоблями повернула... Вишь, в чём мужика оставила: лёг — свернулся, встал — встряхнулся... Ха-ха... Кругом шестнадцать... — ска-

---

зал большеголовый дядя и пощупал насмешливым взглядом пришибленную фигуру рязанца.

— Да ты, слышь, расскажи всё путём барину-то, што ль...

Рязанец боднул головой, переступил с ноги на ногу, поскрёб за ухом и голосом, ищущим сочувствия, начал не торопясь:

— Долго ль рассказать... Рассказать мы, милый человек, завсегда можем...

Вздыхнул.

— Знаешь, поди, кака теснота у нас в Росее-то... Земли во-все мало: вроде как у журавля на кочке... Одно званье, что земля. Рендуют которые у помещиков, да что толку-то: в барышах одна солома остаётся... А и той рад-радёшенек, вот до чего... Прямо — край!.. Вот с эстого самого и надумали мы в Сибирь на вольные земли: я с бабой, да малых робят трое... Распродали всё, миру хрещёному земно поклонились, с могилками попрощались, повыли-повыли, пошли... Захожу к земскому, проходное свидетельство спрашиваю. Не дал. Говорит, это только ходокам, а вот тебе, говорит, посемейный список... «А как не приделят?» — «Приделят, не бойся...» Это земский-то... Теперича новый проехт, говорит... Пошли... Почитай два месяца бухали. В Челябине задержки: доплату давай, опять, говорят, новый проехт... Пришли до Томска, как не как дотащились... Из Томска в Барнаул, дуй не стой к переселенному начальнику: так и так, всё чередом обсказываю... Взглянул на гумагу: «А проходное свидетельство есть?» — «Нету...» — «Ну и земли нету»... — «То ись как?» — «То ись так, нету»... — «Явите, говорю, Божескую такую милость, заставьте вечно Бога молить». — «Не могу, отвечает; новый, говорит, проехт...»

И вдруг рязанец неожиданно боднул головой и закричал, как заплакал:

— Ах вы, дуй вас горой с вашими проехтами!.. На кой рожон мне проехты-те ваши!.. Земли мне подавай, земли!.. Пишут-пишут... Тьфу!.. И никакого проку... Али это не раззор?.. Али не озорство это?!.. Чтоб вы опухли все, аспиды... А?!.. Что же это, Господи... Правда-то где... правда-то?..

Тише, тише... Погас... Блеснувшие было глаза опять затуманились, подёрнулись тоской и болью: взвилась душа, да упала.

Высморкался и другим уже голосом заговорил опять:

— Ведь я как-никак, а кровь проливал, в страженях был... Главнокомандующий наш Куропаткин генерал как улещал нас: вы, говорит, робяты, не беспокойтесь... Вас, говорит, не

---

забудут, всем наградят... Вот тебе и наградили... Охо-хо-о-о-о...

И прочие откликнулись:

— Охо-хо-о-о-о...

А он отвернулся в сторону, сопит, лица не видно. Вскинув правую руку, потёр глаза грязным рукавом...

— А дальше-то?

Помолчав, заговорил:

— Туда сунуть, сюда сунуть: ничим чего... Взвыл с горя... Да как же?.. Баба на стену лезет, словно белены объелась: подавай земли, кричит, обманщик, чёрт стриженный... Хоть роди, кричит, да подай, погубитель!.. А я-то рази виноват?.. Баба зевает на меня, робятёнки воют... Ах ты, Господи... Чисто светопреставление... Приделился я тут на кирпичный завод в Камню, всё, думаю, какую копейку достану. Вот ладно... В понедельник быдто бы приделился я на завод, поробил день, пришёл на фатеру, слышу: «А хозяйка-то твоя на пароходе укатила». — «Как укатила?» — «Так, укатила... Робят забрала, всё забрала, всю лопотину»... Свету я тут Божьего не взвидел. Туда сбегану — нету!.. В другое место — нету... Уехала? Уехала... Я выть... Братцы, говорю, отцы родные, ведь она, дрянь, шестьдесят три рубля денег увезла... Ведь она меня на чужой стороне без гроша медного оставила... А?.. Ну, деньги тьфу!.. А робяты-те как же? Робят-то жаль: ведь кровные... А?.. Неужели уехала? Уехала... Я пуще...

— Да, тяжеленько, брат, тебе, — сказал кто-то.

Замигал мужик часто-часто и сквозь слёзы вымолвил:

— Верите ли, четыре дня, братцы мои, выл... До та-пор выл, аж глаза заболели... И всё ещё чудится, что слёзы-те из глаз брызжут... Во как...

Отвернулся опять, вздохнул порывисто носом... Опустился как-то весь, словно мускулы все ослабели разом. Стоит, головой крутит.

— Верите ли, — опять начал надорванный голос: — таково ли тяжело, что ах... Слаще было в бою под пулями: как мухи летали, а на сердце покой был... а теперича...

Вдруг задрожал-задрожал голос, захлебнулся, потонул в слезах. Одна за другой катились слезинки, по щекам да в борду. И хоть немного их было, но таким горем от них повеяло, таким большим горем, что все, сколько было нас, шевельнулись, дрогнули, и что-то щемящее, что-то жуткое ударило по сердцу.

И этот плачущий рязанский мужичонко в чужих пимах и рваной шапке таким близким, родным вдруг сделался...

---

— Ах ты, болезный мой... — застонала баба, зачмокала губами, сморщилась, замигала. А мужики вздохнули и закрикали.

— Да-к ты бы имал её, бабу-то... — сказал мужик с трёхугольными глазами.

— Имал бы... Да как её пымаешь без гроша-то... Сел да поехал на пароходе, высадили во тута-ка... Без денег, знамо, не повезут... Вот оно дело-то какое... Пристав, спасибо, в Камню, человек души доброй, возьми, говорит, гумагу, что баба тебя обобрала да бросила... Тогда, говорит, ваканцию можешь, говорит, где-нинабудь получить, вроде на железной дороге, али как... Ты ведь, говорит, солдат, говорит...

— Оно, конешно, один-то ты как не как прокормишься... Ково тут...

— Я-то что... Я рази пропаду... А она, чёрт с ней... Робяты-те вот только...

Тётка сказала:

— А ты отпиши в деревню... Родные-то есть тама-ко?

— Есть... Два братана есть...

— Ну, вот... Пущай мальцов покормят пока что... Поди баба-то там же вымырнет...

— Да где ж им, братанам-то... Сами с хлеба на квас перебиваются... Ведь у них сколь ртов-то?.. Боле дюжины... А земля-то, где она?.. У одного одиннадцать аршин, — уж саженьями-то не меряем, крышка! Да у другого одиннадцать, а у двоих-то двадцать два аршинчика... Да-к где ж тут?.. Дай Бог самим не пропасть с голоду... Милая-а-а-а...

Помолчали немного.

— Братцы, заверните-ко мне махорочки ради Христа.

Мужики зашевелились, полезли в карманы, сигарками потчуют, табаку отсыпали.

— Вот, к примеру, возьми меня за ногу да потряси вниз головой, хоша бы медный грош за душой был... И работы не найти здесь... Как и жить, как и жить, Господи... С утра не емши...

Российская баба зашевелилась, зачмокала сочувственно, запричитала:

— Ах, ты, болючий мой... а-ах... Не емши... Чаво ж ты... На-т-кошь, на, преснушечки... На-а-а... — развязала мешок, дала две с творогом лепёшки.

Взял:

— Ох, грехи-грехи...Эко горе-то... Что поделаешь... Куда пойдёшь, кому скажешь?.. Некому...

Лежащий на траве подвыпивший солдат с деревянной ногой повернулся набок, чвыкнул красным носом, сплюнул на

---

землю, прибоярился и сказал сиплым голосом, насмешливо косясь на бабу:

— Пресну-у-щечки... Нет, брат, тут преснушки не при чём... Нешто преснушкой пособишь в эфтаком разе... У человека мозга затрешшала, а она: пресну-у-щечки... Дура!.. Вишь у него напор сумленья какой в грудях... Тут надо чтобы в панталык, то ись, вдарило... В жилу!.. чтобы карахтер обмяк... Айдака, служба, со мной: мурызнем по махонькой... Вот-те, ха-ха, и преснушечка...

Сказав это, солдат нетерпеливо заёрзал на месте, потом, описав деревяшкой в воздухе круг, опрокинулся поспешно на четвереньки и, прохрипев: «командыва-а-ай!» — как встрёпаный привскочил с земли. Стукнул деревяшкой, подморгнув глазом, по-цыгански рывкнул: «ка-хы!!» — и захихикал, глотая слюни и потирая ладонью колючий, словно сжатая полоса, подбородок.

А рязанец, засунув за пазуху лепёшки, безучастно стоял, тоскливо посматривая на дымящийся пароход.

Кривой мужик сердечным голосом сказал:

— Тебе, брат, надо искать бабу-то, вытребовать, али как... А то что ты без бабы-то... Без бабы совсем пропадёшь... А главное дело — робяты...

— Вот это оно самое-то и есть... Робяты-те... — встрепенулся рязанец... — Да и баба-то...

И опять нахлынуло к сердцу волной горе, и опять задрожало лицо, глаза затуманились, замигали часто... Сморщился весь, словно из него жилы тянули. И не своим, бабьим голосом простонал:

— Э-эх, Таня, Таня... Вот ведь она где, вот, братцы мои... Тут, под подоплёкой... Пятнадцать лет, почитай, прожили... Шутка сказать... Думал, — навечно срослись кореньями... Пя-пятнадцать годиков ведь... Да-а.

Опять завыл... Обхватил руками голову, отвернулся, и видно лишь, как плечи вздрагивают... Борясь со слезами, твердит:

— Кабы не робяты-те... Горько ведь...

...Плач ребёнка так обычен, так естественен... Слёзы женщины так же понятны: создание слабое... Но слёзы мужчины, сильного, бородатого!.. При виде их — как хотите — становится не по себе...

...Все примолкли, словно испугались чего-то. Даже весёлый солдат перестал хихикать. Стоит на деревяшке, сопит тяжело и время от времени громко и зло, по-цыгански, крикает: ка-хы!..

---

...Пароход заревел двойной медной глоткой. Народ засуетился. Сумерки как-то незаметно подкрались, выплыли тихо из-за реки. Накрапывал нехотя дождь, а на душе стояла всё та же тоска. Кой-где в избушках огоньки затеплились. Вот и второй свисток. Надо торопиться. Прощаюсь наскоро, иду на пароход и слышу: подвыпивший солдат с деревянной ногой строжится над мужиками, что-то командует по-военному, а те хохочут и орут:

— Он-те догонит бабу-то... Найми... С эстакрой ногой как не наздогнать... Бер-ё-о-зоя...

Оглянулся. Вижу: култыхает солдат, к кабаку торопится и, в такт деревяшке, горланит, точно капусту рубит:

И! тѐ! шу! грех!..  
...И невестку грех!  
Полюблю-ка, поцелую  
Жену дя-а-дину!..

1910

---

# Ванька Хлюст

## I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далёкой горой, ещё блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трущобах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздрогнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Ещё не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звёзд, а тайга до краёв уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеётся тихо. Там, на пригорочке, большой костёр горит. А возле него — двое.

Костёр тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лижут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кряхтит у костра, греется: износилась с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, тёплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа всё ещё по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик весёлый.

Ещё у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренёк Тимша.

Да ещё две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола чёрная, юлит возле Верного. Верный лежит смиренно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пёс весел, но чуть затоскует старик, вздохнёт и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазёнками, и когда смеётся,

---

глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съёжившись, посматривая на деда, чего-то ждёт. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ёрзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну — ладно, коли так...

Дед толкает в костёр смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижёт её неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, по-таёжному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, посматривая сыскоса на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы её, чёрта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молынья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силища... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таёжная речка: хоть поздно, — давно спустился с неба сумрак, — а сон не берёт её...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска и слёзы, жаловался на что-то звёздам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей всё ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идёт, а скачет торопливо, подпираясь толстым батоном. Свет костра хлынул ему навстречу, и в тре-

---

петных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерица же ты песни петь, — сказал Григорий, — за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем, — откликнулся Ванька, щуря от света глаза, и подал деду котелок:

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветёт ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их и покроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека Божия... садись-ка вот тут. Умаялся поди, сердешный?.. — участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошёл — обнюхал и, решив, что человек надёжный, лёг.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспалые, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпицей и верёвкой обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то? — спросил дед.

Ванька глядит на него, — лицо печальное, — и нехотя говорит:

— Да што... ишь, отгнила совсем. Разве это рука?.. Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локте порешился, всё головой погнило... На одних жилах, да вот ещё на верёвках держится. Вот размотаю сбрую-то, да как шаркну по дереву — и отлетит к чёртовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одёрнул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культяпкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лёг в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепок, говорит, крестник, — крестником меня своим назвал, — терпеленья, говорит, в тебе множество». — «Отнимите, говорю, и руку-то заодно». — «Нет, говорит, рука пройдёт, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся — шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...». Я опять: «Отрежьте, Христа ради». — «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город...» Ха-ха... В город... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошёл я прямо в тайгу. Пришёл, пал

---

на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку! Говорю так, а слёзы ручьём-ручьём; торнул носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приглубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает, — и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Засиял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазёнками, а сам посвистывает. Захотел я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером, да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ни чего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку, — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься... — недоверчиво кряхтит Григорий. — Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я отец, ране-то так жил: вот забреду на заимку какую, выпрошу хлебца Христа ради да чайку, и айда... Заберёшься куда-нибудь в отдаленье, на речонку, и живёшь там, как воевода: морды плетёшь для рыбы, песни поёшь. А чёрт ли? Мне ране-то весело жилось, ни о чём не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придётся: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орёшь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопрёшься костылём, машешь рукой да орёшь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костёр гуторил, да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, звёзды караулили ночь. К ним, к звёздам далёким, вспорхнул Ванька мыслю.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шёл к нам на заимку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха... Мало ли есть каких средствиев. Эвона со мной случай какой произошёл, слушайка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоялый двор на приисках содерживала, только одна нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, враз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, шась в сенцы, а там на полке стряхнин

---

стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Ловко, — хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбькали. Рот-то расщеперили да огромный ключище меж зубов от кладовой вставили, да и лили маслото. Польем-польем, да подыдем на дыбы, да встряхнём... А потом на доску положили деваху-то, да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь какие средства оказались... Вот оно што... А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крякнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и весёлый же ты, дай Бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки... Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот ещё со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем, да заместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царапнул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет, — вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заёрзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развесёлый же у тебя, дед, характер...

## II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьёводнись послал сын на соседнюю заимку, вёрст за пятьдесят, — что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, всё повадней. Сели в лодочку, да благословясь и поплыли. А вечер, солнышко уж за лес падало — в тайге дни короткие, — глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поёт песни, и дымок возле него вьётся... Подъехали. Кто таков? Человек... Вижу, что не полено... Откедова? Бродяжка, Ванька Хлюст...

---

Возьми, говорит, дедушка, ради Господа... По народу, по слову человеческому я затосковался. Суетится дед у костра, думает, любовно поглядывает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченные будь сказано, изувечился-то?

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскрёб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха прееет... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трёх годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не весёлая...

Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителей: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: прибудыш, так оно прибудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе на слыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стёкла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антиресу больше: зубы стиснешь, налетишь, раз по уху! А сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестант...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трёх... А мамынька-то... А мамынька... — Ванька от-вернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет.

— Покойна твоя головушка... Превечный тебе покой.

Руку занёс, перекреститься хотел.

— Вот, ишь... Ну чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культияпкой?

— Ему, батюшке, всё единственно, — заметил дед, — хошь рукой, хошь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?! — вскрикнул Ванька, — вот то-то и дело, что душа...

---

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лёжа на животе, по-собачьи взлаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, наседая на Тимшу, старательно теребили надетую на нём мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то? — обратился Григорий к Ваньке. — Карахтер-то у тебя, это верно, с загогулинкой...

— Карахтер-то?.. Не озлобляй!.. Я человек не злой, я нраву весёлого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдруг на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай Бог, сгоношила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был я отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идёшь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как взыграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Во как! Не веришь? Ей-Бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчёт приисков приезжал, разведку делать... Хошь, говорит, Иван, в столицию? Знатнеющий музыкант, говорит, из тебя должен выйти... Подучить, говорит, тебя мало-мало... Пальцы-то золотые, говорит, у тебя... Цены нет твоим пальцам-то... Эхо-хо-о...

— Ну, так вот, — сказал, чуть помолчав, Ванька, — так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, поступил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю, да как гаркнешь: «Соколики, грабят!..» — вот и рванут-рванут тады лошадёнки, дорога лугом, что скатерть гладкая, несёшься — в ушах ветер поёт, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звёзды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупился, вздохнул и, ковыряя костылём землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крикнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Бездежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?..

---

— Да так... Сказывал Петрован: чевой-то скучал ты шибко... — и, не дождавшись ответа, добавил: — Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ли чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После Покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так, серёдка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал, — из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — ночь тёмная, и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, грит, лошадей: лешак попа принёс... Поп орёт, ямщика к себе требует... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского синпатия есть, родня не родня, а так, сбоку припёка, пришей кобыле хвост — можно сказать... Ну ладно... Хошь не хочется идти, а куда деваться, — пошёл... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Ещё докладаться, да внизу ждать?.. Наплевать можно, с мужика спрос короток: пружу прямо вверх... Вошёл в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьёзный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбивал, не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мёртвого просто ужаси как...

— У попа жисть хороша, — перебил дед, — помрёт — не уйдёт, и родится — годится. Ххе...

— Это самое... — ухмыльнулся Ванька. — Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, говорю, батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты сукин сын». — «Никак нет, батюшка, — отвечаю вдругорядь, — я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, говорю, отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остаётся делать? Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели, говорю, усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовлю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу». — «Не твоё дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы, — ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, чрез

---

две —окаянный, да верхонки\* мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать, — вставил, крикнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке», — поп от говорит... Отошёл я, а сам глазом этак покашиваюсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошёвку, сам лёг, кочмой накрылись. «Готово, кричит, садись, ящик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Вёрст пять отбежали — вдруг буран кэ-эк ахнет! Как застонет всё кругом. Ну, думаю, плохо моё дело. А со мной на облучке ещё мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясёмся оба. Что делать? А буран всё пуще да пуще. Словно молоком всё залито, у коней — скажи на милость, — даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!..» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечитель вверх ногам — бух на попа с попадьёй оба, корячимся в кошёвке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухабная, иначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает, то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи... А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвёт, по роже снегом, как бичом, хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонёк. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты Господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда, ревмя ревёрт всё кругом на разные лады. Жуть... Начали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдёшь сажень на десять, да и к лошадям не вернёшься. Кружились, кружились — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи... ищи ты». — «Сам поди-ко поищи: ты в енотке, а я заместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?... Ххе... — подмигнул Ваньке дед.

— Дык как же?... Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом

---

\* Верхонки — кожаные рукавицы. — В. Ш.

---

здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришёл, терпенья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Отгребли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранице так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звёзды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защёлкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зелёных да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночка летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идёт, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...». Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеётся издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...». И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...». Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ишь буран-то кончился и огоньки видать: должно, Пазухино...» Гляжу: огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой колом стал на морозе, да и портки к ногам примёрзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамёрзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

— Буран, слава Богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмёрзли. Я на печку, попечитель на печку — сдуру-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, другой мне: «Эй, ямщик, пей...». Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей ещё». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе ещё два целковых, потому как ты пострадал...». — «Покорно, мол, благодарны и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай Бог вам». — «Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки, словно в кипятке, ноют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпенья

---

нет... Опосля того свалился, не помню, чего и было... Попечитель через четыре дня Богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долететь меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чём, спрашивается? О жисти да о Дунюшке... Обо всём, вобче, думаешь.

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренёк.

— Она кому всласть, а другой от неё окарачь ползёт... Пришёл я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить зачал: «Здравия желаю, батюшка!» — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, определите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в другу горницу, три пятака медных вынес: «На!..» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!..» Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай Бог... Это за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моём?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы Богу молятся, а лопатой дерьмо гребут... Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозявы в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык рази в том есть правда? Ну-ка скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь вёрст до небес, да и те кочебурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал своё — ложись, умирай.

— Приде-е-л? — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед уставился на бродягу, подумал минуту, ответил:

---

— От жисти, брат, не уйдёшь, Ванька: всё равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга всё знает и чувствует, на всё может дать совет мудрый, только выслушай её, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?.. — встрепенулся бродяга и лениво перевёл на деду всё ещё затуманенные глаза...

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай... — упавшим голосом сказал Ванька. — Ещё в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А как пришёл я, беспалый-то да с костылём-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросились, да и завыли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, говорит, сиротиночка...» А потом за неё жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шёпотом: «Головой да в прорубь...». — И на речке кто-то откликнулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закультыхал к речке, подпираясь батоном.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает, — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чево-то не ладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

### III

Дед подымается, кряхтит, растирает затёкшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то. — И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку дудит:

— Табашники к табаку-у-у,

Пьяницы к кабаку-у-у,

Обжоры к у-у-ужину!..

---

Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызганную ложку и всё тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зеваешь? Имай рыбу-то... первый сорт мяса: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв её выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено, — не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хоррошая штука. У нас, в тайге, старухи её из хлеба делают... Знаешь, поди?.. На-ка, благословись стакашкой...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьём...

— Ты кому другому это скажи, — смеясь, кричит дед. — Не пьёшь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущённо скребёт за ухом и, круто передёрнув плечами, тянется дрожащими беспальными руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие, — откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплёвывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе верёвочкой, водку эту самую довольно сурьёзно сосал. Ну только теперича — аминь!..

Костёр ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры — богатыри таёжные — гурьбой обступили костёр и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеётся во всё звонкое горло, то и дело расплёскивая из ложки уху, но Ванька грустен.

---

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лёг это, значит, я не поблагословившись, не успел ещё и заснуть-то путём, глядь: чертёнок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделишный?.. Большущий?.. — широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его кэк сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я кругом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, ошарашить по маковке-то, чем Бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски побрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пёкшиеся в золе кедровые шишки. Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сыпь, сыпь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил всё вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удручённо головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мёртвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава Богу, не жалуемся, живём богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивлённых глаз, костёр оправлять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!! Утух-вы!! Бог-то где же?!

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал, и, еле переводя дух, угловато опустил на землю.

К нему Верный подошёл, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

---

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты в Бога, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскрёб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы Богу не молятся, у них двory скотом ломаются. А наш русак, хоша просит Вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: Бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й...

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, Бог есть, потвоему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — цедит сквозь зубы дед.

— Ну ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же Он?.. Я ли Ему не молился?.. Я ли не ползал перед Ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил — при моих-то ногах!.. Идёшь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звёзды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, Господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, Господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, Господи, душа опаршивела, коростой, как пёс гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыркаться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрёшь рыло-то, да на небо взглянешь, а там всё по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех всё на душе камнем лежит... — закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-от? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбрелись который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Хе... — и, помолчав, добавил: — Поди, и грехов-то никаких нет на свете... Каки таки грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие? — встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начётчика, голосом:

---

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихоимство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на Духа Свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решить?... Это как?... Грех, али как?.. По маковке ежели фомкой кокнуть, ломиком? — И в голосе Ваньки заметен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха... — хрипел бродяга... — Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, на примерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру?... Я столь же миру-то нужен, как дыра в мосту... Вот и следоват раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Елыман, прости Бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вшам. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахару из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлёбывая, говорит резонно:

— Вот смерть придёт, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть? — оживился калека. — Нешто я боюсь смерти? Да хошь сейчас!.. Нашёл чем пугать Ваньку... Я, дед, в прурубь бросался — вытащили, давился в лесу — верёвка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен неволге: замёрзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я её вот ни на эстолько, — и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля.

— Ой, врё... — недоверчиво вставил дед.

— Вот те и врё, — передразнил калека.

— Ой, паря, врё...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

---

— Тому хорошо, у кого брюхо большо, — перебил дед. — А ты живи да Бога благодари. Мир должен как-никак прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промёрзла наскрозь?..

— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости Бог, али умный?! — крикнул Ванька и ткнул деда в грудь. — Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А теперича... На-ка вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылём о лежавшую возле лесину, отдельно произнёс:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласия нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка ещё. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается. От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал:

— Брюхо тут при чём, ежели душа просится на волю...

— А ты, чтобы тебя через сапог в пятку извило... Он опять своё... Хе!.. — запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись. — Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы ещё три прожил... Чё-ортуш-ка, прости Бог, этакий... Право!

И, чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл штучку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берёт, под гору спотычка не живёт.. Ну-ка ра-аз!.. — и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крикнул громко, по-цыгански: — Кахы!.. — и сам себе ответил: — Кто крикнет, тому два!..

— Ну и ласковый же карактер у тебя, дед, — чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берёт: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

---

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?.. — И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому... — Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, чёрт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь, кто...

— Нет, впра-авду?

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таёжный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятой мраком тайгой.

Костёр меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смольё и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть, спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— А надясь я обортня на заимке видел с парнишками... Здоро-ве-енный...

— Что и говорить...

— Нет, вправду... Кобелём борзым прикинулся... Матеру-у-ушший...

— С тобой-то слово, — подсмеивается над внуком дед, сладко позёвывая.

Тот обиженно сглатывает, глазёнки блестят огнём, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднищую, да кэ-эк этим костем-то звездану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— — Вот-то и ври-ври... — Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел: — Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ы-ыпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья, — сказал, хихикая, дед, — да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надрожавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

---

## IV

...Костёр погас. Ушёл с неба месяц. Передвинулись звёзды. Неприглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнётся, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка... — слышалось еле внятно. Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает, Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползёт к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть! — в голосе его большие дрожат слёзы.

— Ну, не паршивец ли ты?.. — зло и укоризненно шепчет дед, — ну, не озорной ли ты малый?.. Чтoб на себя руки наложить? Тьфу! Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалёхонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не даёт. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести, — шепчет бродяга. — Ну кому нужен я? Каков теперича прок от меня? одна помеха...

— Как кому? Себе нужен.

— И себе не нужен, — ещё тише шепчет. — Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Ослеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куды я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдёт... Как тут? И ещё раз тебя, отец, упреждаю, попомни: зря топтать землю — в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как?

Молчит старик, что сказать — не знает.

---

— Вот видишь?.. молчишь, дед... Я бы давно ушёл, да тайга держит: живи, говорит... — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой:

— А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот всё ещё молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед всё таким же отечески-раздражённым, чуть на-смешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты ещё молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя ещё жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я её, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве... — обрадовался дед.

— Зря тогда молол, похвалялся. А теперича... Веришь ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зеваает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего её бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только прищуриться... От што-о-о... Сама придёт, никуда, брат, не денешься... А ты не кликай её... Грех... От што-о-о...

И минута, и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша тоненько во сне хохочет под шубой да вдали ухаёт филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костёр. Тени торопливо пляшут спросонья, наскაკивая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесиной пристукнуло — сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярκο вспыхнул костёр, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывает, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипыванья.

— Ты чо это, Ванька? — тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплёвывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костёр гаснет, вверху ветер начинается, и под лёгкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!.. — кричит дед.

---

— Ууу... Ууууу...

Ветер всё пуще, зашептала тайга, всполошилась. Сумасшедший вой, навеяв ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполнял неизъяснимым страхом всё кругом.

— Да ты ошалел!!! — кричит испуганно дед, — что ты, чёрт, как лесовик!.. Аж жуть берёт!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы.

А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чём-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый? — учуяв что-то, отвечает ласково дед, — ты подь-ка поближе сюда... А то ишь тайга-то матушка гуторит... От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должен, как перед Богом... Видно, капут пришёл мне... Не совладать.. Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего... — ещё ласковей отвечал дед, — ох, ми-ла-а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Нно-о-о?

— Я... Я... Не досталась чтоб... Уманил я её к речке, да в прорубь... Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначище, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь удди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий! Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка...

— И ты?! И ты, дед?! С попом вместех?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шёлковые хвои. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затрещала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

---

Дождь тихо идёт. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвои тайги.

Калека съёжился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеёй подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вон он сильный, кровь бушует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тятенька, бормочет, тятенька...». Дуня вышла, Румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаячись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька, — любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слёзы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силится, но уста молчали.

Дед кряхтит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты например, таку неправду на себя примал?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он всё простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чуешь?.. А я приют тебе предоставлю к зиме... От што... Страданья твои не малые. Он, брат, всё видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребёнок, и не может от волнения понять, что говорит дед...

— Слышишь?..

А тот всё скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле её слёзы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом всё умолкает...

---

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звёзды.

Но чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь таёжные сны.

...Темно. Костёр погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблёскивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге ещё темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырým холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед. Но никто не ответил.

1911

---

---

# Крала

## I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседали травы. Подёрнулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выглянет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в тёплые страны, туда, где солнце ещё не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволокутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Тёмным вечером по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да ещё доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути всё не видать.

Купец был тучный, рассудительный, выдавший виды, с большебородым ликом и весёлыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших чёрных глаз, безбородый.

— Соро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

---

Лошадёнки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замёрзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонёк, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мёд...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору:

— Вот бы вам, Фёдор Фёдорович, в экономочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот всё ищете подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щёки румяные... Хе-хе-хе... Слышите? — И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать её Авдокея Ивановна, — сказал ямщик, видимо, прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом: — Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно высланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да ещё здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарём и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на кутившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

---

— Вноси в избу всю стремлюндию, — сказал купец. — Куда в этаку пору ехать?..

— Куды тут, — радостно, все враз, заговорили мужики, — ишь кака темень... Ха!.. Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

## II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печёным хлебом и сыростью от не домытого ещё пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголённым до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубахам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одёрнули торопливо подолаы.

Купец размашисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здравсте, здравсте... — враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйста в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошёл как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна? — спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуда знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твёрдо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими чёрными косами, смуглая и зардевшаяся, — вся она, свежая и ра-

---

достная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, за-  
жигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, масляными гла-  
зами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошёл к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по  
избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошёл на улицу вслед за Дуней, а тётка  
полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к  
ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой  
спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала,  
скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, Бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, со-  
крушённо ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул её за ногу и, прищёлкнув языком,  
прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо? — сбрасывая половики, задорно спросила  
баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он об-  
нял её за шею и шепнул.

Вырвалась, плюнула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошёл доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро  
прочь, степенно прошёлся по комнате, взглянул украдкой на  
иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным,  
набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почёсывая за пазухой, к две-  
ри, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперёд бегал по комнате, улыбался,  
выхватывал из жилета часы, открывал крышку, бесцельно  
скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через ми-

---

нугу вытацишь вночь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец ещё плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лике-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

### III

Когда на столе появился большой самовар, миска мёду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и лёгкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком, — обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путём не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, бренчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошёл в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солёными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна... — говорил доктор, и голос его дрожал. — Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой, и тихий-тихий шёпот...

---

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крикнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустил ся возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие, — сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:

— Вы, тово... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь... — брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйте...

Жеманьясь, выпила она вино и утёрла губы краем голубой свободной кофточки, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У неё чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы всё толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдотья, эй, Овдотья! Иди, слышь, в баню, што ль, — проскрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду, — торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь, бро-  
сишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеёшься ты.

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя ещё, — вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивлённо в чуть насмешливое лицо её, силясь понять, что у неё в сердце.

Дуня пошла лёгкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

---

— Пстой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого?  
Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверью. Через мгновение чуть приоткрыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном ни духом не виновата.

## IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник! — Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников. — Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелю. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навывкате, глазами.

Впереди суетился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник... — заплетающимся языком бормотал купец. — Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услышав купца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так... что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У купца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козыр-

---

ный. А мы что? Мы людишки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка не-видаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлёпнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой. — Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетёт, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крикнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал — руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шипел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямлил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

## V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом.

В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ремённые лестовки-чётки.

«Народ набожный, — подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живёт в такой строгой, религиозной семье. — Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб, — доктор не обращал внимания, — а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк наддаст...

— Трезвый?

— Како тверёзый! Кабы тверёзый был, нешто саданул бы ножом в бок.

Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

---

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбуждённое, а мускул над правым глазом подёргивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, Господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-юшка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шёл суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождёт Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймёт его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, вглядывался в тьму звёздной ночи.

Ночь была тихая, ядрёная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к тёмным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мёрзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А окромя того, тихо.

Ещё что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но всё это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошёл во двор и снова опустил на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди, нет ещё. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:

«Чёрт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... всё водка наделала. Пьян!».

«Водка? — прозвучало в ушах. — Водка ли?»

---

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, притаилось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмёт Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет её к себе лаской, умом. Привьёт ей любовь к знанию и заживёт тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдёт в деревню. Что ж, разве таких okazji не бывает?

— Да, да, в деревню, — думал он вслух... — Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звёздочка... А я пьян. И не идёт Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допустим... — бормотал, потягиваясь доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,  
Там горит лампадка.  
Не полюбит ли меня  
Здесьняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно, пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!.. — Доктор вздрогнул и жадно обнял её, тёплую, пахнувшую свежим веником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Некогда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

---

— Вот я хотел сказать тебе, — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутишь ты меня, барин. И зачем тебя нелёгкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовёшь али как? Поди жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею. — Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев, говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... ребёночек мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол вёдра и стал шарить по стене.

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, припав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закричал кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хваташь?!

— Да это я... Саквояж ищу. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквадан? Я те такой чиквадан покажу. Язви те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка? — хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошёл к выходу, а старуха всё ещё шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаниям предаётесь? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

---

И он полез по ступенькам, держась за поручни.  
Дуня скользнула в сени, но доктор настиг её, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.  
— Пусти, — молила его, — пусти!  
— Не могу..  
— Пусти... ну, пусти.  
А уходя, бросила:  
— Я приду к тебе.  
— Дуня-я-я!  
— Родной мой... желанный.

## VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос всё ещё продолжался:

— Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля того взащей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец, лёжа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тшшш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брысь!

— То ись как кот?

— А я почём знаю как. Кот, да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьянённый вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомлённые, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил чёрного, как дёготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворённой двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

---

— Убирайся! Некогда! — послышался злой, грубый окрик. Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащие из одутловатых щёк усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник, — сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна! — ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слёзы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня? — удивлённо шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного, — её лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина. — Зверь! Прямо зверь.

— Но почему? — ещё удивлённей шепчет доктор.

Дуня мнётся, хрустит пальцами рук, взглядывает смущённо на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьёт...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слопал... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеёй подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдёшь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли любя! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор всё забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь? — Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет. — Ну, смотри, барин! — задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забежали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня всё ещё говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла дерев-

---

ня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник...

— Подожди денёчек... Ну, подожди, — вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду, — влагая в слова певучую нежность, шепчет она. И вдруг, с тревогой:

— Ты крепко спишь?

— А что?

Лицо её сделалось серьёзным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение всё прошло.

Ещё нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что? — как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.

— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали? — растерянно спросила Дуня доктора. — Чичас, — и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни.

Урядник круто повернулся и пошёл на своё место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело всё в лунном свете. Хмельной угар всё ещё ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лёг — ушёл сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И всё как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали её силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работающую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идёт кругом.

---

Из комнаты урядника выступила жёлтая полоса света; в её мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с чёрными глазами, всё это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня, — удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьи рывкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу! — и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного ручкомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделённые большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за ввинченный в потолок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всём красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол ещё раза три ударил и замолк. На докторе тяжёлая, отёкшая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчётливо произнёс:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

«Вот приду... Ох, желанный мой», — сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожгу тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает всё крепче.

---

## VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протёр глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обмер. Протёр глаза, смотрит. Опять протёр, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползёт к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке, Дуню.

— Вот это шту-у-ука!.. — тянет доктор; он слышит, как бьётся его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголённой рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с полтиной, два с полтиной!.. Нет, врётся, — бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убеждённо:

— Ещё успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило её красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил её левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям! — почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят.. нажрались оба.

Доктор таращит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусьями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь...

А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам пьёт, её плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

---

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя чёрными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и перерву глотку... Знай!

Она прижала локтями грудь, съёжилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьёт в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон, — быстро подошёл к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажёл лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как всё горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копать от тлеющего фитиля висела над столом чёрным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец! — говорил доктор пьяным голосом. — Тарантас этакий, а? Слышишь? Храпишь? Ну, чёрт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-яй-яй-яй-яй... Ай-яй-яй-яй-яй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

---

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то хarkнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!.. — стал кричать, топая ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос купца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрёл, еле держась на ногах, к купцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вон оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите... — иронически заметил купец и продолжал, зевая: — А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с Богом. Ишь ночь...

Он ещё раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил:

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стерва: где пообедает, туда и ужинать идёт.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжёлые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колёса затараторили.

— С Бого-о-ом!

Тявкнула спросонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и всё стихло.

Час прошёл, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаённым ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна ещё не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин, — еле слышно позвала нежданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

---

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не сердчай... — льётся нежный, молящий голос. — Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не сердчай, ради Господа.

— Тебе что надо? — повернув к ней голову, крикнул доктор. — Тебе, собственно, что от меня требуется? — и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась — хошь отдохну. Тот чёрт-то привязался, урядник-то... запугал, угрозил: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взяла... А всё ждала, сколько свечей Богородице переставила; вот, думала, найдётся человек, вот пожалеет. Пришёл ты, приластал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила, — убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмёшь?

Затаив дыхание, она робко ожидала...

— Возьму... Эх ты...

Пала рядом с ним; отталкивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впилась дрожащими тёплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю! — восторгом, неподдельной радостью звучала её речь: ждала, насторожившись, — вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ко всем чертям! — после минутного раздумья презрительно и жёлчно бросил доктор. — Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут? — прохрипел купец. — Ты, Дуняха? — Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал: — Давай-ка, давай её сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак! — сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стоял.

---

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А кругом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли верёвками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом! — приказал чей-то стариковский голос.

Чётко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эк, Дунька-то как воет... Чу! — и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка, — растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и крепко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Ещё дремал воздух, дремотно падали снежинки, всё дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придёт с метелями и морозом, и всё уснёт в природе под белой тёплой шубой. Но пролетит на лёгких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно переключаясь, журавли.

1911

---

---

# Часовня

## I. В пути

Верстах в двадцати от Томска, на берегу речки Басандайки, стоит небольшая деревня с коренным сибирским населением. Пишется она Вороновой, а народ зовёт её Каштаком.

Если спросить кого из набожных крестьян:

— А ты деревню Воронову знаешь?

— Это кака така? Нет, быдто, не припомню.

— А Каштак знаешь?

— Это где иконка-то проявилась? Как не знать, знаю, был.

Город знает её меньше, чем деревня. Городу зачем Каштак, у города всего много: и кабаков, и святости, садов и храмов, кинематографов и магазинов, газет и крестных ходов. А в деревне ничего этого нет. Запросов много, а удовлетворить их нечем. Вот разве съезжие праздники? Там пьянство бывает, драки бывают, хороводы водят, но они редки и в большинстве установлены на осеннее время, когда снят хлеб, когда у мужика бренчит в кошне лишний целковый. Но осени ждать долго, и праздник тот никуда не уйдёт. Да разве утерпишь: кругом шумит молодая зелень, птицы прилетели и пересказывают полям, что видели за морями, леса дышат таким опьяняющим запахом, ветер лениво играет, целует всё на пути, ластится. Разве усидишь на месте. А тут ещё, вдобавок, деревенская душа натерпелась за зиму, устала, ей надо отдохнуть, ей надо смены впечатлений.

Вот и идут крещёные. Лишь только подсохнут дороги, улягутся в берегах речки, поприветливей заблещет солнце, пойдёт тогда благочестивая деревня по святым местам. Старик Пров пойдёт, что домовину сделал себе из кедра и спит в ней. Бабушка Офимья поплетётся в дальнюю дорогу, посушит сухарей, батожок вырежет и пойдёт к угодничку-батюшке или юродивому Феденьке. Грудастая вдовуха Дарья надумает идти; кажется, чего бы ей, какой благодати просить: всё есть у ней, и здоровье, и молодость, и красота, а вот пойдёт. Три парня Власовы пойдут, пять девок пойдут, да мало ли пойдёт народу.

---

— Куда, дедушка, идёшь?  
— Ко Господу, сударь, ко Господу, куда боле-то. Грехи отмаливать. Третью вот неделю иду, стараюсь Христу-батюшке.  
— Куда, бабушка, идёшь?  
— Ча-а-во? Ревни громче, не слышу, глухая я, батюшка...  
— В Каштак, что ли?  
— В Каштак, в Каштак, это верно, что в Каштак, к иконке.  
— Молиться?  
— Смертоньку молить себе, вот нейдёт, да и на... Всем в тягость, себе в тягость, вишь какая, давно бы в земле лежать, а вот брожу. Какой во мне прок-от. А семья у нас большая, шестнадцать ртов, а мужиков-то мало, живём-то страсти до чего бедно... Вот и надо бы попросить у Господа смертоньки тихой да мирной.  
— Куда, молодуха, идёшь? К иконке, грехи отмаливать?  
Улыбаётся большими синими глазами:  
— Я-то? А тебе пошто? — и шагает дальше, обёртываясь и по-прежнему улыбаясь. — Я по обету, землячок. Две тёлки у меня подошли, об коровах сердце изныло, вот и обещалась. Может, отведёт..  
— Эй, девки, парни!  
Но стоит ли их спрашивать, идут, горланят песни, смеются, по лужайке носятся, сверкая белыми ногами.  
Слепому рыжего дядю провели: шагает ёмко, держась за конец батога и чуть повернув влево голову.  
Старики, старушонки, старики, старушонки, дяденьки, тётеньки, молодёжи мало.  
Кедровник, поскотина.  
— Каштаковская что ли?  
— Она.  
Деревня показала из-за леса своё темя. Крыша часовни с крестом выглядывает из-за подъёма пыльной дороги. Крестятся, вздыхают, молодёжь становится серьёзной, усаживаются на лужайку и начинают обуваться.

---

## II. В часовне

У часовни всегда народ. Стоит она <на холме, и вид>но\* леса и перелески, лужайки и пашни, долину речки и ближние, уцепившиеся за увалы, деревни. Вот белоусовская часовня вдали на горе виднеется.

— Это не часовня, а полуцерква.

— Как так?

— Всё делать можно, а вот свадьбы ежели венчать — нельзя: венцов нет.

Народу у часовни бывает много, каждый день приходит, счёт приходящих никто не ведёт, да и незачем; вот лавочник знает, он на вопрос ответит так:

— Станных-то? И-и-и, страсти... с весны-то страсти что... Намедни, в воскресенье, скажи на милость, три пуда семнадцать фунтов одних сушек прекратили... Одних только сушек, вот ты и считай странных-то...

— Много?

— Как грязи, я тебе говорю...

Более конкретных сведений он сообщить не может: он и на улице-то ни разу не был, разве мыслимо выйти на улицу; один уходит, другой приходит, целый день, свечку от трудов праведных некогда поставить Царю Небесному, прямо голова идёт кругом. От, грехи, грехи...

В часовне народ. Придут толпой, человек пять, поставят свечки, поклонятся в землю образу, потом поближе подойдут к аналою и долго, перешёптываясь, рассматривают невиданной формы икону: круглая, блюдообразной формы, вершков шести в диаметре, на вогнутой её поверхности рельефное изображение Христа в пояс. Поворот головы от зрителя вправо, левая часть лица закрыта рукой.

— Ишь, подшибился рученькой-то, батюшка Ты наш.

Хитон выкрашен голубой краской, волосы, борода и усы — коричневой. На взгляд обыкновенного смертного, без художественной подготовки, работа кажется грубоватой, но компоновка рисунка-барельефа оригинальна. Из чего сделан образ, сказать трудно: сформирован ли он из глины или песку, или высечен из камня.

— Кто его знает, — говорит молоденькая девушка из Протопоповой, — эвона наша старуха пошла вот этак же, да булавкой и поковыряла сбочку его, батюшку: «Ежели, говорит,

---

\* Дефект набора газеты «Сибирская жизнь». В републикациях не восстановлены утерянные слова. — *Ред.*

---

образ настоящий, покарай меня, Господи, отыми руку, тогда я уверую, а ежели, говорит, не всамделишный, тогда ничего мне, грешнице, не будет».

— Ну? — окружая её тут же, в часовне, спрашивает падкая до чудес толпа.

— Ведь отсохла, гляди, робяты, рука-то. Вот-те Христос, отсохла, да ещё две коровы пали... Наша старушонка-то, протопоповска...

— Да-а-а... Вот оно что... Так, так-а-к...

Крестятся.

Также толпой, подталкивая друг друга в спины, благочестиво прут к окну купить от всех болезней маслица: вынимают кошели, расплачиваются и, вздохнув, отходят к сторонке.

Вечером идёт к перекладине с маленьким колоколом бородатый дядя и, дёргая за верёвку, начинает звонить. Колокол поёт тоненьким голоском, призывая разбредшихся кто куда богомольцев. Скоро часовня переполняется народом. Воздух становится нестерпимо спёртым, свечи еле мигают, жарыща и духота. Молятся сначала усердно, потом равнодушно, когда же становится невтерпёж стоять, — чувствуется раздражение, а порой злоба в воспалённых взглядах, бросаемых на наёмного чтеца-грамотея, скоро ли кончит. А тот читает и читает монотонным голосом, язык у него заплетается, слова проглатываются, видно, что утомился, еле держится на ногах, треплет листы ни в чём неповинной книги, заглядывая в конец, где напечатано желанное слово — аминь.

Молодёжь стоит впереди, но вскоре же, работая локтями и налегая грудью, наступая на бороды кланяющихся земно стариков и на руки благочестиво распостёртых на полу старух, выходят, взмокшие, с прилипшими к горячему телу рубахами и кофтами, с красными, как из бани, лицами, с буйным, воинствующим взглядом, идут к лавочке или валяются на луговину и, отдышавшись, начинают курить или грызть семечки, пересмеиваясь и шутя и молчаливо чувствуя в сердце своём, что время спасения собственной души для них ещё не наступило.

### III. У часовни

Утро. Солнце припекает. Где-то за горой рокочет гром.

В часовне служба, священника нет, обходятся сами, служат, как умеют, поют, как умеют, от всей души, недаром на глазах у многих слёзы: дедушка Пров служит, и чувствует, что служит,

---

старуха Офимья служит, и чувствует, что служит, оттопырила трубкой губы, скрипит за всеми какую-то молитву, а на душе радость: вот она, Офимья, служит Богу, сама, не то что в церкви — пришла, встала, крестится молча, мечтает о корове, о внучке Палашке, о картофеле, много ли уродится нынче — нет, тут не то; сама поёт, сама служит, думать некогда, надо подпевать за миром; все поют, все до одного, надо и ей, и она поёт, сама, и это окрыляет её душу: сама!

Придёт домой и, улыбаясь, скажет:

— Служила Господу.

У стены часовни, возле крылечка, на сырой земле какой-то старик лежит и охает:

— Ох, батюшки, ох... За священником бы...

— Пошто?..

— Да, видно, смерть пришла: тошно. Причаститься бы.

Окружают его человек пять-шесть.

— Дальний?

— Я-то? Я дальний, из-под Кузнецка-города. Всё шёл, всё шёл, ничего, а вот тут, как пришёл, распалило всего, ишь жара, там в ручейке попьёшь, там в болотце, нутро-то себе и попортил, весь, братцы, взялся огнём, ох-ох... Вчера к ночи сюда пришёл-то, да не потрафил прямо-то, — эвона куда протесал, под самую Белоусову, блужу там по лесу, ничего не вижу, спасибо, мужик выручил, — ты, говорит, заблудился, дедушка, — да вывел на дорогу — вот так иди, а уж во мне и моченьки-то не стало, не знаю, как и доплёлся, ох-ох...

— А ты бы к доктору, здесь один есть такой, быдто как на вольном воздухе...

Но он у доктора, оказывается, был, но у того нет здесь «средствивев», а вот кваску бы холодненького он выпил, душа горит, да за попом-то бы, за попом-то.

Возле скамейки опять толпа: окружила дальних богомольцев. Их четверо: ражий, сажень в плечах, слепой мужик, бородатый, в скобку стриженный; его поводырь, мальчишка белобрысенький; высокий, тонкий, с бабьим лицом парень в синих очках — «глазами труден», и ещё отставной древний солдат, в затасканном, с крестами и медалями мундире, с изломанной шашкой через плечо и в трёпаной фуражке с двумя, рядом посаженными, на околыше кокардами; за спиной, в роде ранца, кожаная сумка.

Он каждого спрашивает, — оглядывая полоумным взором:

— А ты сам-то не из города ли?

— Из города, а что?

---

— А не знаешь ли ты Александра Степаныча?

Никто не знает, кто таков Александр Степаныч; солдат удивлённо таращит глаза и, шамкая беззубым ртом, начинает рассказывать, что Александр Степаныч — «фамиль забыл» — офицер, а что он, солдат, лет тридцать тому назад служил у него в денщиках, эка, Господи, никак не может «натакаться», и как такого человека не знать: из себя могучной, голос что труба, толстый, усища эвона какие, что за оказия такая, неужто помер, с чего бы, кажется, барин — не наш брат, живёт ладно, ест сладко, спит долго, неужто Богу душу отдал — вот разве что «холендря была, народ валила».

И старик ещё долго шамкает, сбиваясь в сторону, на другое, и когда начинает нести околёсицу, слепой, скаля белые большие, как у лошади, зубы, до всеобщего сведения доводит:

— А вы его не слушайте: ведь он рассудком-то недоволен...

Тот огрызается:

— Пой Ваньку-соловья.

— Давно по святым местам-то ходишь? — спрашивают его, улыбаясь.

— Это я не упомяну, давно, стало быть. Как с-под Севастополя вертанулся, и пошёл: Николу-батюшку в город несут — я командую, Богородицу — я, колокол где поднимают — я, везде я. А мне что: конёв нету, быков не бывало, вот свои ноги прокорми, да и опять ступай. Всю жизнь так, ха-ха-ха!

А того больного старика на приступки посадили:

— Это ты чего же на сырой-то земле валяешься, разве возможно? Ну, как хлеба в вашей стороне?

— И не говори, сударик, такая благодать привалила, что страсти: стена стеной.

— Ну вот, а ты умирать собираешься.

— Смерть-то, ребятушки, не спросит.

Умирать ему не хочется, хотелось бы ещё годков пяток пожить, хоть внуков-то поднять да поглядеть на них, а сам он «рассейский» — четыре года как пришёл, и слава Богу, что пришёл, самому-то туго досталось, зато детям хорошо, разве можно уравнивать с прежним, земли вдоволь, земля ласковая, коровёнок завёл, лошадей завёл, вот пасека есть, да мало ли...

— Ну а народ-то как насупротив рассейского?

— У-у... — закрутил головой дед, — в десять десятером лучше, в десять десятириц... Хороший, дай Бог, здесь народ. Ты посуди сам, милый человек: ведь здесь на пашне вся орудия остаётся, косы, грабли, жнейки, вон я хлеба после молотьбы пудов двести оставил, две недели лежало, и ничего, а ну-ка в

---

России — ночи бы не переночевало, народ наволся испако-  
стился, беднота гольная.

А из часовенки льётся и льётся пение, надрывным, то-  
скливым стоном плывёт из окон. Солнце в тучи спряталось,  
надвигалась гроза.

## IV. В избе

— Милый человек, а не знаешь ли, где иконка-то прояви-  
лась?

— А э-эвона крайняя-то избушка, налево-то... Эвон, эвон...

Избушка маленькая, бедная, двор плохой, огороженный на  
скорую руку жердями и досками. Кругом грязь, назём.

У приступок крылечка сидит на земле слепой с поводырём,  
какая-то старуха и с деревяшкой старик — чай пьют из де-  
ревянных чашек, жуют хлеб. Слепой громко от удовольствия  
рыгает, встряхивает скобкой волос, крестит рот и говорит:

— О, Господи, Твоя воля.

Затем, пошарив вокруг, подымается, нащупывает откры-  
тую дверь, входит в избу, истово крестится на пьющих в пе-  
реднем углу чай, ещё громче рыгает и благодарит хозяина.

— Не взыщи, не взыщи, — отвечает тот и продолжает рас-  
сказывать собравшейся в избе у самовара компании, как у не-  
го в земле, в подполье, объявилась иконка, как она уходила  
куда-то года на два, как опять пришла.

— Вот как жаль, вот как жаль было отпускать её-матушку  
из дому-то, — со слезами в голосе говорит он, — лучше бы,  
ну вот скажи, последний конь пропал, легче бы было мне, ей-  
Богу, нежели её отдать в часовню...

Все, как по уговору, вздыхают.

А слепой протягивает на голос хозяина с пятаком руку:

— Вот, землячок, за угощение...

— Что ты, что ты...

— Нет, возьми. Ну, коли себе не хочешь, ей, матушке, опу-  
сти, иконке, в кружечку.

Взял.

За столом четыре человека, хозяин пятый. Он чернявый,  
низенький мужик, в голубой рубахе и халате. На кровати, сре-  
ди разной «лопотины», сидит молодая женщина, кормит гру-  
дью ребёнка. Глаза у неё воспалённые, чёрные, волоски рес-  
ниц беспорядочно торчат во все стороны, жмурится на свет,  
часто мигает и пониже натягивает на глаза платок.

---

— Давно болят глаза-то, молодуха? — спрашивает её прохожий человек с козлиной бородкой. Он сидит на лавке и курит «козью ножку».

— Давно, милый, давно, с самого Егорья-батюшки. От головы, страсти до чего головушка-то другой раз болит, прямо, того гляди, надвое расколется.

— А ты бы к доктору.

— Была, да толку-то нет никакого.

Хозяин при этих словах начинает выпрастываться из-за стола:

— Вот, погоди-ка, я тебе сейчас штуку одну дам.

И скрылся в кут. Чрез минуту вышел, неся в руках «штуку» — из-под перцу жестяночку.

— Да-ко-сь платок, ну-ка, держи, я тебе песочку отсыплю.

Та подставила уголок платка. Сыплет ей из жестяночки и говорит благоговейно:

— От всех святых местов песочек-то... Дорого-о-ой, цены ему нет, этому песочку.

И продолжает наставительно:

— Ты только с верой, мать, с верой. Значит, в чашечку насыпь, водицы налей, благословясь, да глаза-то и мочи, а остатки можешь выпить, конечно.

Козлиная борода, ехидно глядя на всё это, спросил, прищуривая правый глаз и наклонив влево голову:

— Это какой же такой есть песок?

— А это странник, конечно, приходил сюда, в роде как монах не монах, длинноволосый такой, — карабкаясь к божнице и ставя за образ жестянку, отвечает хозяин: — Он, вишь, по обету мешище здоровый, пудов в пять, как не боле, таскает на себе этого самого песочку-то, от всех праведных мест: тут тебе и от Ерусалим-городу, и с Ердань-реки, и ещё откуда-то сказывал, да вот не упомянул я. Третий год ходит с такой тягой: «покуда всё, грит, не раздам, трудиться буду, потому грехов, грит, у рабов Божиих больше, чем в море песку».

Козлиная борода правый глаз открыл и тотчас же прищурил плутовато левый, склонив влево голову:

— И сколько же он, хэ-хэ, взял-то с тебя за благодать?

— Ну, чего понапрасну об этом толковать, зря-то...

— А всё-таки?

Хозяин стыдливо, нехотя ответил:

— Да это верно, что рублёвку потребовал...

— Вот и вышел ты дурак, — неожиданно заключил козлиная борода, тыча в подмётку окурочек.

— Пошто? — удивился хозяин.

---

— А вот пото... Разве мало в Басандайке вашей песку-то? Нагрёб перед деревней, да и втёр тебе очки-то, а ты и слюни распустил... Раб Бо-о-жий... Я бы этого раба-то да за гриву... Не морочь людей, сукин сын, не смущай... Раб Бо-о-жий... Прохиндей какой-нибудь, прохиндей...

— Ну, ты полегшее... А почему же он, конечно, босиком ходит-то? Ещё снег был, как он пришёл-то сюда, наставления разные давал: «серку, грит, жевать грех, бабы серку жуют, это, грит, оне чёртову кожу жуют» — и прочее такое, да разве упомнишь, знамо, у нас головы-то дырявые...

— Это верно, что дырявые, — не унималась борода, — и кто ж ему может поверить, что за столько тысяч вёрст мешище-то он прёт, да рази мысленное это дело, ты сам посуди... Ум-то у тебя, должно, густой, как капуста... Раб Бо-о-жий... Вот такой же к нам в село затесался, лихорадка его занесла, в скуфье, значит, в рясе, монах да и монах, а рожа красная, нос сизый, и винищем разит ужаста. Вот, ладно...

Все примолкли, слушают. Молодуха, разинув рот, насторожилась. Хозяин ерошил волосы, выжидая момента возразить. В избу ещё пришли, городские и деревенские.

Рассказчик, овладев вниманием и посматривая на всех острыми смеющимися глазами, повествует:

— Вот, ладно. В одну избу взойдёт, оберёт как следовало быть, в другую, ходит, как корова, изо двора во двор. Добро. Пришёл таким манером ко мне, а я выпивши был, только что с хозяйкой поругался, она мне, признаться, — баба здоровенная, — по шее наклала подходяще, ну, знамо, озлился я, сижу, думаю, как бы, это, её порснуть хорошень, а тут как раз раб-то и вваливается — «мир вам, братия», говорит. Пробрался это он в передний угол, а за ним наши, деревенщина-то, как за клушей цыплята, налезли, полна изба народищу. Добро. Снял, это, он сумочку свою, достал ящичек, открыл его, ватка там, гляжу, а в ватке-то железная подковка совсем маленькая, жеребья: «придите и облобызайте, говорит. Это, говорит, подковка от копыта осла, на котором Христос в Ерусалим входил. С человека гривенник, говорит, кто может, по щедротам, больше, это, грит, ничего... Неимущих же я, грит, благословлю подковкой издали, но уж той благодати не будет, насупротив как ежели облобызать с верой». А во мне злоба так вот и кипит. Ну, погоди, думаю, уж я тебя чем-нибудь тоже благословлю вдоль спины. Наше дурачье ахают, вздыхают, языками прищёлкивают, в кошели полезли. Гляжу, баба моя тоже ключом дзинь, из сундука деньги достаёт. Я бороду прикусил, жду. А странничек из пазухи маленький пузырёк достал: «вот тут, братие, слёзы

---

Богородицы. Одной слезой все грехи с души омыть можно. Ну только что, братие, кажинная капелька три рубля»... А баба моя уж суёт ему трёшницу. Я тут свету не взвидел, как зареву на всю избу: «ах ты, подлец, обманщик!.. И где ты таких капель, забулдыга ты этакая, мог достать... А?! Ну-ка, кажи пачпорт!». А он: «образумся, чадо, что ты»... Я заместо того, чтоб поответствовать, его — раз! бабу — раз! картузишко сорвал с гвоздя да драло, прямо к писарю волостному, прибёг, а у того наш старшина сидит, чай пьёт, я весь дрожу, кое-как рассказал, старшина как крикнет: «взять его надо, окаянного, да в чижовку, я его знаю, подлеца, он намедни со странницей слонялся да у меня Петрухины сапоги украл смазные». Вот, хорошо. Прибежали мы, значит, я-то поотстал, всё бежал да падал, выпивши, так оно выпивши и есть, прибежал, гляжу, уж того, окаянного-то, нету, удрал и палку свою с набалдашником оставил... Вот как дурачат нашего-то брата... Ха!

— Да-а-а... — протянули слушатели. — Вот тебе и подковка... На сколько ж он подковал-то вас?...

— Да ладно, — ответил рассказчик и добавил: — Мы странных принимать можем, монахам, которые настоящие, по сбору, али как, тоже отказу нет: настоящего человека, не прощальжника, сразу видать... А варнак так варнаком и останется. А вот ещё, слушайте-ка, какой случай со мной мог произойти...

Но в это время вошла курносая дама в пенсне и шляпе караваем, за ней в необычайно узкой юбке впрыгнула барышня, видимо, дочь, за ней двое в белых штанишках мальчуганов.

— А кто здесь хозяин? — спросила дама, поводя носом.

— Я...

— Скажите, где явилась здесь икона?

— А вот, пожалуйста, — открыл подполье, — вот возле криночек-то, на самой землице...

— Миша, Коля, Лидочка, смотрите... Слушайте, дайте мне немного землицы, вот в платок...

— Чичас... — слез по трём приступкам в подполье.

Только выбрался оттуда, пришла старушка городская:

— Дядя, и мне бы землицы-то...

Достал и ей.

— Эй, кум, давай, коли так, и мне, — сказал мужик.

— И мне, и мне... и нам...

Ещё вошли двое в избу, стало тесно.

— И нам... и нам...

Хозяин вспотел, лазивши в подпол, и для сокращения времени стал скакать туда, видимо, начиная раздражаться.

---

Стало в избе темно. Небо принакрыли сизые тучи, сверкнула молния, и тарарахнул ядрёный раскат грома. Все вздрогнули, некоторые перекрестились.

Старушка с дамой растерянно зашептали:

— Свят, свят, свят.

А козлиная бородка, почёсывая за ухом, пробубнил:

— Вот это подходяще вдарило.

1912

---

# Тайга

И тогда небеса с шумом прейдут,  
стихии же, сжигаемы, разрушатся,  
земля и все дела на ней сгорят..  
Но мы нового небеси и новой земли чаем,  
где правда живёт.

**Второе послание ап. Петра, гл. III, ст. 10 и 13**

## I

Кедровка — деревня таёжная. Всё в ней было по-своему, по-таёжному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.

Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.

Когда она появилась на Божий свет, — никто путём не знал. Только дедка Назар, вот уже второй век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:

— Ещё когда Пётр царём служил, наша деревня-то народилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню.

Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падым, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась жёлтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землёй: ему тайга давала всё — и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздорожал хлеб — и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в её недра.

Затрещала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, всё перенёс, а тайгу всё-таки покорил. И там, где к небу вздымались вековые деревья, теперь зелёными коврами легли весёлые нивы.

---

Деревня жила день за днём, год за годом. Проходили десятки лет.

Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнётся что-то хорошее и светлое, то самое, о чём так болело сердце, скучала душа.

Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят — ни Бога, ни чёрта.

— Мы за Богом-то эва как следим, — корили они молодёжь, — а вы что?.. Эх вы, окаянные!..

Но и старики и старухи за Богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идёт между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего, спрашивается, — путём никто уяснить не может.

У солдатки Афимьи тёлка сдохла — рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвёртую — рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер — рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила — рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падёт на сердце, словно кто свечку зажёл и осветил душу, тепло так, приятно, а потом — подошёл чёрт с чёрной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работающая жена пропойцы Обабка — сука, какое она кому зло сделала, — разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая Обабкина жена действительно всем надоела и всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за неё, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и тёмные, донельзя забытые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котятка.

Так каждый ко всем относился, все к каждому.

А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулёмки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена стеной. Этих ненавидеть стали, «чёрт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала — гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врёшь, старик, на небо полез?..» — засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.

Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осади назад».

---

Так и жили в равненье и злостновании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, — жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про попов и духовных скверные побасёнки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб Бог дал дождя.

Мужья били жён молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчёмную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходил день, проходила неделя — и опять повторялись драки, и опять слышался рёв то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили шашни с оставшейся молодёжью, с кем попало — с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, и иной раз по озорству, из желания отомстить мужу, сделать ему больно.

Стешка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки всё, с прикрасой, разболтают мужу, наскажут то, чего и не было, — отлично всё это знает и нарочно, может, только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить её, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорёт на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!».

Детей рожали без боли и приготовлений, где придётся: в лесу и в поле — всё равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не будет».

Жизнь деревни Кедровки — испокон веку так завелось — кололась всегда надвое: то чёрная полоса, то светлая.

Уродится хлеб, удастся пушной промысел — светло на душе, отрадно. Ходят весёлые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, ещё след не простыл за воротами, но её не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду справляли, какую надо и какую не надо, — так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребятёнок, едва отвыкших от соски.

---

Лица у всех становились весёлыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению, прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выползали на улицу и брали в рот землю.

Проходит год, идёт другой. Мужики ещё с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Чёрт с лешим в карты, знать, играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!

Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость — ранний иней, за ним другой. И всё гибло.

Наступала тогда чёрная полоса жизни.

Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с Богом-то, драться не полезешь».

Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.

По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плёл? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и всё становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются — зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют — словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах ты, Ваньша, карий глазок», — слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.

Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидующими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, урвать, выругать, сжить со свету. А иной раз хочется — и откуда прилетит вдруг хотенье! — встать посереде улицы и каждому сказать: «Ребятушки, а ну, пойдём, а ну, наляжем — не поддастся ли?». Куда пойдём, на что наляжем — кто его знает. «Ребятушки, ворочай всё сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернёт крик и захохочет.

Вот Спирька-солдат из Питера пришёл, домой вернулся, — Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают... Мало ли он рассказывал!

Потом ушёл, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить... Что я — зверь, что ли?». Побахвалился-

---

похвалялся — да ушёл-таки... Слоняется где-нибудь, лёгкой жизни, сукин сын, ищет... Лодырь.

И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где всё не так, всё не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.

## II

Назимово — большое стародавнее таёжное село.

Недалеко от Кедровки, и сотни вёрст нет, — это не расстояние, — но жизнь там поприсяжной. В Назимове и «царские преступники» — политики — жили, и книжка по рукам ходила, и грамоте кой-кто из парней кумекал: школа была.

Там церковь каменная, колокол большущий, как бухнет-бухнет — долго гул идёт, есть священник, купцы, да и от проезжей дороги недалеко. А проезжая дорога прямёхонько упирается в уездный городишко, семьсот столбленных вёрст до города.

Однако греха и всяких поганых дел было много и в Назимове.

Торговый человек, Иван Степанович Бородулин, жил в двухэтажном доме с палисадником. Дом его по селу первый. Сам Бородулин мужик в соку, с большой чёрной бородищей, румяный, волосы в скобку, зубы белые, бабы его любят.

Со всеми ими помаленьку баловался Бородулин и, гордясь этим, говорил: «До женских я охоч». Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил.

Но гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с кузнецом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовскими парнями и с «женатиком» Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетинья, путалась с вдовым попом. Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлекался семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб.

Так оно колесом и шло.

Иван Степаныч Бородулин — купец не промах: всю округу в кулаке зажал.

Кедровский староста Пров уж на что мужик самосильный, а тоже в долгу у Бородулина: колдуны шишиг таёжных на Ке-

---

дровку напустили, без малого весь скот у мужиков от пове-  
трия чезнул — довелось с поклоном к купцу идти.

Долго кряхтел Пров: жалко Анну, единую дочь, в люди от-  
пускать, а надо. Убрались с полем, отправил Анну к Бородули-  
ну в работницы: хоть часть долга с плеч — и то дело. Матрёна  
больно горевала, перед разлукой на дочку наглядывалась.  
Мудрено ли? Анна по деревне первая, да не по деревне: по-  
ди, нет её краше да умнее по всей тайге, во всём русском цар-  
стве, — и в кого такая задалась?

Только вот Анну тоска грызёт. Так как-то, скучно... нехват-  
ка в чём-то... Исподтиха-исподтиха, да как вцепится, словно  
лукавый пёс... Точно не здешняя, не таёжная, точно в хру-  
стальном ключе родилась, что бежит из тайги да в речку, из  
речки в море, через весь белый свет, скучно Анне. Сама не  
знает отчего, а скучно... От жизни, что ли? Жизнь ли это? Ста-  
ло быть, жизнь...

— В досюльное время, сказывают, лучше было, а теперь  
погляди кругом: тошнёхонько, — сама с собой печаловалась  
Анна. — Люди не люди, выползут, мохнатые, потычутся но-  
сом, что положено, помытарятся да трухлявыми колодами  
хлоп в землю. А из тайги опять прут новые... Так и катятся: из  
тайги да на погост, под крестик. Вот и жизнь.

Особенно грустила Анна осенью, когда собирались к отлё-  
ту птицы. С болючим горем отрывала от сердца крик:

— Журыньки, возьмите мою душеньку... да унесите...

И не с кем словом золотым перемолвиться, розмыслом рас-  
кинуть. С Устином разве? Нет, Устин — старик, о божествен-  
ном думает: ему тайга мила. С Кешкой? Тёмная душа, без-  
звёздная. С родителем? У него сердце мозолистое: работай,  
ворочай за двоих, а дальше — тпру... Вот с Мошной, однако...  
Мошна старуха дошлая: много знает сказок, присказьев, по-  
басок. При трескучей лучине занятно её послушать: руками  
куделю прядёшь, а душа над тайгой трепыхает...

В разлуке с Кедровкой Анна не живала, а пришла в Нази-  
мово — тоска пуще. И быть бы, пожалуй, худу, но встретила  
Андрея — и всё перевернулось.

Как-то Бородулин потрепал её по круглому плечу.

— Иди-ка, Анка, слетай к Андрею-политику, — знаешь?  
Чтоб диван пришёл обить...

Вернулась Анна в радости.

— Ну? — хлопая на счётах, спросил Иван Степаныч.

— Придёт, — и она чуть улыбнулась углами губ. С того и  
началось. Впервые повстречала Анна такого человека. Шутка  
ли: учитель, ребят учил... Да и собой больно пригож... Что-то

---

такое в лице, в глазах есть... этакое... едва оторвалась... Когда пришёл Андрей, сама не своя: чуть самовар без воды не поставила, накрывала чай — стакан разбила, а помогала Андрею гвозди заколачивать — руки ходуном.

Андрей не меньше Анны, второй уж год, скучал в тайге. Он тосковал о широких донских степях, где родился и вырос, о деле, которому служил, о тех чумазных малышах, что с плачем бежали через всю станицу, когда увозили его в город усатые жандармы.

— Здорово, Андрей, — как-то заглянула к нему Анна.

Тот поднял голову, откинул свисавший на лоб чуб, прищурил живые, зоркие глаза.

— А-а-а... знакомая... — радостно протянул он. — Ну, здравствуй, соколица. С чем пришла?

— Уж ты не обессуди, — и Анна смущённо улыбнулась. — Скучаю я здесь, Андреюшка... Однако домой удеру... напиши писульку родителю, — кажись, десятский едет в Кедровку... Скушно...

Анна облокотилась на верстак, опустила голову.

— Скучно, говоришь? Да, Анна, невесело... Ну, давай напишем...

Он писал, она с любопытством разглядывала его грустное молодое лицо с высоким лбом, большими чёрными глазами. Брови у него густы, усы чуть-чуть, в плечах широк, а руки девичьи.

— Ты, видать, из благородных... Ишь какой... пригожий.

С той поры часто урывалась она к Андрею: «Чевой-то потянуло к тебе».

— А грамоте хочешь знать? — как-то спросил он.

Даже руками всплеснула, а глаза сразу налились слезами, как цветы росой:

— Андрей, Андреюшка... голубчик...

День за днём катились. Крепкие морозы пришли. Поиному себя Анна чувствует: не видит Андрея день — скука завладевает, а придёт к нему — уходить не хочется, так до пепелов и сидит.

Достанет Андрей книгу, сядут поближе к печке, да и коротают ночь: зимой в избе холодно, как закрутит буран, в углу снегу набьётся, хоть лопатой гребь. О людях Андрей читает, чужестранных царствах, о небе, о солнце.

— Ты почитай о правде.

О правде Андрей читает. Хорошо слушать: вливается в душу светлое, новое; тайга уплывает, и Анна уж над нею, словно на высокой горе. Хорошо, должно быть, мир. Андрей по-

---

особому читает, дойдёт до места, остановится и много-много говорит, голос ласковый, речь складная, с простого начинает, а сведёт на такое, что дух замрёт.

— Да как же так, Андрей? Неужто верно? — поднимает Анна крутые брови.

— Верно. Только у вас, у мужиков, глаза завязаны.

Как-то вечером Анна сидела у Андрея. Она шила рубаху, негромко напевала проголосную:

Уж ты гой еси, да ты светел месяц,  
Хоть светло ты светишь,  
Да не по-прежнему...

Андрей крупными шагами ходил из угла в угол.

Ой, потекаешь ты,  
Как ворам, плутам, разбойникам...

— Анна, — остановился Андрей и взял её за руку. — Хорошо ты, Анна, поёшь. У тебя столько слёз в голосе... грусть...

Девушка перегрызла нитку, отложила шитьё и сказала:

— Батюшка с матушкой лучше поют. Бывало, выпьют о празднике, сядут друг против дружки, подшибутся, да и... Ну, непременно заплачешь.

— О чём же? — поглаживая её голову, спросил Андрей.

— Да и сама не знаю... Тяжело делается... Быдто кто покличет куда...

— Ну-ну... — сказал Андрей и опустился возле Анны.

Та глядела перед собой, что-то вспоминала, к чему-то прислушивалась.

— Али вот ночью... Не заспится иным разом, — ну, хоть нарежь. А батюшка с матушкой похрапывают. Выйду на речку, да и сяду у воды... Ночи летом светлые, а птицы в черемошнике, почитай, наскрозь поют... Сидишь и думаешь... Эх, думаешь, была бы богатырём, сгребла бы огромный топориче, да ну тайгу пластать... Вывела бы дороженьку прямёхонько на белый свет...

Андрей поднял с полу стамеску, переставил с окна на пол примёрзший пузырёк с политурой. Анна подбросила в железную печку дров.

— Андреюшка, слушай-ка... Чевой-то сказать хотела. Да, вот чего... Не славно как-то... жизнь-то... Живёшь, а словно бы не живёшь, а так как-то...

Андрей откинул чуб и зашагал.

---

— Жизнь... Какая же это жизнь?.. — размахивая руками, говорил он. — Жрут, спят, дерутся, убивают... Дикое нечто, звериное..

— Ох, голубчик... Хуже зверья... Ты побывай-ка у нас в Кедровке... Жуть...

Андрей одёрнул чёрную суконную рубаху, подошёл к верстаку и стал стругать.

— Уж больно плохо: бедность, руготня, убийство...

Анна сидела, склонив над шитьём голову.

— Эн Федот у нас, лавочник, — тихо говорила Анна, — обобрал как-то двух тунгусов, а чтоб концов не видно, дал им спирту гольного бутылки три в дорогу-то. Ну, напились в тайге, а мороз был страшительный — замёрзли. А наши мужики — чего им, нешто жалко!.. За два ведра Федот всю деревню купил: ни гу-гу.

Свежая стружка под сильной рукой Андрея с визгом отделилась от бруса и жёлтыми кудряшками ложилась у ног. Пахло смолой.

— А то парни девкам помощь устраивают. Слыхал, поди?

— Да, обычай страшный. Изуверство. Грязь.

Андрей положил фуганок. На его лице отразилась боль. Он полузакрыв глаза и, покачиваясь, слушал Анну.

— Молвить-то стыдобушка, скверность... Чуть не угодила девка — умят обманом за деревню да всем табуном... Тьфу!.. Срамота одна... Господи Христе... Да ить с парнями-то ребятёнки, мотри, лезут да женатики... А то старичишка какой ульнёт... Орёт девка, быдто жилы тянут... Одну замучили: умом помутилась да с сопки в речку. А вся и провинка-то, что за безносика замуж не пошла...

Анна оторвалась от работы и уставилась в стену, словно в столбняке. Андрей, заложив руки назад, крупно шагал из угла в угол и что-то говорил Анне, но та думала своё.

Потрескивало и ворчало в печке пламя, а с улицы доносились крики и руготня: должно быть, зачиналась поножовщина.

— А ты, Андреюшка, долго ли здесь проживёшь-то?

— Не знаю... Может быть, всю жизнь, — упавшим голосом сказал Андрей.

Он подошёл к низенькому оконцу и, согнувшись, уставился на мутную, в лунном свете, всю засыпанную снегом улицу.

— Проводи-ка... Пойду не то... — вздохнула Анна.

— Сиди...

Он опустил голову возле и задумался. Анна прижалась к нему, заглядывая в глаза. В них была печаль, ей показалось даже — слёзы.

---

— Душно, Анна, скверно... Что-нибудь делать надо такое... ну, чтоб посветлей было. Жизнь налаживать надо, Анна...

Голос его срывался.

— Охо-хо... Легко молвить, а ну-ка, приступись...

— А если ничего не выйдет, убегу... — Андрей быстро сорвался и зашагал по комнате, крепко сомкнув кисти рук. — Убегу куда глаза глядят... В Америку!.. К чёрту!.. К дьяволу!..

— Андреюшка, и я с тобой...

— И ты?! — Он поймал её протянутые руки и, весь загоревшись радостью, поднял её с лавки.

— Я в согласье, — шептала Анна, вся дрожа. Потом, словно что вспомнив, удивлённо вскинула брови. — Постой, Андрей... А здесь-то как же? Ведь сам же говоришь: темень, скверность... Зачем же убегать? А ты здесь свети. Хошь сколько посветишь, и то добро... Хошь лучиночкой немудрящей...

Андрей улыбнулся:

— Когда встанет солнце, по всей земле светло... без лучинки... сразу. А солнце там, Анна, за тайгой...

— Родной мой... желанный... Ты сам вот и есть солнышко-то.

Проводив Анну, Андрей до утра не спал. Он вынул карту и долго её рассматривал. Да, конечно, можно... К весне он с Анной доберётся до Лены... Следы запутать просто: будто муж с женой на золотые прииски пробираются. А по Лене пароходом... Ну, убегут... А что же дальше? Нет, одному надо... одному...

— Мечта... — роняет Андрей, и его губы складываются в ядовитую усмешку. — Мечта! — швыряет он карту на пол и ходит взад-вперёд до изнеможения.

В Андрее с каждым днём росло нечто новое: то его манила тайга своим загадочным шумом, простая жизнь вместе с Анной и упорная борьба с таёжной тьмой; то воля вставала перед ним, и сердце рвалось ей навстречу. Воля... красивое это слово... Что ж? Вить гнездо в тайге или подняться вместе с лебедями и лететь за моря?

Но вот как-то в праздник утром пришла к нему Анна. Бледная, растерянная. Не поздоровавшись, опустила на скамью. Андрей возился над чучелом летяги-белки.

— Что с тобой?

Та не ответила, только вздохнула.

— Не Бородулин ли обидел?

Анна сидела потупившись.

— Да ты что? — шагнул к ней Андрей и взял её дрожавшие холодные руки.

---

— Андреюшка... соколик... затяжелела... — прошептала Анна, закрывая лицо.

— Ну вот... так-так... — тянул Андрей, собираясь с мыслями и чувствуя, как перевернулось его сердце. — Вот и отлично... хорошо. Очень хорошо... Ну...

Анна ушла радостная. Не шла, а бежала. Ярко светило солнце. Снег слепил глаза. Была капель.

Андрей готовил товарищу длинное письмо:

«Дружище. Теперь всё ясно: я остаюсь в тайге. Надолго ли — покажет жизнь, но кажется — надолго... Буду посилено разгонять таёжную жуть... Ты улыбнёшься? Мелко, скажешь? Ну, что ж... Такова планида, как говорит здесь один купец-хват... Но вот в чём дело. Помнишь, я как-то писал тебе о своей подруге. Я с первого же знакомства привязался к ней, и чем дальше, тем крепче... И она для меня здесь, в тайге, — всё. А сегодня она мне сказала...».

У Андрея шумело в голове, строчки прыгали. Он обмакнул перо и перечёл написанное.

— Нет, не так... не то... К чему? Надо по-другому, — и разорвал письмо.

Пришла весна. Тайга закурила, заколыхала свои камильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелёными глазами.

Андрей любит уйти весной в тайгу на неделю, на две, чтобы упиться вволю весенним хвойным запахом после долгого восьмимесячного сидения в четырёх стенах.

По ночам, когда не было Анны, он выходил на улицу и, весь насторожившись, вслушивался в гусиный внятный говор:

— Га-га... Гагага... Га-га... Гагага...

Высоко, меж тайгой и тихим звёздным небом, стая за стаяй, вольной лавиной мчались на север гуси.

Андрей чуял, как всё в нём закипает буйной радостью. Он жадно шарил глазами по небу, но, кроме мерцавших из голубого мрака звёзд, ничего не видел.

— Надо идти...

И вскоре, в весенний вечер, Андрей горячо обнял Анну:

— Я в тайгу уйду, Анночка... теперь хорошо там.

— Чего тебе тайга?

— Тебе не понять, Анночка... Я люблю тайгу... Я скоро вернусь.

Утро настало. Взял Андрей с собой припасы, вскинул на плечо ружьё, простился и бодро зашагал вдоль села.

— Не заблудись смотри... Прощай... Проща-а-ай!..

---

### III

Лишь загудит весной тайга, бродяги надевают заплатадную торбу, берут жестяной котелок, суют за голенище отточенный нож и выползают на Божий свет из чёрных бань, брошенных избушек, зимовьев, обросшие волосами, шершавые и почерневшие от копоти за долгую северную зиму. Выпрямляют согнутые спины, щурятся на солнце, ищут в синеве небес белый лебединый бисер, прислушиваются к хлопотливому крику плывущих с юга птиц и, покорные зову тайги, рассыпаются по её звериным тропам.

Солнце ещё не закатилось, но скоро спрячется за хребтом: вот дрожат последние лучи его на макушках деревьев. Ещё немного — скользнут мимо, в сереющий вечерний простор, и растают. Тихо внизу, а там, над тайгой, ветерок погуливает, шелестит хвоей, вздорит.

— Тюля, кроши чай-то, — октавой сказал плечистый лысый старик, по прозвищу Лехман.

— Есть, — отрубил Тюля, лет тридцати парень, с простоватым круглым, толстогубым лицом, и, крякнув, завозился у мешка.

Лехман — старичина дюжий, бородачица изжелта-седая, огромная, прядями свалаялась, нос с горбиной, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гайкнет, — ох и рост же у деда, ох и голос — труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик.

Двое других, Антон да Иван, чинили амуницию.

Иван, или, как его за весёлый нрав зовут, Ванька Свистопляс, садит на какую-то бабью кофту заплаты и приговаривает:

— Вот это мундёр — так мундёр... — и гогочет селезнем, встряхивая кудластой, как капустный кочан, головой.

Антон весь потный, худой, борода с проседью чёрная, метёлочкой, щёки впалые, и большие, задумчивые, в тёмных кругах глаза.

— Так-то, миленький, — говорит Антон, — это Господь нас натолкнул друг на дружку... — и черпает берестяной ложечкой из деревянной чашки сухари.

— Господь... Как не Господь... — гудит Лехман. — У тебя всё Господь. Встретились, да и вся недолга.

Ванька Свистопляс, досыта наевшись, пошёл рубить сухую листовень: темнеть начало, а костёр погасал.

Тюля лёг на спину, помурлыкал себе под нос, потом вскочил и скрылся в лесу, весело свистя и потрескивая сучьями.

---

Сумрак надвигался со всех сторон, а вместе с ним пришёл холод. Набросали в костёр смолевых пней. Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, заискрились, распространяя жар и свет.

Антон лежал, подставив теплу спину, и говорил, глядя перед собою сонными глазами:

— Вот, миленький, Бог его ведает, доплетусь ли до родины.

— Дальний?..

— Из Воронежа. Есть такой хороший город Воронеж, родина моя.

Вдали стучал топор, и слышно было, как с шумом грохнуло наземь подрубленное Ванькой дерево.

Антон сел поближе к огню. Печальное восковое лицо его блестело от испарины, будто начинало подтаивать и оплывать в лучах костра.

— Я ведь, старинушка, не простой... Я ведь духовного звания: сельского псаломщика сын, — начал он монотонным, глухим голосом. — Из семинарии меня, значит, выгнали: так, без прилежания учился, да и спиртным напиткам подвержен был. Отец же мой многосемейный, жизнь влачил бедную, даже на глаза меня не принял, и стал я с тех пор сам по себе. Ну что ж, думаю, надо как ни то... По писарской части у меня ничего не вышло, да и не по душе... Тянуло меня в поля, в леса, чтобы по дорогам, по большакам ходить, монастыри старинные осматривать... Любил я, грешным делом, всё это. И уж подумывал в монахи пойти: есть такие монастыри удивительные — вон Сарова пустынь, ах Ты Богородица: леса, речки — прямо рай. Влекло меня к божеству, шибко влекло. Но всё вышло на другой лад. Стал я, дедушка, маляром, а потом присмотрелся у монахов, да и живописцем заделался, потянуло меня опять на Русь, по сёлам бродить начал. — Антон качнул головой, причмокнул, повёл острыми плечами и вздохнул. — Подружился я как-то в селе пригородном с поповской дочкой... Ну, конечно, весна, соловьи, благоухания... А сам в то время франт был: часы, куртка бархатная, шляпа и тому подобное. Словом, чтобы грех прикрыть, окрутил нас отец Никифор... Зажил я тут, можно сказать, во всём благополучии: жена красоты замечательной, пиши с неё картину: работы сколько хочешь — из других уездов присылали. Харрашо с Наташенькой жили. Так бы оно и катилось чередом, да грех вышел, люди меня за простоту растоптали...

— Человек на это горазд, — сказал Лехман.

Сквозь чащу продирался Ванька Свистопляс, волоча по земле сухие сучья.

---

— Пять лет жития моего сладкого было. А тут и... Подновлял я храм в одном селе. Благолепный храм, помещиками в старину приукрашен был изрядно. Ну вот. А в селе как раз ярмарка. Народищу навалило густо. Ну, сначала хорошо шло: подгрунтовал я, значит, праотцев в верхнем ярусе, а пока сохнут — евангелистов начал освежать. В церкви и жил, в закоулочке: приду, значит, вечером, побродивши по базару, меня на ночь и запрут, а чуть зорька — я уж за работу... И вот, милый, тут-то меня жизнь и ущемила...

— Запил, что ли? — спросил Лехман.

— Грешный человек, запил... Какой-то вроде актёра, бритый, возле меня всё юлил... С ним, значит, и того... Нашли меня на вторые сутки... «Как же тебе, Антон Иванович, не совестно! — крикнул на меня староста церковный. — И деньги все пропил?» — «Извините, говорю, пропил». А я действительно при начале двести целковых на позолоту да на краски взял. Староста размахнулся да раз меня в ухо! Горько мне сделалось, заплакал я... от стыда больше, потому — все меня уважали. А всему виной бритый: выманил у меня, у пьяненького, денежки-то, да и лататы... Он, подлец, и в церковь ко мне захаживал, всё иконами интересовался, знаток — это верно... Ну, ладно... Положили меня, значит, на вытрезвление к просвирне, а за женой подводу отправили, потому знали, что я жену, как Бога, чтил.

Антон помигал глазами, снял картузишко без козырька и вытер рукавом потный, с запавшими висками лоб.

— И вдруг ночью ввалился ко мне народ, руки скрутили да в волость. Вот так раз. Ничего понять не могу, потом дорогой слышу: церковь ограбили, венчик в камнях с иконы сняли, крест на престольный, чашу с дарами и кружку вытрясли. Ловко. Я аж обмер. Даю отпор — знать не знаю. Обыск. Как тряхнули мою жилетку, а оттуда два пятака старинных екатерининских да медаль серебряная. «Ну, так и есть! — староста кричит. — Она самая, моя медаль... Вот и зарубинки. Самолично в кружку опустил!» Тут мне и погибель...

— Ха! — хакнул Лехман. — Это бритый.

— Неужто я?.. Стал бы я на Господний храм руку подымать... Не тот человек я... а так, попал в сеть, как перепёлка... А вступиться некому: брат старший в духовную академию обучаться поехал, родитель помер, отец Никифор помер... Так меня и закатали...

— А как же бритый-то? — враз спросили Лехман с Ванькой. — Чего ж ты его-то не упекарчил?..

— Где уж... Вишь, я какой?.. — развёл Антон руками и как-то вкось ухмыльнулся. — Смирный я, нерасторопный... Всего

---

меня придавило. Накатилось какое-то такое... ну, вроде как... Словом сказать — махнул на всё рукой: так, видно, на роду написано...

Антон, тускло поглядывая в сторону и думая о чём-то другом, рассеянно сказал:

— Объяснял я про бритого, как же... Ищи ветра в поле... будто в воду... А у меня — медаль...

Лехман и Ванька Свистопляс внимательно слушали. Голос Антона дрожал, впалые щёки разгорелись. Он тонкими пальцами, волнуясь, потеребивал бородёнку и почмыкивал утиным, с зашипкой на конце, носом.

— Как попал я в Сибирь, стал пить. Прямо пьяницей горьким сделался. Через это всё здоровье потерял. До белой горячки, милые, допивался, по воздуху в избе летал. Вот быдто взвьюсь вверх, с избой вместе, да и ну порхать.

Свистопляс рассыпался горошком и провёл ладонью снизу вверх по курносому своему бабьему лицу.

— Это бывает! — весело крикнул он и подбоченился. — Я тоже так-то пивал, дык меня черти в ад спустили по трубе... Женить на жабе, так твою так, хотели, да выгнали.

— И вот, милые, — вновь заговорил Антон, — так и жил я в нужде да лишении одиннадцать годиков. И так меня потянуло в родное место, что выразить вам не могу. Жена с дочкой сниться начали, голос подавали. Вот так сидишь в тайге, у речки, ночью, вдруг: «Анто-о-ша...». Вскочишь, перекрестишься, и только забудешься — опять: «Анто-о-ша...».

Антон вздрогнул и перекрестился.

— Не вытерпел, собрался в путь. Не много, не мало шёл я, сказать по правде — ровно два года. Пришёл это я в Воронеж вечером. А ещё когда в тюрьме сидел, знал, что Наташенька с дочкой в город перебрались... Как же. Переночевал на постоялом, а утром в собор, стою в задку, трусь возле нищих, думаю: они в городе лучше всех знают каждого. И верно: узнал от них, что мой брат, Павел Иванович, овдовел и состоит ныне профессором семинарии духовной и метит, мол, в архиереи.

— О-о-о... — протянул Ванька. — В анхиреи? Ловко.

— Да. А об моей Наташе ни слуху ни духу: ровно бы, говорят, такой и в городе нет. Потом про брата опять подумал: слава, мол, Господу, ежели к такому чину готовится, это хорошо: чин ангельский, и человек должен быть души тихой. Вернулся я на постоялый вечером. Погрыз калачика, чайку испил, помолился про себя Богу, лёг. Вдруг среди ночи сон: будто я в часовне один-одинёшенек, стою на коленях и земные поклоны бью. А перед иконой Богородицы единая све-

---

чекка маленькая. Горит, а свету нет. Потом разом как вспыхнет сияние. Я сразу ослеплён был, упал плашмя, головой в пол, и слышу твёрдый голос: «Иди, раб, будет указано!». Тут я, братцы, вскочил, гляжу — утро. Трясусь весь, зубами щёлкаю, одеваться проворненько начал, да в штаны-то никак не могу утрафить...

— Гы-ы, — протянул, осклабясь, Ванька, но Лехман молча пнул его в бок и мотнул головой Антону:

— Ну-ка...

— Вот хорошо. Поплескался водичкой, смелость такую в себе почувствовал, что, кажется, всё нипочём. Пришёл в семинарию. «Павел Иваныч дома?» — «Насчёт доставки дров, что ли? Иди наверх, третья дверь справа». Иду, улыбаюсь, душа прыгает во мне, что-то будет? Хочу крикнуть ей: «Образумься, вернись!». Она отвечает: «Иди, будет указано». Чуть приоткрыл дверь, взглянул: однако — он, в мундире, чай пьёт. Не пойду, думаю, а душа кричит: «Иди!» — да как толкнёт меня в комнату. Ей-Богу...

— Дела-а-а... — протянул дед и погладил кольчатые пряди бороды.

— «Братец», — сказал я. Он повернулся, точно его обожгло, поднялся: «Антон!» — глаза круглыми сделались, руками машет, шипит: «Да как ты мог, да как ты осмелился?». Я в ноги, ползу к нему да вою: «Братец мой, брат...». А он стоит как столб: «Ты подумал ли? Что тебе надо? Ты бежал?». — «Мне бы жену мою, Наташеньку, увидеть да Любочку...» — «Наташа умерла». — «Как?!» Он помялся этак, подумал: «Она живёт тут с одним... с помещиком... На содержании». Я уж на ногах стоял, встал с полу-то. Захватило у меня дух, в голове кружение сделалось. Оправился, однако, держусь за стену. «А Любочка, хоть бы на Любочку взглянуть...» Стою, жду ответа, всплеснул руками, а лицо, чую, дрожит, подбородок скачет, слёзы по щекам текут, и всё в глазах прыгает. А брат, как мышшь в ловушке, бегаёт по комнате. Потом остановился, взглянул на меня исподлобья. «Ладно, говорит, жди». Схватил фуражку с кокардой, ключ достал. «Я, говорит, тебя запру, чтобы прислуга...» Сел я на стул, сижую, думаю: «Эх, Наташа, Наташа...».

Антон умолк и закрыл лицо руками.

Лехман похлопал его по согнутой спине.

— А ты плюнь... Эка штука... Возьми сердце-то в зубы...

— Ах, милый, ведь больно... Веришь ли, тяжело ведь...

— Ну-ка, сказывай, как дочку-то встретил.

— Эхе-хе-е-е... Встретил!.. Я её так встретил, что помирать буду — и то час тот вспомню... Лихой тот час был, ребятушки.

---

Правильно в Писании сказано: «Враги человеку домашние его...». Так оно и вышло.

— Не признала, что ль, за отца тебя?

— Не в этом дело-то, сударик... Слушай, уж доскажу... Вот жду я, жду, сам думаю: о чём говорить начнём с дочкой? А в мыслях я держал повидаться с Любочкой да жену разыскать, ну, там пожить тайно, без огласки чтоб, с недельку, да и назад. Но, миленькие, тут-то, сидя на стуле, понял я и уразумел всей душой, что обратного пути мне нет, что назад уйти в Сибирь от дочери, от родины сил не хватит. Думай не думай — этому не быть. И вдруг злоба закипела. «Ах ты, окаянная душа, — сам себе шепчу. — Куда ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня...» Всё тут всплыло сразу наверх, всё, всё, ребятушки. Вся жизнь, вся сладость прошлых дней моих счастливых, и друзья, и знакомые, и ласки жены... Всю душу во мне перевернуло. А что ж дальше? — думаю... — Назад? Будь ты проклята, душа моя!

— А души-то и не бывает, — не утерпел Ванька.

— Тьфу, леший! — плюнул дед.

Антон встряхнул локтями и приподнятым голосом быстро-быстро заговорил:

— И такие во мне закружились мысли, что страх. Ничего не разберу, прямо вот ухватиться за них не могу, мелькают, как пчёлы или снег валит. Как начали жалить: «Давись, пока нет!.. Убей брата, а деньги в карман... В монахи, в схимники... Жену убей... Нет, любовника убей, дочь возьми...». Потом всё умолкло, как метлой смело, и, чую, один только голос во мне выявляется: «Будет указано». Вдруг: дзинь-дзинь! Дверь отворилась: впереди братец, а сзади два жандарма и пристав. Я вскочил, а милый братец протянул руку и сказал: «Вот!».

— А-а-ах, сволочь! — прошипел вдруг дед, судорожно сжимаемая пальцы.

Ванька плюнул в кулак и потряс им в воздухе:

— Так твою так!.. Вот это брат.. Я б его, на твоём месте, по зубам да об голову.. Я б его!..

Лехман встал, крикнул, сдвинул на затылок шитую из тряпок шапку, взял топор и начал сильными взмахами рубить возле угасавшего костра пень. Пень не поддавался, и дед, вдруг обозлившись, ругал топор, ругал Ваньку, ругал эту чёртову коряжину-пень, — ни дна б ему, ни покрышки, окаянному, швырнул топор в тьму и куда-то быстро скрылся.

Антон молча вздыхал. Ванька Свистопляс на все лады сквернословил...

---

Два голоса вдали послышались: сердитый — Лехмана и виноватый — Тюли. Лехман кричал грубо и насадиисто. Тюля робко возражал.

— Чтоб тебя, дикошарого... Мало тебе ещё, чё-орт...

— А как не скоро придём в Кедровку-та?

— Не скоро-о?.. Твоё дело пакостить...

Подошли.

— Ну, сухарей возьми, ну, крупы отсыпь... А порох-то зачем, сбрую-то зачем?.. Чё-орт...

Тюля свалил у костра мешок нагребленного в зимовье добра и стоял с улыбающимся, испуганно-виноватым лицом.

— Я в ответе буду.

— Ты, тварь? Ты! — рывкнул Лехман. — Наш путик только загаживаешь... Ведь поймают — всем нам башки оторвут.

Тюля поправил костёр, взял мешок, приподнял, будто примеряясь, грузно ли, и, отбросив с сердцем в сторону, сел.

— А у нас в Расее... — начал было он, но Лехман, тяжело пыхтя, перебил его:

— Давайте, братья, спать: ишь ночь.

Темно было кругом и тихо. А холод наплывал всё настойчивее. Спины у бродяг стали мёрзнуть.

— А у нас в Расее... Дык... Эдак-то... — попробовал вновь завести разговор Тюля, щуря на Лехмана свои узкие поросячьи глаза.

— Брехун, — сказал дед и стал укладываться, подостлав на землю хвои.

Лехман приподнялся, вздохнул, потёр старую спину, задумался. Свою Лехман думу думает, таёжную.

Тихо в тайге, замерла тайга. Обвели её шиликуны чертой волшебной, околдовали неумытики зелёным сном. Спи, тайга, спи... Медведь-батюшка, спи. Сумрак пахучий, хвойный, караул тайгу: встань до небес, разлейся шире, укрой все пути-дороги, притуши огни.

Не шелохнет тайга. Ветер ещё с вечера запутался в хвоях, дремлет. Вот хозяин поднимается, — белые туманы, выплывайте, — вот хозяин скоро встанет из мшистого болота. Филлин, птица ночная, ухай, канюка, канючь, — хозяин фонарик отыскивает... Звери лесные, все твари летучие, жалючие, ползучие, залезайте в норы: хозяин идёт, хозяин строгий... Расстилайтесь, белые туманы, расстилайтесь... Человек, не размыкай глаз: хозяин страшный, увидишь — умом тронешься, крепче спи... Тише, тише: хозяин потягивается, хозяин с золо-

---

того месяца когтем уголёк отколупывает... Ох, тише: хозяин дубинку взял...

«Го-го-го-го-го-оо-о-о-о...»

— Кто это? Ты, дед?! — как гусь, вытянул шею Ванька.

Бродяги спали крепким сном.

## IV

Только теперь почувствовала Анна, что Андрей и она — одно.

Когда наладилось у них с Андреем — весёлая была, без песни не работала, а теперь словно подменили: тихая, молчаливая. А то — задумается, стоит столбом у печки, не живая. Окликнут — вздрогнет. Бородулин сердиться стал.

— Я на тебя, Анка, штраф буду накладывать... Однако я тебя, девка, к себе в спальню утащу...

Но Анна строгим, укорчивым взглядом гасила купеческую кровь.

Давненько на неё Бородулин зарился: так, поиграть хотел. Надо бы Дашке отставку дать ещё с осени. Анну приручить тогда — раз плюнуть, полагал купец, а теперича... Большого купец дал маху: у Андрея действительно рожа замечательная, благородный... без штанов, а в шляпе...

— Ты чего, быдто щёлоком охлебалась? — как-то спросил Иван Степаныч Анну.

Промолчала Анна.

— Али всё по Андрюхе тужишь?.. Смотри, девка, — погрозил шутливо пальцем и поглядел на Анну по-грешному.

Но когда глядел на Анну, вместе с грешной думой что-то новое шевельнулось в душе, словно зелёная травинка сквозь землю в чертополохе прорезалась.

«А что?.. — сам себя спрашивал купец. — Дело было бы...» — и улыбнулся.

И весь день улыбался.

Давно надо бы Андрею воротиться. И уж стало думать Анне разное: не заблудился ли, медведю не попал ли? А вдруг в бега ударился! Не спится Анне по ночам, а ежели уснёт — сон тягостный мучит, вскакивает Анна в страхе и долго сидит во тьме, трясётся. Ведь вот стоял, наклонялся, гладил... Нету. Закричать бы, заплакать... горько-горько заплакать бы... Но не было слёз.

Май за серёдку перевалил. Андрей не возвращался.

---

Товарищи-политики всполошились: все сроки прошли, пропал Андрей. Мужиков сбили, три дня всем селом в тайге шарили — нету.

— Убёг, стерва, — сказал Бородулин мужикам. — Упорол... Наверняка упорол...

У Анны сердце кровью облилось. Все три дня не пила, не ела. Точно в дыму ходит, вся снутри горит. А как вернулись мужики ни с чем, обрядилась Анна во всю таёжную мужичью «лопотину»: холщовые штаны надела, рубаху посконную, бродни, взяла винтовку у хозяина да двух собак и пошла с кривым солдатом в тайгу.

— Эк тебя подмывают лукавые-то... — ворчал Иван Степаныч. — Эк ты присуха-то корёжит...

Долго они по тайге путались, вёрст на сто обогнули, весь порох расстреляли, — нет, не откликается. Так и вернулись домой, ободрались оба, солдат щетиной оброс, у Анны щёки провалились. Бородулин только головой покачал.

— Ну, как же... ты скажи... Ради Бога, скажи... Куда схоронил? Где? — как-то пристала к Ивану Степанычу Анна.

— Кто? Я? Да ты ошалела, девка?

— Побойся Бога... Отдай... Ну, отдай...

Иван Степаныч и на счётах брякать перестал. Долго, пристально смотрел на Анну. Стоит перед ним тихая, уже не кричит, не просит, глаза опустила, а губы дрожат, кривятся, не может совладать.

Бородулин поднялся и заботливо повёл Анну вниз, в её комнатку.

— Найдётся.

Твёрдо сказал купец. Анна поверила и улыбнулась, а как стал гладить её голову, поймала руку, заплакала — и вдруг ей сделалось легко.

И только засыпать начала, Бородулин так же твёрдо, как по сердцу молотом:

— Он давно дома у себя...

Анна поднялась — темно. Кто загасил? Где солнце? Где Андриюшкино солнце?

— Иван Степаныч! Даша! — кричит Анна.

Никто не отозвался. Только в углу, где рукомоЙник, капелька по капельке булькала в лохань вода.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч!.. — идёт босиком, простоволосая, половицы поскрипывают, двери сами собой отворяются.

Надо бегом, радостно стало, надо по задворкам, как тогда, как раньше...

---

— Ну, куда ж ты, стой! — Даша схватила её сзади.  
— К нему... к Андрею.  
— Да ты что? Очухайся...  
— Иван Степаныч сказал...  
— Пойдём, пойдём... Когда это? Он вечер ещё уплыл. Чего ты мелешь. Да и-и-ди-ка, тёлка!  
Полная луна стояла в небе. Анна поглядела на луну, на голубую церковь, на Дашины чёрные глаза.  
Стало быть, сон...

— А Анна-то тово... — сказала поутру Даша и постучала пальцем по лбу.

Старухи приплелись, застрекотали. То с уголька советуют sprыснуть — может, отведёт, то в подворотню пролезть голой да на месяц по-собачьи взляять. Хорошо бы за упокой подать, батюшка добрый, ему только бутылку посули, отслужит панихиду, это помогает: душа у Андрея скучать начнёт, ангел Божий на дорогу выведет — иди.

Анна старух разглядывает, виски сжала ладонями, голова болит. А старухи пуще; голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся.

— Колдовка! — кричит горбатая. — Твоё дело по ночам коровам вымя выгрызать...

— От колдовки слышу! Тьфу! — вскочила хромая, топнула кривой ногой и вся в дугу изогнулась. — Ты вот свиньицей оборачиваешься, оборотка чёртова...

— Ну, ты... потрясучая!..

Анна стонет, голова гудит. Хоть бы Иван Степаныч пришёл да выгнал. А старухи пуще.

Анна тихонько ноги спустила да рукой к ружью, — и страшным голосом на старух:

— Уходите...

Старухи, как овцы, стадом в дверь.

А по селу прокатилось: кедровская девка спятила.

Приехал из волости урядник, собрал сход.

— Искали, ребята?

— То ись, скажи на милость, всю тайгу выползали.

— А покличьте-ка её, эту фефёлу-то вашу... как её?..

Стали Анну звать — не идёт, староста пришёл — не идёт, приказано силой взять.

— Ну, иди... Чего ты, право?

— Пошто я ему? Изгаляться, что ли? — сверкнула она взглядом, однако пошла.

---

Урядник на завалинке сидит: ногу отставил, руку в карман, глаза навывкате, усы строгие, сам «с мухой».

— Ого, кобылица какая... Ядрё-ё-ная... — облизнулся он на Анну. — А ну-ка, говори, сударыня... Ты трепалась с Андреем, с политическим? А?

Анна гневно сдвинула брови и тяжело задышала, косясь через плечо на урядника.

— Ты оглохла? — пьяно кричал он. — Я те уши-то прочищу... потаскуха мокрехвостая!..

Как под бичом вздрогнула Анна.

— Бесстыжий... Тьфу! — злобно плюнула ему в лицо.

— А-а-а... Так?! — блеснув на солнце перстнем, он со всей силы ударил её в висок.

— Ой, ты... — обхватила Анна голову. — Зверь!..

Урядник, весь налившись кровью, вновь взмахнул кулаком, но мужики сгребли его и враз загрозили:

— Ваше благородие! Ты не смей!..

— Ты этого не моги!.. Девка чужая, девка одна...

— Что-о-о?.. — да как даст ногой Анне в живот. — В чижовку! Живо-о!

Анна перегнулась вся:

— Ребёночка убил... батюшки, убил! — И, дико крича, пустилась по деревне.

А от реки, развевая чёрной бородой, бежал на шум только что выкупавшийся Бородулин. Ему было видно, как в толпе, взлетая и падая, кого-то молотили кулаки: сверкнула шашка, взягнули в чищенных сапогах ноги — и толпа вдруг бросилась врассыпную.

— Бу-у-унт... Бу-у-унт... — ползая по земле, хрипел урядник.

— Пётр Петрович! Ваше благородие... Да ты что?

— Запорю... В каторгу, сволочи...

Ивану Степанычу больших трудов стоило увести урядника домой. Привёл, подал сам умыться, — вода в лохани заалела кровью, — сам перевязал ему подбитый глаз.

— На-ка вот, — отрезал ему лучшего сукна на шинель, — порвали, подлецы! — да ещё добавил двадцать пять рублей. — Ты лучше забудь... Мало ли чего... Ты с нашим народом не шути... Гольное зверьё... Дрянь...

— Только бы начальство не дозналось... А с мужичками сочтёмся... И девку тоже...

— Девка чего же... Девка ничего... Жаль всё-таки... На-ка, дербулызни коньячку... На-ка рябиновочки...

Когда пьяного урядника положили поперёк повозки, Иван Степаныч шепнул ямщику:

---

— Чебурахни его, анафему, куда ни то в лужу... где погуще...  
Понял?..

— У-устряпаю, — подмигнул весёлый парень и, вскочив на облучок, вытянул вдоль спины и коренника, и лежавшего пластом урядника.

Иван Степаныч зычно захохотал вслед взвившейся тройке и кликнул новую свою стряпку, моложавую вдовуху Фенюшку:

— Ну, как Анка-то?

— Да чего... лежит...

— Истопи-ка пожарче баенку да распарь-ка её хорошенько, разотри. Чуешь?.. Редьки накопай — да редькой. Ну, живо!

Он лёг спать рано, — выпито порядочно, — ухмылялся в бороду и приговаривал:

— Засужу... Хе-хе... вот те засужу...

Лёжа думал: засудил бы, что тогда?.. Полсела угнали бы в тюрьму, сколько долгов пропало бы.

Поглядел на образ, на мягкий огонёк лампадки и громко сказал:

— Слава тебе, Микола милостивый, слава тебе...

От избытка сил Ивану Степанычу легко и весело, мысли приятные роились, и во всём теле гулял лёгкий полугар. Чей-то голос знакомый послышался, Анкин не Анкин, глаза голу-бые приникли, кажется Анкины... да... её глаза, Анкины.

Поднял купец веки, крикнул:

— Сходить нешто... проведать... — Но вот улыбка ушла с лица. — Ужо исправнику собольков парочку подсортовать... Он его... Бродя-ага... Драться!

## V

Завтра в Кедровке праздник. Каждый год в этот день из часоуенки, или, как её называли, полуцеркви, что стояла среди кедровой роши, подымают кресты и всей деревней идут в поле, за поскотину, к трём заповедным, сухим теперь лиственницам — служить молебен.

После молебна начиналась попойка, а к вечеру угаром ходил по деревне разгул с пьяной песней, орлянкой, хороводами. К вечеру же заводились драки — кулаками и чем попало; доходило дело до ножовщины.

Пьянство продолжалось на другой и на третий день. За этот праздник вина выпивали много. В хороший год с радо-

---

сти: «Белка валом валит к нам в тайгу», в плохой год с горя: «Пропивай всё к лешевой матери, всё одно пропадать».

Вино всех равняло — и богатых и бедных. У всех носы разбиты и одурманены головы, все орут песни, всем весело. Будущее, как бы оно плохо ни было, уходит куда-то далеко, в тайгу; мысли становятся короткими: граница им — блестящий стаканчик с огненной жижицей, пьяные бороды, горластые бабьи рты. Всё застилает серый радостный туман, и сквозь него смеётся тайга, смеётся поле, смеются белки: «Бери живьём, эй, бери, богатей, мужик!». И мужик брал: тянулся к штофу, бросался вприсядку, махал свирепо кулаками, вопил в овечьем стойле, торкнувшись головой в навоз: «Й-эх, да как уж шла-прошла наша гуля-а-а-нка!..».

Проходили эти три хмельные дня — и всё снова начиналось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь.

Кривая баба Овдоха ещё третьего дня уехала за попом в Назимово. Вместо колёсной дороги туда проложена тайгой верховая тропа с крутыми подъёмами и спусками, с большими топкими «калтусами», перегороженная зачастую в три обхвата валежником. Овдоха сама поехала на пегашке, а под попу взяла стоялого Федотова жеребца, — поп грузный, не всякая лошадь увезёт.

Уж закатилось солнце, попу всё нет. Народ в бани повалил. Бани — маленькие, с крохотным глазком избушечки, все, как одна, прокоптелые, словно нарочно вычерненные сажей — стояли над самым обрывом к речке. Две девахи, Настя с Варькой, выскочив окачиваться на улицу, первые увидели подъезжавшего попу и, стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему с веником под мышкой человеку:

— Дяденька Митрий, батя едет, поп...

— Где?

— А вишь, — показала Настя шайкой и, вдруг спохватившись, она суетливо прикрылась. — Что ты на меня-то плялишься!..

— У-ух!.. Па-атретики! — осклабясь, ударил себя по ляжкам Митрий и уронил веник, а девушки с хохотом юркнули в баню.

Поп проехал к толстобрюхому Федоту, главному по деревне богатею. Криво что-то поп в седле сидит.

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные после бани мужики.

---

Много их набралось к Федоту, накурили, наплевали, а батя сидел уж выпивши, ел со сметаной солёные грибы и, рюмка за рюмкой, пил водку.

— А позовите-ка сюда Прова Михайловича, чегой-то с дочкой его стряслось.

— Чего такое, батя?

Но староста Пров уж услышал про Анну от Овдохи.

Праздник завтра, гулянка, а у Прова в глазах черно.

— Езжай скорее, Пров, за дочкой... — охает жена. — Батюшка ты мой, Царь небесный...

Пров долго сопел носом, потом, выйдя расхлябанной чужой походкой в сенцы, захлопнул за собой дверь и громко там засморкался. А поздним вечером, надев овчинный пиджак, ехал по тайге на бурой кривой своей лошадёнке.

У всех печи топятся, бабы снуют взад да вперёд, взад да вперёд, тесто заводят, кур колют. Где-то барашек заблеял-заплакал: прощай, жизнь!.. Поросёнок сумасшедшим голосом ревёт. Ревел-ревел, сразу замолк, словно обрадовался, что кончилось страшное. Два петуха безголовых пролетели поперёк дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними с окровавленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и задыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеивались:

— А, не любишь? Это тебе, петька, не кур топтать...

Два кота сидели на воротах, уткнув друг в друга лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, словно ребята в люльке гулькали.

Месяц, огромный, будто намащенный блинице, одним глазом выглядывал из-за тайги: а ну-ка поглядим, как бабы стряпают.

Дымок вился из труб, вкусно пахивало жареным, псы ловили на лету подачку или, болезненно взвизгнув, кубарем летели от пинка.

Девка песню завела, бежит с ведром к речке да поёт.

— Ты сдурела? — стыдит встречный дед.

Хохочет:

— А чего? Думаешь, грех?

— Нет, спасенье...

Старики у часовни сидят, хоть не холодно, а в валенках: удобней. Трубки сосут, согнулись вдвое, врут друг другу штуки, разные случаи рассказывают: «А эвона, в тайге-то, иду я, этта, иду...». — «Чего в тайге, со мной, ребята, у мельницы случилась оказия». Врут да врут. Завтра праздник, можно и поврать. Завтра вино будет, знай гуляй! Дымокуры возле них

---

курятся. Митька, парнишка-сопляк, то гнилушек, то назьму охачку, то травы подбросит: зелёными клубами дым пластает и гонит комаров.

— Попа-то караулят ли?

— Укараулишь его, чёрта!

А батюшка, человек ядрёный, в годках, лицо крупное, с запойным отёком, жёлтое, на приплюснутом носу румянец. Он действительно слова не сдержал: «Обрей мне полбашки, как каторжнику, ежели до праздника упьюсь», — а сам еле сидит за столом, бахвалится:

— Мужичьё!.. — но мужиков в избе не было, одна бабка Агафья, тёща лавочника Федота. — Вы чего понимаете, а?.. Вы как обо мне, чалдоны\*, понимаете? Как ваша мление будет, а?!

— А так, что ты долгогривый, и больше ничего... Забуддыга... — брюзжит рассерженная бабка.

— Н-да-а... Нд-а-а... — теревит поп красную с проседью бороду, икает и примиряюще говорит: — А ты лучше, девка, дай-ка ещё груздочков-то...

Поп щурит глаза, всматривается в согбенную фигуру бабки и, прищёлкнув игриво пальцами, говорит:

— Слушай-ка, молодуха...

Стоит старуха у печи со сковородником, печёт к празднику блины.

— Я, девка, жениться думаю. А?.. Что мне, ведь я холостой.

— Пёс ты, а не поп...

Священник озирается, — нет ли постороннего, — зеваает широкой пастью, крестит левою рукою рот, рывкает и, подмигнув, шипит:

— Слышь-ка, эй, молодуха... Ты куда меня положишь?.. А?..

Хихикает и шепчет:

— Ты приведи-ка мне бабёнку, а?

Федот пришёл. Старуха ожила.

— Гляди, чего говорит! — закричала зятю. — Грива этакая.

— А чего говорю?! — ворчит поп. — Дай-ка водки!

— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчас сказывал караульщик... Грит, чудится...

— Давай вина.

— Нету, батя, всё.

Поп вскочил и, держась за стол, двинулся к Федоту.

— Я тебе покажу — нету! Давай!..

---

\* Чалдон — коренной сибиряк-крестьянин.

---

А у завалинки поселенец старичишка Беспмятный стоит пред мужиками, отказывается идти караулить ворота в назимовской поскотине.

— Вот тебе Христос, вот... Сижу это я, робяты, в шалаше, чую — ко сну клонит, борюсь-борюсь — нет, а время кабыть раннее. Сбороло, братцы, меня: как сидел на дерюге, так и заснул. Вдруг слышу — бубенцы, бубенцы, лошади топочут, ямщик гикает. Вот тебе Христос, вот... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь с приисков катит. Не иначе. «Отворяй, старый чёрт!» — ревут. Я вскочил без ума, подбежал к воротам. Никого. Тут у меня и волос торчком пошёл... Вот тебе Христос, вот... Да так до трёх разов... Я и побёг без оглядки... Сроду теперича не пойду, подохнуть — не пойду.

Мужики посылать начали того, другого, третьего — не идут: праздник завтра. Однако согласился хромой непьющий парень Сёмка.

— Только с опаской, Семёнушка, иди... Благословясь...

Месяц высоко поднялся. На бугорке сидела собачонка пёстренькая, смотрела на тайгу и, откинув назад левое ухо, полаивала: «Гаф!.. Хаф-хаф...». Взлает так и поведёт ухом, дожидаясь.

И в тайге тихонько откликается: «гаф-хаф-хаф...».

Переступит передними ногами да опять. А сама о другом думает: хорошо бы поросячий бок стянуть; принохивается — пахнет отлично, но хозяин ей дома на хвост наступил, а баба поленом запустила. После. Вот уснут.

«Гаф! хаф-хаф...»

Митька-сопляк тихо крадёт к ней с дубинкой. «Гаф! хаф-хаф...»

Да как даст собаке по башке. Собака с перепугу не знала куда и кинуться, забила под амбар, визжит — больно.

Митьку мать разыскивает:

— Ты где, паскуда, мотаешься?.. Иди Олёнку качать!

Да как даст Митьке по башке. Заплакал. Больно.

Ночь спускалась, а огней ещё не тушили. Свет из окон жёлтыми полосками пересекал дорогу. А подвыпившему бездомнику Яшке казалось, что это колодины набросаны: шёл, пошатываясь, нёс в обеих руках за горлышко две бутылки вина и высоко задирали ноги перед каждой полоской света — как бы не запнуться да бутылки не разбить.

Тише да тише в деревне становилось, гасли огоньки. Петухи запели.

У Федота шум во дворе.

---

— Чёрт, а не поп: квашню опрокинул с тестом!.. Тьфу!

Батюшка с закрученными назад руками мычит, ругается:

— Развя-зывает!..

— Врёшь! — хрипит Федот. — Дрыхни-ка на свежем воздухе!..

И запирает попа на замок в амбаре.

Все огни погасли. Только покосившаяся избушка, что на отлёте за деревней, не хочет спать. Единственное оконце, с коровьим пузырьём вместо стекла, бельмасто смотрит на улицу. Тут старуха живёт, по прозвищу Мошна. Вином приторговывает и сказки складно говорит. Одинокая она, земли нет, коровы нет, надо как-нибудь век доживать. Запаслась хмельным порядочно, на праздник хватит. Старуха пересчитала деньги, велика ли выручка, оказалось двадцать два рубля, — спустилась с лучиной в подполье, покопалась в углу, вынула берестяной туесок, спрятала в него деньги, зарыла. Опять выползла оттуда, косматая, жуёт беззубым ртом, гасит огонёк в лохани. Мигнуло в последний раз бельмастое оконце и зашуррилось. Темно в избе, только лампадка теплится перед божницей.

Опустилась Мошна на колени, стукнулась в пол головой и громко, радостно сказала:

— Слава тебе, Микола милосливый, слава тебе.

Собачонка пёстренькая опять на пригорок забралась, опасно полаивает:

«Гаф!.. хав-хав...».

## VI

В селе Назимове в этот предпраздничный кедровский вечер любовница купца Бородулина, гладкая солдатка Дарья, долго прощалась у овинов со своим сердечным другом — уголовным поселенцем Феденькой.

— Не обмани, слышь... Окно приоткрой малость, я и... того, — строго наказывает коренастый черномазый ворище Феденька, потирая ладонью щетинистый свой небритый подбородок.

Дарья, потупясь, молчит и наконец раздумчиво спрашивает:

— Да ладно ли, смотри?

— Эх ты, дурёха!.. — притворно-весело крикнул Феденька и обнял Дашу.

---

— Ну, была не была... — улыбнулась Даша, звонко поцеловала Феденьку и, шурша кумачным платьем, неторопливо пошла вдоль заплота. Оглянулась, махнула белым фартуком и скрылась в калитку на задах бородулинского двора.

Купец Бородулин, как матёрый медведь, расхаживал вперевалку по большой, с цветами и занавесками, комнате.

— Феня! — крикнул он. — Пожрать бы.

— Чичас-чичас, — откликнулась та из кухни.

«Женюся, — вот подохнуть, женюсь», — думает купец, поскрипывая смазными сапогами. Брови напряжённо сдвинуты над переносицей, — мозгами шевелит, — глаза упрямо всматриваются в будущее, а сердце, наполняясь кровью, бьёт в грудь молотом: силы в купеческом теле много.

«Жену, может, в городе зарежут... Где ей перацию вынести!.. А не зарежут в больнице, так... тогда... Чего, всамделе, мне ребёнка надо. Десять лет живу с бабой — ничего. А Анка — девка с пробой, ребят может таскать, да...»

— Фу-у-у ты... — шумно отдувается купец и, взглянув смущённо на икону, садится к столу.

— Здравствуй, — сказала грудным низким голосом вошедшая солдатка Дарья.

— А где Анютка? — строго спросил купец.

— Где... Я почём знаю... где... Внизу, где ей больше-то...

Фенюшка принесла ужин.

Дарья выпить любила, но сегодня пила с оглядкой, а Бородулину подливала не скупясь:

— Пей с устатку-то... Сказывают, долг привёз тебе заимочник-то?

Она покосилась на письменный стол, куда Иван Степаныч прятал деньги, и сказала, блестя чёрными, чуть отуманенными вином глазами:

— Мне бы дал десяточку, а я тебе ночью сказку расскажу... Ладно? Ох, и ска-а-зка будет... как мёд! — придвинулась к Бородулину, припала румяной полной щекой к его плечу и снизу вверх дразняще заглядывала в глаза, полуоткрыв красивые свои насмешливые губы. От неё пахло кумачом и свежим сеном.

— Ваня, обними-и-и...

— Ешь баранину-то, остынет... — отодвинулся от Даши.

Феня ещё дополнила графин. Выпили. Феня спать ушла.

Купец прилёг на диван, жалуется — жить чего-то трудно стало, — голову на тёплые Дарьины колени положил. Дарья гладит чёрные лохматые его волосы, целует в белый высокий лоб и осторожно, выпытывая купеческое сердце, говорит:

---

— Вот, как овдовеешь, женись на мне, Иван Степаныч...

— Дура... А солдат-то твой? муж-то?..

Даша тихонько хихикнула:

— С твоей мошной всё можно...

— Я и без тебя знаю, на ком жениться-то... — осердился Бородулин.

Даша, вдруг сдвинув брови, пригрозила:

— Ну, гляди, купец... — а пальцы, перебиравшие его волосы, дрогнули, остановились.

— Принеси-ка лучше пивца холодненького, — заметно ослабевшим языком сказал примиряюще Иван Степаныч.

Пиво скоро сбороло Бородулина. Разувааясь и разбрасывая сплеча по разным углам сапоги и портянки, он пьяно бормотал:

— Йя всё ммогу, Дашка... Вот захочу — шаркну сапогом в раму — и к чёрту... Ха!

Кукушка в часах выскочила, прокуковала и захлопнулась опять маленькой дверкой.

— Скольки?

— Десять, надо быть...

— Спать пора... Ну-ка, Дашка, подсобляй...

Повела его к кровати. Лёг.

— Никто мне не указ, да! Вот выскочу из окошка да как дам бабе по виску! Да... Поп? Попа за бороду... И ничего-о-о. Потому — я во всей волости первый... Верно?

— Ну, и спи со Христом.

— Йя всё ммогу... Поняла? Потому — Бороду-у-улин!.. Знай!.. — и неожиданно трезвым голосом добавил: — А вот Анютку я люблю...

Кошка вскочила на кровать, под одеяло к ним залезла.

— Анютка — золото... Йэх ты, как пройдёт, бывало, по горнице: кажинна жилка в ней свою песенку поёт... Да...

Дарья схватила кошку за задние ноги и швырнула об печь. Кошка замыкала.

Купец зевал и крестил неверной рукой волосатый рот.

Дарья стала легонько всхрапывать, повернувшись лицом к стене и нарочно выставив из-под одеяла свою крутую спину с круглым наливным плечом.

— Дашка, спишь? — тихо спросил купец.

Та похрапывала и стонала.

— Эй, Дарья...

Полумрак был в комнате, а на улице бело. Тикали часы, да где-то далеко брякал колотушкой сторож.

Бородулин поднялся, спустил тихонько с кровати ноги на оленью шкуру, ещё раз поглядел на Дарьино плечо, на чёр-

---

ные раскинутые косы, задёрнул полог и, осторожно ступая, пошёл в заднюю комнату, где была лестница на низ.

Лишь ушёл купец — и холодом обдало Дарью, и жаром охватило, а сердце сжалось. Она вскочила и, крадучись, чтоб не скрипели половицы, побежала к письменному столу. Вдруг в соседней комнате Феня охнула и захрапела. Дарья схватилась в страхе за щёку и замерла, потом, быстро обшарив стол, распахнула окно и бросилась к кровати, держа в руке пачку денег.

Внизу, куда спустился Бородулин, были две большие комнаты, занятые лавкой с товаром, да третья маленькая: в ней жила Анна из Кедровки.

Подошёл купец на цыпочках.

— Аннушка...

Дотронулся до её колена. В рубахе девушка спала, не прикрывшись: жарко.

Та испуганно вздохнула, открыла глаза.

— Аннушка, милая ты моя Аннушка... — припал Бородулин лицом к кровати, а девушка прикрылась юбкой и встревожилась.

— Мне чего-то, Иван Степаныч, шибко неможется.

— Родная ты моя... вот я, пьяная рожа, пришёл... Вот пришёл... да... — шептал Бородулин в волнении. — Аннушка, тяжело... Родимая, тяжело...

Окна завешены, в комнате полумрак. Анна повела речь ровным, жалобным голосом, временами всхлипывая и вздыхая.

— А к батьке-то с матушкой неохота... Об Андрюше гадала, — ворожейка одна есть, — медведь заломал его... быдто. Полегчало мне...

— Никакого покою у меня, Аннушка, на душе нету... С супружницей у нас нелады... А вот ты мне шибко поглянулась... Да... Полюбил я тебя, Аннушка... Ох, и полюбил же.

— Уж и не знаю чего... Она ерданским песочком меня поила да отчитывала. На сердце-то у меня полегче стало... Раз, два, четыре... а дальше-то позабыла... Вот как он мне, разбойник, по виску-то порснул... урядник-то...

— Чёрт, окаянная сила... Я его ещё достану... — тряхнул бородой Иван Степаныч и, грузно шевельнувшись, ласково погладил девушку по голове. — Миленькая ты моя... Вот подумай, Анка, жить будем... Женюсь... Бабу свою выгоню... Тебя вылечу, женюсь... Обзолочу, сахаром обсыплю...

— Уж и не знаю чего... Ишь, разум-то у меня короток стал... Сама не своя другой раз... Чего уж... Вот вернётся уж.

---

— Кто, Аннушка, вернётся? — глянул ей в глаза.

— Как кто? — сказала жёстко, будто топором два раза стукнула по дереву. — Как кто? — приподнялась быстро на кровати, с силой оттолкнув купца. — Где Андреюшка мой?!

— Что ты, Богова, — отступил купец от высокой, грозной Анны.

— Ребёночка убили, Андрюшу выпили!.. — она вскинула вверх руки, опрокинулась на кровать, затряслась вся, изогнулась. — Ой! ой! ой!..

— Господи помилуй... Девонька, что ты? — суетился отрезвевший купец. — Фенька! Дашка! воды!

А наверху на весь дом бабий крик:

— Караул! Караул!

— Подай Андреюшку!..

— Что такое? — купец с толку сбился. — Аннушка, родимая...

— Карау-у-ул!..

— Кого? Кто?! — несётся вверх, а навстречу в рубахе Дарья, за ней Федосья.

— Живо, толстопятые черти... Живо к Анке!

Те трясутся, на спальню указывают, слова вымолвить не могут.

Купец туда. Морда чья-то лохматая, вымазанная сажей, в окне над открытым письменным столом торчит и — лишь вкатился купец — вмиг исчезла.

— Держи!.. — неистово взревел Бородулин, ружьё со стены сорвал — не заряжено, топор поймал и, в чём был, загремел с лестницы.

— Держи, держи!.. — вопил он и, выделявая по улице кривули, бежал в гору, где дремала в роще церковь.

— Держи, держи!..

Старый караульщик на завалинке у своей избы лежал — проснулся, глаза кулаком протирает, кричит:

— Кто таков?! — и хватается за палку..

— Зарублю!.. Держи!..

— Бородулин... — шамкает старик и стучит испуганно в окошко. — Отопри калитку-то... Эй, бабка!..

Говорит ей во дворе:

— С топором бегаешь... Бородулин-то... Ещё застрелит...

— Поди, приснилось? — улыбается старуха...

— Како? В подштанниках... Туда!.. Должно, опять до чёртиков...

Дарья с Фенюшкой на хозяйскую кровать забились, сидят рядом, одна другой красивее, подбородками уперлись в ко-

---

ленки и трясутся. Феня говорит: «Боюсь», — и Даша говорит: «Боюсь», — Фенюшка по-своему, Дарья по-другому: в глазах у ней дьяволята шмыгают.

Феня говорит: «Догонит»... Даша: «Нет, уйдёт!» — и, закинув руки за голову, сладко потягивается: «Эх, кабы мне денег поболее... Ух Ты, Господи!..».

Кукушка опять из окошечка выпрыгнула, кукукнула двенадцать и ушла спать.

Бородулин всё ещё по селу летал: было слышно, как по всем улицам собаки лаяли и выли хором на разные лады.

— А всё-таки жаль Анку, надо бы к фершалу свозить, — вздохнула Феня, — этакую девку, этакую кралю варначище какой-то, царёв преступник, мог присушить...

— Ты дура, Фенька... Да Андрюша-то, картинка-то писаная...

— Страсть красив: отворотясь не насмотришься...

— Да я б за ним, за соколом, на край света: бери!

И Даша смеющимся своим, задорным голосом, нараспев, тоненько выводила:

— Вот так легла бы на крова-а-точку, — и она раскинулась дразняще на перине, — спустила бы с правого плеча рубашечку... разметала бы по изголовью белы рученьки... Бери!..

Феня сидя хихикала и баском тянула:

— Ну, и дурё-о-о-ха...

— Я б его... Андрюша... Ягодка моя! — тиская подушку, играла Даша голосом.

Послышался шорох и лёгкий скрип половиц: будто кто крался. Феня отдёрнула занавеску.

— Ай! — словно птицы от выстрела, враз сорвались и с диким криком: — Взбесилась! Взбесилась! — выскочили на улицу.

А за ними неистовая Анна:

— Убили, схоронили! Где он? Подайте мне его!..

## VII

Вот и наступил в Кедровке праздник.

Утренняя заря как-то особо нарядно пала на тихие, ещё не пробудившиеся небеса. Восток алел и загорался.

Солнца ещё нет, но и слепой, настороживши душу, не ошибётся указать, откуда оно, сверкая, покажет своё лучистое чело.

---

Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услышать, но всяк чувствует.

Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: востропнулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурлыкал. Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил её — ага, утро! — встала, рывкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалочку к ключу умыться. Ярко-золотая полоса восток прорезала, грядущему не терпится — надо заглянуть, надо обрадовать — свет идёт!

— Светает, — шепчет старая Мошна и, шамкая и прожжёвая что-то беззубым ртом, спускается в подполье — целы ли двадцать два рубля.

Золотая полоса на востоке всё шире, шире — кто-то приник к ней пламенным оком и заглядывает на зелёный мир.

Раскачивая вёдрами и крестя на ходу сладкий позевок, идёт к речке молодуха. Холодно. Вздрагивает плечами и прибавляет ходу.

Где-то ворота проскрипели. Другие. Третьи.

Мычит корова. Баран проблеял, десяток откликнулся весёлыми, бодро звучащими поутру голосами.

Столетний дедушка, в белой до колен рубахе, шаркая ногами, вышел из калитки, сделал руку козырьком и, обратясь серебряным лицом своим к востоку, истоиво закрестился, приговаривая:

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Молодуха назад идёт:

— Здравствуй, дедушка...

— Здорово, батюшка... Кто таков?

— Я — Наталья... Не признал?

— А-а-а... Ну-ну... Наталья Матрёновна. Как не признать... Здравствуй, Машенька, здравствуй... Спасёт Господь...

Та улыбается — лицо свежее, умылась на речке студёной водой — и, упруго покачиваясь, уходит.

Солнце встало. Весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнём окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе девушки, и приросших к горе избушек. Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нём белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, всё ещё серело мглой на западе: туда умчались сражённые светом остатки ночных сил.

---

Деревня проснулась. Собачонки по дороге носятся, облаивая стадо. Баба помои из лохани вылила, сороки тут как тут, скачут, вырывая из-под носа у сонных ворон самые вкусные куски. Жучка на трёх лапах — четвертую медведь отгрыз — лает на сорок: сама помои любит. Но те враз заливаются хохотом и, взмахнув крыльями, усаживаются на прясло.

Люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братец.

Попахивает дёгтем, навозом, гарью. Но вот повыше заберётся солнце, тогда из-за реки повеет хвойным, таким бодрящим, острым запахом.

В логах и распадках речки ещё стоят белые туманы. Раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зелёной щётке камыша?

Теплей и теплей становится. День будет жаркий. Солнце всё выше забирает.

К часовне торопится старик Устин, усердный Господу. Росту он маленького, лицом светел, в седенькой бородке, весь обликом в Николу-Угодника, и взгляд голубых глаз такой же строгий, но милостивый. Сапоги его медвежьим салом смазаны — собаки принюхиваются, щетинят спины и отрывисто хамкают, показывая злые зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, ещё не мытая, топорщится нескладно на сутулой спине, подпоясана тунгусским, шитым бисером поясом. В гору подымается Устин, а сапоги грузные, а в ногах силы мало, натрудил, болят, трудно идти в гору. Он еле отрывает сапоги от земли, сам весь вперёд подался, с надсадой тащит за собою ноги, как ненужную ношу, и кряхтит.

— Батю-то будить? — кричит ему Федот, выставив из калитки тугой живот в жилетке с цепью.

— Буди: вот чичас ударю... Уж время. Эн где солнышко-то.

Вскоре прозвучал первый радостный удар небольшого колокола; удар за ударом лились от часовни звуки, катились в тайгу, а навстречу им в деревню торопливо плыли такие же, но далёкие и робкие звоны неведомой часовенки, только что родившейся в тайге.

Петька, трёх годов парнишка, прижимаясь к ногам матери, удивлённо шептал, заложив в рот кулачок:

— Мамынька, это кто звоняет? — и кивал головой на тайгу, где была неведомая, как в сказке, часовенка.

— Дедушка Устин.

— Устин-то э-э-вот. А там — медведь?

Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и медленно подвигаясь вперёд. Мужики тоже выходили на ули-

---

цу и лениво шагали, заложив руки назад, или усаживались где-нибудь на завалинке, чтобы в виду была часовня: пусть Устин дёргает за верёвку, идти что-то не хочется, вот батя выйдет, да пока ещё обрядится, да женщины иконы поднимут, с крестами из часовни мимо на пашню пойдут — тогда можно и пристать. Вина-то хватит ли? К Мошне сбежать можно, денег нет — ничего, поверит, вот белки Бог пошлёт... Бом-бом... Медведь... Вот бы штук пяток промыслить, две красных шкура. Нет, лучше на прииски идти, там какую копейку заработать можно... В город бы, чего там есть — поглядеть бы... Тут в тайге умрёшь, ничего не увидишь... Как бы к девкам не полез... Он у нас проворный, подберёт полы да вприсядку... Ха-ха... Поп. Бузуям — бродяжне — надо окорот сделать, лабазы, паршивцы, грабят... Пакостники... Бам-бам... Господи помилуй, праздник... Баба на сносях, холера... Вот Палагу надо в сеновал затащить, девка добрая, леший её задави... Бам... Бам... Господи спаси... Праздник... Тьфу ты пропасть, грех! Никола милостивый...

И лезут грешные мысли, лезут. Принимаются мужики, пахнет хорошо: убоинкой пахнет — щи преют, оладьями пахнет. Вином по деревне понесло: рано бы, ещё вино в подполье стоит, не откупорено, но у мужика в носу свербит, он заранее охмелел, весёлые бесенята в глазах скачут, в ушах комариками кто-то попискивает. Глядят мужики на Устину, а тот всё ещё за верёвку дёргает, колокол поёт, а в тайге откликается зелёная часовенка.

Федот прошёл в суконном пиджаке и в шляпе. Народу на горе много собралось. Мужики встали с завалинки, пошли гурьбой к часовне. Федот что-то говорит в толпе, руками размахивает, волосы коровьим маслом смазаны — блестят, цепь на брюхе блестит.

— Вот это поп, — говорит Федот, — открыл это я, значит, завозню, батя лежит вверх бородой, мычит... Мухи на рыло-то ему насели, быдто пчелиное гнездо... Что, думаю, такое...

— Надо подымать! — кричит Устин.

— Подымал, ругается.

— Иконы подымать, — поправляет Устин. — Без него управимся!

— А батя-то не придёт? — спрашивают бабы.

— Даже невозможно. Он ночью-то, робяты, встал, да бражки сладкой с четверть и ополовинил.

Бабы улыбаются. К часовне молодяжник с ружьями подходит. Бабы прихорашиваются, поджимают поприветливей губы и наполняют праздничным смехом глаза.

---

Устин вдруг из звонаря главным человеком сделался.

— Тимоха, наяривай вовся! — командует он. — Ну, бабы, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, благословясь.

Тимоха, в розовой рубахе парень, весело идёт к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон.

Из часоленки, мерно выступая, выходит с образом Божьей Матери Федот. За ним, по две в ряд, зардевшиеся и сразу похорошевшие, молодые бабы. Каждая пара несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумажными цветами.

Когда вынесли крест и фонарь, вышел, держа в руке курящееся кадило, Устин, усердный Господу. Народ с иконами стоял по обе стороны крыльца, Федот с Казанской на ступеньки забрался, держа на животе образ.

Устин в новой своей рубахе, обливаясь каплями пота, струившегося с морщинистого лба и лысины, низко по три раза кланяясь, покадил сначала Федоту, потом каждой иконе по очереди и махнул свободной рукой в сторону свирепо назвавшегося, всё ещё улыбающегося придурковатого Тимохи.

Но тот, привстав на цыпочки и яростно перебирая колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба начинается.

— Шабаш! — крикнул Устин, сердито покадив в сторону расходившегося звонаря.

Потом одёрнул рубаху, крикнул, переложил кадило в левую руку, поправил усы и бороду и бараньим голоском благоговейно начал:

— Благословен Бог наш, робяты, навсегда и ныне и присно и во веки веков!

Сказав это, Устин усердно закрестился, а народ пропел: «Аминь».

Тимоха волчком подкатился к иконам, — ждять некогда, — бухнул каждой в землю, торопливо приложился, чуть образ у Федота не вышиб, — тот сказал ему: «Легше!» — и, протолкавшись сквозь толпу, опять встал под колокола.

Устин, воодушевившись, вновь замахал кадилом и запел:

— Радуйся, Никола и великий чудотво-о-рец!

Многоголосая толпа подхватила.

— Наддай! — весело крикнул Устин, подав знак Тимохе.

— Айда, благословясь, робяты... Трогай...

Толпа всколыхнулась и запела под залихватый, плясовой Тимохин трезвон.

Но вдруг, заглушая всё, загромыхали выстрелы. Ребятёнки, взвизгивая и хохоча, били в ладоши, кувыркались перед поспешно заряжавшими шомпольные ружья парнями.

---

— Пли! — неистово кричал, задыхаясь от радости, парнишка Митька.

Парни палили залпами и в одиночку.

— А ну, громчей! — надсаживался Митька.

Все, предводимые Устином, двинулись вперёд, медленно переступая и вздымая по дороге пыль.

Всполошённые на верёвках псы одурело выли, пела толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летел весёлый медный хохот.

Устин чинно шёл впереди, окружённый беспоясыми, чумазыми, поддёргивавшими штаны босыми мальчишонками, время от времени взмахивая кадилом, и заливался высоким голосом.

Митька раза три забежал вперёд Устина и, повернувшись к нему лицом, пятился задом и нараспев слезливо просил:

— Дедушка Устин, покади-и-и мне... А, деда, покади-и-и...

Но тот, весь ушедший в небеса, отстранял парнишку рукой и выводил:

— «Ну, взбранный Воевода победительный...»

Митька вновь неотступно вяньгал:

— Покади-и-и...

— Пшёл! — шипит Устин. — Вот я те покадю!.. — И, догоняя бабьи голоса, подхватывает: «Ти-раби, Твои, Богородицы...».

Вся деревня шла за крестным ходом в поле.

Столетний Назар далеко отстал. Он с горы-то шибко побежал, девки шутили: «Куда ты, дедушка, успеешь...». Да и теперь, кажется, переставляет ноги быстро, локтями стучит старательно, а — удивительное дело — отстаёт. И у деда слёзы на глазах, лицо всё в кулачок сморщилось.

— Отстал, спасибо... — шамкает столетний и плачет, утираясь подолом рубахи. Сел на луговину, уставился мутными глазами на высоко поднявшееся солнышко.

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Крестный ход остановился под тремя заповедными лиственницами, у большого, ещё прадедами врытого на самых полосах, креста.

Толпа стояла под лучами солнца. Было жарко, и всем хотелось попить холодненького и поесть.

А Устин всё новое и новое заводит. Бабы устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело.

Красноголовый, весь в веснушках, дядя Обабок, чтобы заглушить куму Маланью, рядом с ним ревеющую диким голосом, оттопыривал трубкою губы, выкатывал большие глаза и, подшибаясь каждый раз рукой, пускал местами такую

---

оглушительную, не в тон, завойку, что ребятыньки испуганно оглядывались на него и изумлённо разевали рты, а мужики смеялись:

— Эк тебя проняло! А ты за Устином трафь... Чередом выводи, а не зря...

Устин без передыха пел, перебирая разные молитвы.

Слова молитв были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в уши и отскакивали, как горох от стены, не трогая сердца. И только сознание, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у некоторых глаза были наполнены слезами.

Иногда Устин долго мямлил, не зная, как произнести возглас, кричал, махал усиленно кадилком, громко приговаривая:

— Вот, ну... Паки... паки...

Но ничего не выходило.

Пользуясь такой заминкой, лавочник Федот повернулся к Устину и произнёс многолетие, после которого красноголовый Обабок, нимало не жалея горла, так сильно хватил врозь, что все сбились и засмеялись, даже строгий Устин улыбнулся. Красноголовый сконфузился, отёр мокрое лицо, протискался в самый зад и молча стал на краю, задумчиво обхватив живот.

Наконец Устину подсказали:

— Станови народ на колени... Давай свою хрестьянскую...

Тогда Устин передёрнул плечами, задрал вверх бороду и громко прокричал, подражая священнику:

— Вот.. ну... Айда на коле-е-ени!..

Толпа, словно дождавшись великой радости, многогрудно вздохнула, опустила на колени и дружно приготовилась слушать свою «хрестьянскую».

Устин, весь преображённый и напитанный воодушевлением, чётким и трогаящим голосом, то повышая, то понижая ноты, начал:

— Господи Ты наш батюшка, воистинный Христос...

Все ещё раз вздохнули, закрестились, забухали головами в землю, с надеждой поглядывая то на безоблачное, ласковое такое небо, то на седенького, в розовой новой рубахе, лысого Устина.

А тот, всё больше и больше воодушевляясь, продолжал:

— Вот, всей деревней просим Тебя, Господи, помози рабам Своим: дождичка нам пошли ко времени, хлебушка хошь какого уроди, пропитай нас всех, верных Твоих хрестьян...

— Пропитай, Господи, — вторила молитвенно толпа.

— Чтобы зверь лесной скотину не пакостил, чтоб белки поболее было в тайге, чтоб лиса в кулёмки попадалась, чтоб

---

всем нам, хрестьянам Твоим верным, в животе и покаянии скончати... Вот... ну... этово...

— Конопля проси... Конопля... — глотая слёзы, шепчут бабы.

— Бабам! — радостно восклицает Устин, потерявший было нить. — Бабам, верным нашим рабам, конопля уроди, Боже наш. Чтоб всем нам в согласии жить, полюбовно, значит, без обиды, чтоб по-божецки... Да...

И Устин, уперев кулаками в землю, тяжело поднялся и, еле разгибая спину, закончил высоким выкриком:

— И во веки веко-о-в!

Многие из молящихся плакали от таких простых, милых сердцу слов молитвы.

Вскоре всё кончилось, и толпа пёстрой волной поплыла обратно в часовню, где неугомонный Тимоха так яростно набрякивал в колокола, словно желал во что бы то ни стало выбить из них голосистую душу.

С пригорка от часовни был виден кусочек сверкавшей на солнце речки и барахтавшееся в ней большое жёлтое бабье тело. Это поп выгонял из себя хмель, плавал, сильно ударяя по воде ногами, и гоготал на всю деревню.

Посмеялись крещёные и стали разбредаться со счастливыми лицами по домам.

Праздник начался хорошо.

## VIII

Бахнул выстрел.

— Гоп-го-о-п... — чуть слышался голос.

— Это чалдон ревёт, — сказал Лехман.

— Не чёрт ли, дедушка? — прошептал Тюля, уперев руками в землю и готовясь вскочить. — У нас, бывало, в Расее...

Светало. Туманом заволокло всю тайгу, и бродяги казались друг другу в неясной утренней полумгле какими-то серыми, словно пеплом покрытыми, огромными птицами.

Где-то тревожно кричит кукушка, над бродягами белка скачет: сухая хвоя полетела и густо падает в бороду Лехмана.

— Надо выстрел дать, — советует он Тюле.

Тот взял ружьё, насыпал на полочку пороху, досуха вытер отсыревший кремьень, свежий трут положил. Курок щёлкнул, но трут не воспламенился, новый вставил — не берёт. Бросил. Распятил рот до ушей, вложил четыре пальца и таким лешевым свистом резанул воздух, что, показалось Антону, дрогнул

---

туман. Кукушка враз замолкла, белка оборвалась с лесины в потухший костёр и, взмахнув хвостом, скрылась.

Бродяги захохотали и вдруг смолкли.

— Братцы... Пойдите!..

— Иди-и-и!.. Сюда-а-а!.. — гаркнули бродяги, враз поднявшись.

Затрещали сучья, зашуршала хвоя, всё ближе, ближе, опять послышался крик почти рядом, и вдруг, как из-под земли вырос, встал из туманной мглы человек.

— Братцы...

Донельзя ободранный, высокий и согнувшийся, он стоял перед бродягами, покачиваясь и зябко подёргивая плечами.

— Братцы... — ещё раз сказал, опустил на землю и положил возле себя ружьё.

Плечи острыми костяками торчали вровень с макушкой головы. Лицо измождённое, весь колючий, всклокоченный, чёрный, глаза дикие.

Ванька испугался глаз, за Лехмана спрятался, а Тюля, засопев, пробормотал:

— А ну, перекрестись...

Лехман зыкнул на него:

— Разводи костёр!

— Дедушка...

— Что, сударик? Это ты где себя? — и сел возле прищельца.

Тот схватил руку Лехмана, упёрся в его плечо лбом и от сильного волнения едва выговорил:

— Чуть не сдох, братцы... Чуть не пропал...

Антон уж на коленях перед ним, гладит его по голове, душевно говорит:

— Ни-и-че-го-о... Ишь ты как... а?

Туман начал подбираться, сгущаясь в рваные, тянувшиеся понизу, плоские облака. Только в логах, где мочежины, он густо и надолго залёг белым молоком.

Сквозь сонные вершины пробрызнули лучи восхода. Раздвинув ласково туман, они упали на корявый ствол распластавшегося над бродягами кедра. И полилось, и заструилось небесное золото, закурились хвои, замерцали алмазы ночных рос. Всеми очами уставилась тайга в небо, закинула высоко голову, солнце приветствует, тайным шелестит зелёным шелестом, вся в улыбчивых слезах.

Благодать золотая на мир опускается, млеет тайга. Пойте, птицы, выползайте из нор, гады ползучие и кусучие, — грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, медведь-батюшка,

---

иди гулять, иди: вон там холодная речка гуторит, вон там в дупле пчела пахучий мёд кладёт. Пойте, птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяин лесной, а ты не кручинься, сгинь, сгинь! — иди в болото спать, ты не печалуйся: над тайгой солнышко подолгу не загашивается.

Пред сосной, в тени, бьёт Антон земные поклоны, умиленно взглядывая на медный, прислонённый к стволу, образок. Лехман с Тюлей всё ещё у ключика полощутся, Ванька чай кипятит.

Все зашевелились, к котелку примасиваются, расцвели все на солнце, зарозовели. Ожил и пришелец. Он улыбался, чашку за чашкой пил с сухарями чай: он неделю ничего не ел, вот белку третьего дня убил, пробовал — невкусно, душа не принимает, порох кончился, спички кончились, без огня — смерть.

Бродяги его не спрашивают, неловко. Сам стал рассказывать, как ещё раннею весной из дома вышел. Он в тайге сколько раз хаживал, тайга ему знакома: то по солнцу идёт, то по приметам. На пятнадцатые сутки, когда уж хотел домой идти, стал через речку по буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обожгла, ножом резанула, а ночью холод ударил, иней пал. Простыл, свалился, сколько дней без памяти лежал — не знает. А пришёл в чувство — во всём теле слабость, и соображение изменило, и нюх пропал сразу как-то, вдруг. С этого и началось. Бродил-бродил — не может как следует утрафить, всё возле речки кружится. Нашёл переход через речку, ту самую лесину отыскал, — переполз кое-как на карачках, шёл, шёл, шёл — тайга. Все места одно с другим схожи до крайности: лиственнь, ель, сосна, кедр, а вверху — небо с овчинку. Солнце в это время не показывалось: целую неделю морока стояли, весенние дожди выпадать начали. Что тут делать? Он в одну сторону, он в другую — нет, чует, что закружился окончательно. Глядит: опять к той — проклятой — лесине вышел.

— Тьфу! Сел под елью, с досады слёзы покатались. Три заряда у меня осталось. Эх, думаю, трахну в рот. Представил себе это: вот я, молодой, сильный, кругом сосны шумят, птицы, цветы... и вдруг... Нет, думаю... ещё рано...

Антон, вскинув брови, набожно перекрестился и жалеющим взглядом уставился на пришельца.

Всё выше и выше вздымалось солнце. Туман исчез, и тайга ярко-зелёным живым морем вновь охватила сидевших у костра людей.

Каша упрела хорошо, обед был сытный.

---

— Ну что ж, товарищи, как? — спросил Лехман, засовывая за голенище бродней тщательно облизанную ложку. — Дальше пойдём али как?

— Я не могу, я очень утомился...

— Ну, так чо! — весело воскликнул Лехман. — Тогда, робята, давай отдыхать сёдни... Куда спешить!

Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. Пришелец лежал, закинув за голову руки, глядел в небо. Дед корзину из молодых веток плёл, Антон сидел возле него и чинил шапку.

Тюля так налупился каши из украденной крупы, что брюхо барабаном вздулось. Он, самодовольный, подполз к пришельцу и ядрёно заулыбался:

— А ты, мил человек, женат?

— Женат.

— А ты из каковских?

Тот покосился на него, сказал:

— Я политический.

Тюля в ответ боднул головой, вскинул брови, крепко зажмурил глаза-щелочки, пошлёпал, втягивая воздух, толстыми губами и принялся чихать:

— А я... ч-чих... а я... расейский... Ачих-чих! Тьфу!

— Эк тебя проняло!.. — крикнул дед.

— Ччих! Комар... комар в носдре... Дык спалитический?

— Да.

— Ну, стало быть, земляк... — еле переводя дух, заключил Тюля и вновь, под общий смех, на все лады принялся чихать: он ползал враскорячку по земле, неистово тряс головой, тарачил на смеющегося Лехмана глаза и, весь багровый, грозил ему весёлым кулаком.

Потом вдруг вскочил.

— Ах, обить твою медь! — и опрометью бросился в кусты.

Лехман, повалившись на бок, закатился громким хохотом:

— Вот так это Тюля, вот так расейский человек!

— А где мы примерно находимся? В каком месте? — осведомился пришелец.

— Да, однако, днях в трёх-четырёх от Кедровки, — ответил Лехман.

— Что?! — быстро приподнялся тот и упёрся о землю локтем. — От какой Кедровки?

— От какой... Кедровка одна в этих местностях... От Назимовской...

Пришелец встал, встряхнул волосами и во все глаза уставился на Лехмана.

---

— Ух ты дьявол! — вдруг взвился вдали резкий, отчаянный Ванькин крик. — Оле-ле-о-о!.. Ух ты! Дедка, дед, ташиши ружьё!.. Медведь, вот те Христос, медведь! Ух ты дьявол! Оле-ле-о-о!..

Лехман засуетился, с ружьём, согнувшись, к Ваньке кинулся, а навстречу Тюля из кустов чешет.

— — Назад, дедка!.. Ведмедь там, ведмедь!..

Когда всё успокоилось, Тюля развёл от комаров курево и принялся врать Антону:

— Я, это, как отбился от своих, от расейских самоходов, на Амур-реку ударился. И вели мы там, Антон, просек, чугулку ладили... Дык этих самых ведмедев-то, однако, штук шесть-десять враз на деревню выгнали... Ну, мужики тут их, голубчиков, и умыли. Мужики передом на них прут, а мы, значит, сзади напирам... Как начали качать, да как начали... Аж пух летит... Кто топором, кто из стрелябин... Знашь, така машина анжинерска... как порснешь-порснешь...

Андрей-политик лежал на спине, смотрел не мигая в небо и прислушивался к пушистому шелесту хвой.

«Неужели — близко?»

Много за это время Андрей передумал, много перечувствовал.

— Анночка, — шепчет Андрей и видит голубые глаза, такие грустные и укорные, что сердце глухо замирает, а губы от волнения дрожат и прыгают.

И опять думает Андрей и не может оторваться от думы: колышется возле, шепчет, вдаль влечёт, торопит — скорей, не медли...

И уж кружатся мысли радостные, радостно в ладоши бьют, звенят колокольчиками. Всё страшное изжито, впереди радостный труд, впереди Аннины лучистые глаза и её душа особенная, новая, не как у всех, новая Аннина душа.

— Вот ты, говоришь, спалитический... А скажи, сделай милость, что они, эти самые спалитики? — подаёт Лехман голос. — У меня один знакомый такой был, вроде как из ваших... Что же, у вас шайка, что ли, такая?

Андрей не сразу оторвался от дум. На Лехмана смотрит: Лехман корзину плетёт, Ванька с Тюлей за грудки друг друга берут, борются.

— За кого они, к примеру, стоят, в кого веруют?

— За народ стоят, за правду.

Лехман, положив руки на колени, долго и внимательно разглядывал Андрея, потом сказал:

— Так-так-так... Стало быть — верно: не впервой слышу... Дело доброе...

---

Солнце спускалось за тайгу. Наплывали сумерки.

А как замигала в небе бледная звезда, повёл Ванька, лёжа на брюхе, сказку:

— И вот, значит, жила-была царица-змеица, прекрасная королица... И пошёл к ней мужик, по прозвищу Борма, правду искать... Вот ладно... Шёл, значит, он, шёл... И вдруг как выскочит из-за кустов страшный Оплетай, одна рука, одна нога... «А-а, правды захотел?!» — да как вопьётся ему в лен, значит, в шиворот, и начал кровь сосать...

Андрей борется со сном, но глаза сами собой смыкаются, всё куда-то плывёт и затихает...

... — «Ты кто таков?» — «Я страшный Оплетай, одна рука, одна нога»...

Андрей перевернулся лицом к кедру и крепко заснул.

## IX

Иван Степаныч Бородулин торопился из волости в родное село Назимово. Урядника в волости не застал: уехал на дальний прииск три тела подымать.

Бородулин знал, что вор кто-нибудь из назимовцев, а скорей всего, «уголовная шпана».

«Жулик, чёрт. Поди, в Кедровку упорол... Там гулянка добрая... Вот коня сменю — и в путь».

И не от скупости это: триста пятьдесят рублей — раз плюнуть, из-за них Иван Степаныч не стал бы себя тревожить.

Но вот вчера, ночуя в тайге, он увидел сон: явилась Анна во всём красном и сказала: «Деньги найдёшь — быть!». А что такое «быть» — не разъяснила.

И Бородулин всю дорогу думает о ней, никак не может отмахнуться, всё мерещится ему Анна, сильная, ядрёная.

Едет вперёд и тайги не замечает, всё сгнуло куда-то, провалилось. Но вдруг в сознании всплывает зобастая, нелюбимая жена.

— Но, дьявол! — бьёт Бородулин лошадь, кругом вмиг вырастает стеной тайга: вот сосны, вот пень, муравейник прижался к корням тёмной ёлки, попискивают и жалят комары.

Начинает купец думать о делах: надо земли прикупить... Но зачем, куда ему: умрёт — кому оставит? «Эх, сына бы!»

«Деньги найдёшь — быть...» — опять тихонько просачивается в душу; замелькали голубые задумчивые Аннины глаза, а тайга вновь стала куда-то уходить, заволакиваться серым,

---

исчезли лошадь, солнце, комары. И Бородулин, сладко ощущая, как у него замирает сердце, как неотступно стоит перед взором Анна, соглашается радостно, что без Анны ему не жить.

«А жена? Убьёшь?»

— Но, дьявол! — хлещет неповинного коня...

Солнце за полдни перевалило, когда он подъехал к Назимову.

Едет трусцой по улице, а навстречу народ бежит.

— Езжай скоряе!.. Анка... Анка...

Бородулин вмах понёсся к дому.

А вдогонку:

— Анна удавилась... Анка... Анка...

Кубарем слетел с коня, сшиб с ног какую-то старуху:

— Прочь! — и, не помня себя, ввалился в дом.

Толпится возле кровати народ. Растолкал всех и метнул взглядом по бледному испуганному лицу Анны.

— Анютушка! Родимая!

— Шкура! — сквозь стиснутые зубы буркнула Дарья и сердито повернулась у кровати взад-вперёд на каблуках.

— Ты меня прости, Иван Степаныч. Тяжко мне... Скука грызёт... Прости, голубчик...

— Живучая... — вновь прошипела Дарья.

— Вон, жаба! — топнул Бородулин и, размахнувшись, вlepил ей пощёчину. — Вон!!! Вон!.. Все вон!.. Всех перекострячу!..

Толпа бросилась кто куда, Дарья первая. Фенька на глаза попалась, размахнулся — раз!

— Это вы, стервы, с Дашкой!.. Укараулить не могли... Душу вышибу!..

— Иван Степаныч... — молила Анна.

Бородулин, шумно отдуваясь, запер все двери на крючок и, подойдя к Анне, грузно сел на табуретку. Как в лихорадке, стучали зубы, гудело в голове, пресекся голос, и всё было как сон. Он крепко сжал виски, закрыл глаза, стараясь овладеть собой, но вдруг стал задыхаться: глаза испугались, забегали, руки ловили воздух, виски и лоб дали испарину, а табуретка выскользнула из-под дрожащих ног. Он ахнул, схватился за сердце, уткнулся в колени Анны и жутко, со свистом, застонал.

— Иван Степаныч... Бог с тобой... — вся в страхе вскочила Анна.

— Жива... Ну, Аннушка... Ну, родимая... — Встал, шатается, лицо налилось кровью, в глазах удивленье и радость, будто

---

впервые увидал Анну. — Господи, жива... невредима, — твердил он прыгающим шёпотом.

Долго умывался, мочил голову водой и, шумно отдуваясь, жаловался:

— Эка, сердце-то... чуть что — и зашлось... Фу-у ты... Неприятности всё, ерунда...

Ноги всё ещё дрожали и подгибались в коленях.

— Ну, как же ты так? — успокоившись, подошёл он к Анне. — Пошто так-то?.. Пакость одна, душевредство. Ну, не по нраву тебе здесь, к отцу не то поедем, в Кедровку...

— И здесь... и туда... — в раздумье говорила Анна, опустив голову и рассеянно посматривая исподлобья на Бородулина.

— А? Чего?

— А так. Что-нибудь... этакое, чтобы... Вот Андрей знает.. Больше никому, никому! — Она подняла голову и пристукнула кулаком по колену. — Никому!

— Чего — никому?

— А так уж... никому. — Она вздохнула. — Не вв-е-ерю, — растянула Анна и вдруг улыбнулась. — Ну, пойдём...

— Пойдём, Аннушка, — обрадовался Иван Степаныч, и они поднялись наверх.

— Вот, живи здесь, распорядись, — любовно сказал Иван Степаныч, но опять ударила в его сердце злоба.

— Водки! — крикнул Фене. — Приказчика сюда!

Пришёл приказчик.

— Дашку сюда!

— Чичас, — сказал тот и скрылся.

— Ты не бей их, Иван Степаныч. Неужто не жаль тебе?

Бородулин грузно ходил по комнате, поскрипывая сапогами, Анна сидела у стола. Она то улыбалась, словно видела кого-то близкого, то вдруг становилась задумчива, а взгляд делался незрячим, будто глаза смотрели внутрь, о чём-то вспоминая.

— Привези ты ко мне, ради Бога, матушку... Стосковалась...

— Ладно, Аннушка, привезу, — поспешно соглашался Бородулин.

— Поезжай скорее. Как увидишь Андрея — напиши...

— Аннушка... — как вкопанный остановился Бородулин.

— Ох, чегой-то я опять неладно... Голова горит.

Она облокотилась о стол и подперла голову рукой. Сбоку в неё ударяли лучи солнца, и Бородулину казалось, что её побледневшее лицо с льняными волосами будто в венце из золота.

---

Анна лениво перевела взгляд на Бородулина и застыла. Глаза их встретились. Бородулин попятился, изумлённо открыл рот. Ему ясно представилось, что не его видит Анна, а что-то другое, чего нет ни в нём, ни за избою, ни в тайге, во всём мире нет... Вот глаза её ширятся, напряжённо сдвинулись брови, лоб в складках; вся она как-то подалась вперёд и порывисто задышала.

— Аннушка! — шагнул к ней Иван Степаныч. — Анна...

Та вздрогнула, ударившись локтем о стол, и робко улыбнулась.

— Не вспомнить... — протянула нежным, тоскующим голосом. — Не вспомнить...

— Ты чего это, Аннушка? — тихо сказал, стараясь скрыть тревогу, и наклонился к ней.

— Вот сидела бы я, да и плакала бы всё...

— О чём же?..

— А о чём — не вспомнить...

Он взял Анну за плечи, прижал её голову к своей груди и поцеловал в гладкий прямой пробор.

— Мне хорошо у тебя, Иван Степаныч, — зашептала Анна. — Только скука берёт, тоска.

И Бородулин увидел, как из её глаз покатались слёзы. Он вздыхал, мысли бестолково заметались; не знал, что делать.

— Плюнь на это, плюнь!.. — вдруг радостно сказала Анна. — Сначала потеряла, потом нашла... Сожги всё. По-новому будет.. Сожги!

Ивану Степанычу вдруг жутко стало и приятно. Он дрожащей рукой, покрывшейся холодным потом, вытащил платок и начал бережно вытирать слёзы Анны. Ему хотелось сказать что-нибудь ласковое, бодрое, чтоб сразу просветлел у Анны разум. Он гладил ей голову, плечо, спину, и чувствовал, что по всему его телу горячей волной полилась жалостливая, отеческая к ней любовь.

— Сожги, сожги! — повторяет шёпотом Анна, но он не слышит, своим полон, тайным и радостным.

Он теперь знает, он решил, и это будет! Он прилепит к себе Анну, уберёжет её от лихого глаза, от наговора, он её вылечит...

«Ребёнок мой, дитя моё милое... Аннушка...»

— А как же, Иван Степаныч, ребёночек-то мой? — будто перехватив его мысль, спросила Анна. — Ведь ты, поди...

— Ну, что же, Аннушка... Об этом не думай... Я ребёночку рад, вырастим... Что ж такое... Ничего... роди...

Та подумала и сказала:

— Ты — хороший.

---

Голос у неё был тихий. Весёлость и сила давно исчезли в нём.

— Вот что я тебе скажу, голубонька моя: ты ни о чём не думай, на всё плюнь. Андрюшка? Тьфу! Плюнь да ногой разотри. Кабы он любил тебя, жиган такой, нешто сделал бы так, нешто ушёл бы? Паршивец, и больше ничего... Подох? Туда ему и дорога. Будь он, собака, проклят... — раздражённо говорил Бородулин, опять хватаясь за сердце.

Анна слушает, опустив низко голову. Купец рядом на диване.

Мимо окон то и дело народ снуёт: возле дома задерживают шаг и, приоткрывая рты, настораживаются. Но купец говорит тихо, чтобы только Анна слышала:

— А вот я управлюсь с делами, в Иркутск поедем, к святителю Иннокентию. Город увидишь, людей. Во-о-от... Живи и ни об чём, значит, не думай... Да... Угодничек Божий исцелит тебя, как ни то обрадует... знаешь, как поётся в церкви: «радо-сте нечаянная...» Да-а-а...

Увидя кухарку, купец ласково сказал:

— Фенюшка... А ты побереги Анку-то... С рук на руки сдаю. Чуешь? Я тебе на платье шерстяного отрежу.

Сели обедать втроём. После двух тарелок щей Иван Степаныч ленивой походкой вышел на улицу. Ему нездоровилось. Не отложить ли поездку до завтра? Он поглядел на небо, — вот если б дождь, — но небо было голубое и светило солнце.

— Ну, так я за матерью, — решительным голосом сказал он Анне и вскочил на буланого статного коня. — Ну, смотри, Илюха... Понял? погрозил он приказчику большим, обросшим волосами, кулаком...

— С Богом, — сказал Илюха, боязливо покосившись на кулак.

— До свиданья! — крикнул Бородулин и стегнул лошадь.

Приказчик с Феней пересмехнулись, удивлённо посматривая, как Анна машет фартуком и что-то бессвязно говорит.

## Х

Бородулин до самой тайги скакал во весь дух.

После выпитого за обедом вина он стал чувствовать себя бодрей. Всё мерещилась ему новая жизнь с Анной.

Самое лучшее ему от жены откупиться. Он не раз бивал её, по пьяному делу, смертным боем. В прошлую масленицу всё

---

село покатывалось над тем, как он, пьяный, порол ремёнными вожжами охмелевшего попа и законную свою супругу, застав их в весьма весёлом виде у просвирни. Поп без шапки удрал домой, а зобастая Марья Павловна, грузно бегая кругом большого стола, выкрикивала: «Нет тебе до меня дела... Давай мою тыщу, я уйду... Живи со своей Дашкой. Тыщу отдай, варнак!».

Лошадь шла рысью, похрапывала и тревожно поводи-ла ушами. Всё глуше и безмолвней становилась тайга. Небо только над тропой светлело бледной щелью, и нельзя было угадать, где солнце.

В душу Бородулина как-то исподволь, незаметно стала просачиваться грусть. Жена опять вспомнилась, а рядом с ней Анна. Впереди, в мечтах, свобода и новая жизнь без Дашки, без греха, а — странное дело! — нет в сердце радости. Иван Степаныч вяло осмотрелся кругом и зевнул. Его баюкали и зыбкая ступь лошади, и молчаливый сумрак дня. Стало ко сну клонить. Он весь устал: хорошо бы броситься на мшистый пригорок и заснуть. В голове шумело, хотелось потянуться, хотелось крикнуть. Хорошо бы кисленького выпить, холодного. Нешто повернуть коня? Нет, начато — кончено. А чтоб покорить грусть, и сонливость, и молчание тайги, он запоёт весёлую.

Бородулин потрепал по крутой шее лошадь, откашлялся, расправил усы и затынул:

Как-ы во темынай нашей да стороныке  
Возрастилась мать-тайга-а-а...  
Ты таёжная, глухая,  
Сама тёмнына сторона-а-а-аа...

Одинокими и чужими летят звуки во все стороны.

Бородулин смолк и прислушался. Песня замирала, путаясь в макушках леса. Он зычно крикнул и вновь насторожил слух. То ли эхо откликнулось, то ли голос позвал и захихикал. Иван Степаныч остановил лошадь. Тихо. Только в ушах гудит, а тоска всё ещё не бросает сердца.

«Надо бы Илюху взять... Чёрт... Дурак...»

Он стегнул коня и с версту ехал вскачь... Но лишь пошла лошадь шагом, беспокойство опять приступило, вновь что-то померещилось.

— Спотыкайся! — крикнул он лошади и, чтобы не чувствовать одиночества, то посвистывал, то вяло тянул-мурлыкал без слов песню.

---

Он поёт, и тайга поёт, уныло скулит-подвывает. Он оборвёт, и тайга враз смолкнет, притаится, ждёт.

— Ну, теперича... тово... — шепчет Бородулин.

Он знает, что тайга озорная, пакостливая: только поддайся, только запусти в душу страх, — крышка.

«Едет, едет...» — «Ну, еду». — «Ну и поезжай...» В овраге стон послышался. По спине Бородулина ползут мурашки.

— Господи! — передохнул он, — благозвонный колокол надо пожертвовать...

— Господи, — сказал кто-то сзади.

Иван Степаныч, надвинув на глаза шляпу, круто рванул узду и поскакал на голос, весь дрожа. Нет никого. В овраге пусто, по дну ключик бежит, по берегам в белом цвету калина.

— Больно боязлив. Баба худая... Дурак, чёрт... — обругал себя Бородулин.

Кто-то опять застонал, закричал. Бородулин отмахнулся. Раскачиваясь от дрёмы в седле, он клевал носом.

«Неможется... свалюсь...»

Надвигался вечер. Небо посерело, сумрак сгущался в глубине тайги, а из низин тянуло сырым холодом. Утомлённый конь, спотыкаясь, бежал усталой рысью.

— Бойся! — вяло крикнул Бородулин и очнулся. — Надо поворотить...

Ну зачем ему в Кедровку? Он приказчика пошлёт, он стряпку пошлёт.

«Деньги найдёшь — быть». Чайку с малиной... в баню бы, венником похлестаться... «Батюшка, пожалей, родимый, пожалей...»

«Анка... Аннушка...»

«Подлец ты, кровопивец...» — «Прочь, харя прочь!» — «Я тебя знаю, подлеца». — «Кого такое?» — пытается спросить Иван Степаныч. Огненные круги в глазах рассыпаются искрами, голова совсем отяжелела и гудит.

— Уходи, я тебя не звал, — шепчет Иван Степаныч, — я за упокой молюсь, за твою душу каждую службу молюсь...

«Молишься? — шипит бродяга, тот самый, что сдал Бородулину большой самородок золота. — Сожёт в бане да молиться начал?.. Ах ты плут...»

Ивана Степаныча вдруг качнуло, едва в седле усидел. Он передёрнул плечами и часто закрестился, пугливо косясь на потемневшую стену тайги.

— Обещаюсь тебе, Господи, благозвонный колокол купить, — озирается назад, не гонится ли кто. — Уж правильно... правильно жить буду... Спаси-помилуй!

---

А голова всё тяжелеет, озноб вплотную охватил. Тянется к фляге и жадно пьёт коньяк.

«Убил...» — «Кого убил?» — «Себя убил». — «Когда?» — «А помнишь... Завтра-то...»

«Завтра?..» — вздрагивает купец и слышит: пересмеваются тихим смехом обугленные, чёрные, как монахи в рясах, деревья таёжной гари.

Мрачней и угрюмей становится тайга. Конь храпит, трясёт головой, взмахивает хвостом, отбиваясь от комаров.

«Вот вытащи из болота, тогда дам рубль...» — «Ну и наплевать. И не вытащу...» — бредит во сне Бородулин, но чей-то голос всё громче и уверенней:

— Эй, помоги, добрый человек, лошадь завязил!

«Ха-ха-ха... Лошадь? — усмехается купец. — На мне крест... Не больно-то возьмёшь...»

— Помоги, батюшка...

И собачка залаяла.

— Пшёл! — кричит, пробуждаясь, Бородулин и стегает коня.

— Стой, стой!.. Ради Бога, помоги...

А собачка пуце.

Оглянулся: серое от болота катится.

— Кто таков, что нужно? — схватился Бородулин за ружьё и видит: мужик подошёл с собачкой.

— Дядя Пров?!

— Я... По дочку мы с Лысанькой к тебе ехали, — сказал мужик, оглаживая собачонку, — да, вишь, лошадь в болото завязил... Еду я, еду да задумался чегой-то, глядь, а лошадь-то и свернула... Увидала воду... Вот и бьюсь сколь времени... Ради Бога, помоги...

Слез купец с коня. Ноги — как чужие. Сам дрожит. Озноб всю силу съел.

— Чего-то неможется, — сказал он Прову. — Вчерась возле речки ночевал в тайге, — простыл, видно.

Густые сумерки серели на прогалине, а в тайге из трущоб и падей выросла тьма. Болото, куда направились Пров и Бородулин, курилось белым холодным туманом, сквозь который прорывались испуганный храп и ржанье лошади, а в стороне старательно крякал коростель. Набросав вокруг лошади жердей, Бородулин за гриву, Пров за хвост вытащили её и вывели на сухое место.

Пров боялся сам завести разговор о дочери, опасно и испытующе посматривал на купца, стараясь в его глазах выведать нужное.

---

Бородулин, почувствовав это, сказал:

— А девка твоя, слава Богу, ничего...

— Ничего?! — воскликнул ликующим голосом Пров. — Ну-ка присядем на минутку, Иван Степаныч... А как же Овдоха пу-тала...

— Какая Овдоха? — спросил купец, прикладывая к вискам холодный мох.

— Да тут... У нас в деревне... Баба одна кривая... За попом к вам ездила. Вот она и болтала, быдто бы...

— Врёт, — раздумчиво ответил Бородулин и умолк, а сердце Прова сжалось и сильно застучало.

Бородулин хотел всё рассказать отцу Анны, но не знал, как бы лучше подойти, с чего бы начать. Язык совсем потерял себя, непослушным сделался, и остановилась мысль.

Наконец собрался с духом.

— Видишь ли, Пров Михалыч... какие, значит, дела-то... Этово... как это... ну... Словом, я должен упредить тебя... И всё такое...

— Что? — упавшим голосом, затаив дыхание, спросил Пров.

— Одним словом, прямо тебе скажу, — раздался громкий и решительный голос Бородулина, — хошь ругай, хошь нет, а только что я твою Анку, значит, Анну Прововну, полюбил и рассчитываю заместо хозяйки её пределить, а с своей женой развязаться... Да...

— Так-так-так... — скрывая радость, ответил равнодушно Пров, но левая нога его нетерпеливо задрыгала, а рука затеребила бороду.

— За тобой без малого сто рублей долгу... Это с костей до-лой... За кобылку тоже скощу... Вроде подарка пусть, вроде уважения... Да-а-а...

— Это ничего... На этом благодарим...

Иван Степаныч тяжело сопел. Силы опять оставляли его, но он, напрягая волю, брал себя в руки.

Он, волнуясь, сказал:

— Ну, только что, видишь ли, какая вещь... Я тебе прямо без обиняков... Так что Анна твоя...

— Что?

— В тягостях... От Андрюхи, одного паршивца-политика...

— Ну-у-у?! — протянул Пров, повёртывая голову к Бородулину, и глаза его сразу вспыхнули злом и широко открылись.

— Да, брат, да...

— Её воля, — тихо ответил Пров и мучительно вздохнул.

Потом, будто передумав, он быстро поднялся, поправил кушак и зарычал, сжимая кулаки:

---

— Я его надвое разорву!.. У-у-ух ты мне!.. Ну, держись, дьявол!..

И, огромный, пошёл, ругаясь, к лошади прижимистой медвежьей походкой.

— Стой-ка ты, стой! — кричит Бородулин и подымается. — Нет ведь его... Я бы его сам устукал... В тайге пропал... С весны ещё... Ушёл, да и крышка, подох...

Наступило молчание.

— А правда ли... — крикнул было Пров издали и, не докончив, остановился. — А правда ли, Овдоха языком трепала, что Анка не в себе?

— Правда, Пров Михалыч, — ответил Бородулин, — мало-мало есть...

Пров тихо подошёл к купцу и, порывисто дыша, остановился. В скобку стриженные, с густой проседью, волосы его разлохматились, суровое лицо как-то осело сразу, задёргалось. Он закрыл его пригоршнями, шагнул к сосне и приник к ней головой.

— Дядя Пров, — Бородулин двинулся к нему.

— Ведь на всю волость, на всю волость девка-то... Ведь она за троих мужиков работница... О-о-х ты, Боже мой... — задыхаясь, говорил он глухим голосом.

— Слушай-ка... Пров! — обхватив Прова за плечи, старался Бородулин повернуть его к себе лицом, но тот тряс головой и с болью бросал:

— Оставь, оставь... Не трог, пожалуйста...

У Бородулина дрожали ноги и от болезни, и от волнения, стучали зубы, и горячим песком стегало по глазам.

А тот опавшим и прерывистым голосом, сморкаясь, твердил:

— Ну, чего я теперича старухе-то своей скажу, ну, чего? Научи ты меня, ради Господа...

Бородулин молчал. Голова кружилась, и, чтобы не упасть, он схватился за соседнюю рябину.

— И не стыдно тебе, Иван Степаныч: не мог уберечь девку-та... Эх ты-ы... леший.

— Дело поправимое, — буркнул купец.

— Поправи-и-имое?! А кабы твоё дитя так?..

— Она редко сбивается-то...

— Ре-е-дко?! Эх ты, чё-о-рт...

Бородулину невольно стояло. Он сначала сел на землю, потом повалился на бок.

— Пожалуйста, Пров Михалыч... Мне бы водички зачерпнул... Нутро горит.

---

Пров принёс ему воды, принёс его овчинную, привязанную в тороках, шубу, разложил костёр, чай вскипятил.

Что-то говорил купцу, расспрашивая и выпытывая, но тот плохо соображал, невпопад давал ответы и, закутавшись с головой в шубу, готов был заснуть.

—...Застрелю, — ловил он обрывки речей Прова, — только бы натакаться где... И робятам кедровским скажу: встретишь — бей!..

«Бей — не робей, бей — не робей, вей, вей, бей...» — мелькает в сознании засыпающего Бородулина.

—...Так по затёсу и жарь... Вешку поставлю... Ты к нам на праздник? Долги, говоришь, с мужиков собрать?

— К нам собрать... — бормочет Бородулин.

«Не робей, вей, вей... Хи-ха-хо... Хи-ха-хо...»

— А? — выставляет он голову и открывает глаза.

Какая-то жёлтая рожа шипит и плюётся и пышет в самое лицо огнём. Кто-то был, кто-то говорил с ним. Никого нет... Кто же это был? Анна? Нет... Лошадь? Нет... Деньги? А-а-а... Так-так...

— Деньги!.. Украли... У стола...

— У тебя, что ли? Кто? — чей-то голос раздаётся.

— Отец дьякон...

— Ну, что ты...

— Отец поп...

— Отец поп? Ха!.. Ну спи со Христом... Закутайся да спи.

## XI

Мать Анны, Матрёна, ночь плакала, утром с крестным ходом не ходила, а теперь, затаившись, глядит из окна на речку, туда, где выбегает из тайги тропинка, и никак не может отгородить себя от праздничных звуков улицы.

Когда гармошка начинает особенно бесшабашно голосить, нахрапом врываясь в душу, а девки петть весёлую, перед глазами матери вдруг встаёт Анна, бледная и больная, и так же вдруг куда-то исчезает. Тогда мать, надвинув на глаза платок, идёт к кровати, зарывается с головою в подушку и, всхлипывая, причитает:

— Былиночка ты моя... Травонька нетоптанная...

А праздник идёт своим чередом. В избах душно, жарко, хозяйки вытаскивают столы на улицу, в тень, куда-нибудь под навес, либо под забежавший из тайги кудрявый кряжистый кедр.

---

Улица ожила, заговорила, заругалась и запела.

Праздничней всех у Федота: трёх сортов наливка, пиво, пряники, пирог.

Освежившийся в студёной речке батя с удовольствием пьёт стакан за стаканом чай с мочёной брусникой: положит деревянной ложкой на блюдце, раздавит доньшком стакана и нальет чаю. Когда давит, ягоды хрустят и брызжут кровью, а батя смачно побрякивает:

— Вот это я люблю. Кисленькое.

Федот — в одной жилетке, красный, потный, живот до самых колен. Через плечо большое полотенце. После каждого стакана он старательно утирает взмокшее лицо и шею.

Хозяйка, молодая и поджарая, сидела рядом с бабушкой Офимьей. А у стола, облокотившись на край, — маленький солдаткин сын, Васенька Сбитень. На деревне не знали, кто его отец: солдатка, как только мужа взяли на войну, стала со всяким путаться. Солдата убили на войне, когда Васенька родился. И стали его звать «Сбитнем».

Васенька стоял и детскими просящими глазами следил, как пьют большие чай. Но его не замечали, а так хотелось чайку с молочком и оладейку. Он купал сегодня в озере чью-то белую лошадь. Поглядывая, как Федот забелил молоком пятый стакан чаю, Васенька, вспомнив лошадь, сказал:

— Ишь... Чай-то бе-е-е-лый... как конь...

Все засмеялись, а батя сказал:

— Ну, отроча млада, залазь за стол... Как конь, говоришь? Хо-хо... Пра-а-вильно.

Вблизи громыхнула по деревне песня. Успевшие хватить хмельного две соседки — Марья Долгая да Палага — шли в обнимку, весело спускаясь с горы, и визгливо выводили:

Эх, баба пьяна напилась,  
Во солдаты нанялась...  
Не берут её в солдаты,  
У ней волосы косматы...

Девки в ярких платьях и кофточках-распашонках прошли с песнями в край деревни.

Там, на берегу, высокий взлобок с муравчатой травой. Кругом стоят сосны, густые и пахучие, прохладно там, хорошо, и далеко видать во все стороны. Речка — как на ладони: шумит вода, торопясь через гряды камней, жёлтым песком убраны приплёски, на песке опрокинутые долблётки и берестяные крошечные лодочки, сеть общественная на козлах, вдали остров зеленеет, и на нём белыми цветами — гуси.

---

Кругом тайга. Заберись на крышу часовенки, посмотри — во все стороны тайга. Взойди на самую высокую сопку, что кроваво-красным обрывом подступила к речке, — тайга, взвейся птицей в небо — тайга. И кажется, нет ей конца и начала.

Девушки принесли с собой на полянку съестного: сотни три яиц, сдобных калачиков, кедровых орехов лукошко, водки захватили, пельменей, — будут угощать парней.

Три парня Зуевы уж тут. Вот Терёха-гармонист идёт, с ним Мишка Ухорез и Сенька Козырь, самые главные плясуны и прибаesenники.

Карманы у парней оттопырились, горлышки бутылок выглядывают: сладкая для девок наливка.

— Сеня, — кричит грудастая Варька своему «другнику», — иди-ка, ягодка, чо тебе дам-то, — и достанет из-под фартука мятную «заедку». — Эй, Сеня!..

Но Татьяна-змея не пускает Сеньку, крепко обняла, прижалась к парню, как к кедру ель.

— Не отдам... Мой... — И сладко, взасос, закрыв глаза, поцеловала.

А Варька, вспыхнув вся, в отместку к кудрявому Парфёну льнёт:

— На-ка, Сенька, выкуси!..

— Эх ты, чернявая!.. — гогочет, посмеиваясь, Парфён. — Видал, Сенюха, свою кралю-то? Вот она!..

— Ой, затискал... Ой, дух вон, — нарочно громко верезжала Варька.

— Вали-вали! — зло смеясь, раскатывался Сенька. — Сыпь... таковская. Она, тварь, с каждым.

Сенька встал, отпихнул Татьяну, пошептался с Васькой, с Фролкой, мигнул пьянице-мужичонке Парамону, кивнул пальцем снохачу Гавриле, и все пятеро, один за другим, как волки на волчьей свадьбе, потянулись в лесок и там встали кучкой, прячась от народа.

— Кому? Варьке, што ли? — гогочут, топчутся, похотливо ловят Сенькин взгляд.

— Ей, Варьке... — Сухое длинное лицо Сеньки злобно, ноздри раздуваются, чёрные глаза косятся на мелькающие сквозь сучья кумачи баб и девок.

— Куда? В какое место? — гундят крещёные.

— В овины... Вот стемнеет — уманю.

— У-гу...

— Парней поболе надо... Чтоб помнила... сучка...

— У-гу... — гундят крещёные.

---

Терёху девки окружили:

— Терёшенька, заводи плясовую.

У Терёхи большущая «тальянка» на ремне через плечо. Взял, заиграл, пустив трель на всех переборах сразу. Усики у него маленькие, чёрные, как у жучка, глаза тоже жучьи, навывкате, и весь он маленький, чёрный, юркий, словно полевой жучок.

Ах, мамка по миру ходила,  
Мне тальяночку купила!.. —

вдруг закричал он тончайшим, почти женским голосом.

Гармошка подкурныкивала за песней, девки подёргивали плечами и начинали пробовать — веселы ли ноги.

Две прибежавшие с народом собачонки возле толклись, им на лапы и хвосты наступали — ничего, а вот как задудил Терёха на гармони, отбежали прочь, уселись мордами к Терёхе и, посмотрев на него не то озорными, не то презрительными глазами, хамкнули, подняли носы вверх и враз завыли — одна толстым, другая тонким голосом. А Терёха всё сильнее и сильнее растягивал тальянку, плясовую начал. Весёлые звуки залили всю поляну, летели вниз и вверх по речке, забирались в тайгу, плыли в деревню, заставляя подвыпивших мужиков и баб вскакивать из-за самоваров и пускаться в пляс. Девки с парнями принялись плясать. Сенька с Мишкой вошли в круг и начали друг перед другом откалывать.

Сеньке Козырю жарко сделалось: размотав с шеи длиннейший, новый, надетый для форсу, шарф и удало поглядев на выплясывавшего Мишку Ухореза, вдруг как прыгнет в середину круга, как взовьётся вверх, как закрутится на лету волчком — и такого жару задал Мишке, таких замысловатых штук навывкидывал, что Мишку сразу прошибло от неудобольствия потом.

— Ай да Сенюшка, Сеня-соколок, — одобрительно покрикивали девки.

— Молодца, Сенька! — поощряли парни.

— Тебе, брат Мишуха, насупротив его не устоять.

— Куды-ы-ы... — подзадоривали. — Кишка тонка...

Мишка Ухорез усиленно пыхтел, и в глазах его накопилось столько страсти, что все это почуяли и ждали «штуки». Пристукивая каблуками и сбросив картуз, он выплыл на середину, сложил на груди руки и, всё так же дробно переступая, обошёл круг, ни на кого не глядя и чему-то про себя улыбаясь.

Потом неожиданно перекинулся навзничь, упруго встал на руки и, пристукивая в такт согнутыми в воздухе ногами,

---

протанцевал на руках русскую. Когда он, с налившимся кровью лицом, поднялся и, пошатываясь, пошёл вон из круга, все заорали:

— Ура-а-а... Ха-ха!.. Победил... Мишка победил.

— Эх, Анки нету, — вздохнули девушки.

— Была бы Анка, она б ещё потягалась с Мишкой-то, — сказали парни.

Варька очень жалела Анну. Стоит в стороне от хоровода, ждёт: не покажется ли она каким чудом по дороге.

Но вместо Анны — видит: спускается в лог пьяный Обабок.

Обабок был в валенках, он бежал под гору, наклонившись вперёд, и чем ниже наклонялся, тем проворней семенил заплетающимися ногами, наконец с размаху пал, бороздя по дороге носом и вздымая пыль.

Варька засмеялась и крикнула:

— Обабок идёт!

А молодёжь плясала и плясала. Спины у девок были мокрые, у парней рубахи прилипли к телу, хоть выжми.

— Батя с Иваном да Федот идут! — опять крикнула Варька.

Эти трое шли, обнявшись за шеи, батя в середине, те по бокам. Остановятся, помашут руками, поцелуются и дальше.

Обабок подошёл к хороводу, встал, весь серый, в пыли, с соломой в бороде, руки назад держит, смотрит вперёд и ничего не видит, ничего не понимает, суётся носом и не знает, что бы такое сделать, а сделать хочется. Рывкнул — ничего не вышло, сам же испугался, взад пятками побежал.

Тпру-ка, ну-ка,

Что за штука!.. —

пробасил он и опять попятился.

Лицо у него очень серьёзно и озабоченно. Рядом пять парней стояли, шестой женатик. Курили и разговаривали. Обабок сзади подкрался к женатику, подставил ногу, развернулся и треснул его по шее.

— Смаху под рубаху!.. — и оба враз упали.

На Обабка все пятеро навалились и принялись тузить.

— Мир ти, Агафья, — сказал подошедший пастырь, снимая шляпу.

— Здорово, батя! — откликнулись все. — Чего к плясам опоздал? Будешь?

— Нет, ребята, разве мне возможно?

— Ну, чего там... На вечёрках ведь пляшешь?

— Ну так и быть. Винишка подадите, так и быть, тряхну.

---

Обабок, красноголовый и встрёпанный, сдёрнул картузишко, решительно намереваясь подойти под благословенье. Но ноги несли влево, он норовил круто повернуть к священнику всё туловище, а повернул лишь своё серьёзное, в веснушках, лицо и, выделявая ногами крендели, прытко побежал боком-боком к берегу, всё держа под пазухой картузишко и не спуская с бати удивлённо выпученных глаз; добежал до обрыва и кувыркнулся под откос. Все захохотали, а батюшка подошёл к обрыву и, улыбаясь на барахтавшегося в песке пьяного мужика, преподал ему с высоты благословенье:

— Низринулся еси? Ну, вылазь... хо-хо...

## ХII

Этим праздничным вечером бродяги подошли к кедровской поскотине. Невдалеке от неё, в самом лесу, на полянке стоял сруб. Он был доведён до половины и брошен, но и ему бродяги обрадовались: подымался холодный ветер.

Андрей-политик подумывал, не пойти ли ему в Кедровку, но, окинув ещё раз брезгливым взглядом свои лохмотья и пощупав клочковатую отпущенную в тайге бороду, передумал. Завтра на заре он распрощается с бродягами и, минуя Кедровку, пойдёт таёжной тропой в Назимово. А вдруг Анна в Кедровке? Нет, время ещё раннее, Анна должна прожить у Бородулина до сенокосной поры. Андрей очень утомился большим переходом: лишь прикорнул в углу на груди щеп — сразу же крепко заснул.

— До завтра... — шептал он, засыпая.

Костёр ярко горит, варево поспело быстро, бродяги поели с удовольствием.

После ужина Антон забрался в самый дальний угол, положил на сруб согнутую руку, на руку голову и замер. Очень грустно ему стало, так сразу навалилась беспричинная тоска, обвила сердце и гнетёт.

Ванька Свистопляс смешное рассказывает.

Тюля смеётся по-особому: зажмурится сладко, сморщит нос, схватится за бока и, скривив толстогубый рот, безгласо захывает.

— А чёрт ли на них смотреть, — говорит Ванька. — Жил я как-то на речке, на самом малиновом месте, бабы туда по малину ходили, а баб я пуще малины люблю. Баба по малину, я по бабу...

---

— Хх-хх-хх...

— Да. Лодчонка у меня была. У чалдона угнал. И вот, братец мой, какая история вышла. Сплю это я под елью, пообедал да прилёг, и чую — то ли наяву, то ли во снах — женски переключаются. Вот хорошо, думаю. Гляжу: на той стороне малинник шевелится. Ага! Тут! Скок в лодку, гребу тихонько к берегу, думаю: выскочу сразу на берег да как зареву, напугаю всех, а одну бабёнку прихватчу-таки.

— Хх-хх-хх... — хрипел Тюля.

— Да. Вот ладно. — Ванька воодушевился, привстал на колени и, представляя всё в лицах, зашептал, словно боясь вспугнуть воображаемых ягодниц: — Вот ладно. А берег-то круто-о-ой да высоченный, еле вылез. И только, батюшка ты мой, я к мали-и-ннику, ну-ка, думаю, возгаркну, как следовало быть... кэ-эк медведица всплыла на дыбы да ко мне!.. Из меня и дух вон. Как я заблажу дурноматом да вперевёрт по откосу-то бух!!

— Хххх-хх, — покатывался Тюля.

— Да не угадал в лодку-то, ляп в воду, а глыбко, с ручками закрыват, да как начал по сажёнке отхватывать...

— Хх-хх... А медведица за тобой?

— За мн-о-о-ой, — врал Ванька.

— Хх-хх... Настигат?!

— Настига-а-ат! — кричал, размахивая руками, поднявшийся во весь рост Ванька и тоже заливался смехом.

— Ну что ж, слопала? — норовил подвести Тюля.

— Нет! — отрубил Ванька, и глаза его забегали. — Ты что, язва, не веришь?

— Как не верю?! — крикнул Тюля. — Я сам поврать горазд!

— Самоход, так твою так! — вскипел Ванька. — Лапотон! Удивительной губерни...

— Ну, будя... Брось... — мирно сказал Тюля.

Он лизнул мясистым красным языком «цигарку», покрутил её грязными пальцами и почтительно подал Ваньке:

— На, не сердчай!

Ванька убоготворённо улыбнулся.

Тюля достал измызанную колоду краденых карт и, растирая уставшие от хохота скулы, начал сдавать.

— Эй, святы черти! А ну-ка, игранём.

Костёр прогорал. Щепы мало тепла давали, сруб был без крыши, становилось холодно.

Натаскав топлива, Антон ушёл в лес, выбрался к берегу реки и сел на пень.

---

Тихо кругом было. В небе стояли лучистые звёзды, а на речке закруился туман.

Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. Молитва не утешает, радостных слёз нет. Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить, — но всё не так выходит, не по-настоящему, не сердцем молится — устами, а сам о другом думает, говорит слова и не может понять какие: душа другим занята, другое видит, неясное и расплывчатое. Вот оно надвигается, как из-за гор туча, гнетёт.

— Богородица, — шепчет Антон и стучает лбом в землю.

И долго лежит, прислушиваясь, не готова ль к слезам душа.

Политик спит, а те трое играют в карты. Ванька всех удалей орудует. Ему карта валом валит. Дед сердится, Тюля тоже. А Ванька всякий раз, как только дед опасно клал на кон карту, широко замахнувшись и крякнув, бил своей.

Тюля играл вяло, путал масти, валета называл «клап», даму — «кряля».

Ванька острил над ним:

— Эй ты, шестёрки козыри!.. Сдавай.

Ванька целую кучу медяков выиграл. Тюля из своих лохмотьев всё вытаскивал зашитые пятаки, гривенники и двугривенные и смотрел с тоской, как Ванька складывает медяки стопочкой, а серебро за щеку, в рот.

— Портки заложил, рубаху в гору! — крикнул весело Ванька, ставя карту.

— Бита! — с размаху хлестнул дед тузом.

— А у меня фаля! — подпрыгнул Ванька, показав даму пик, и загрёб все деньги.

В это время выросла над срубом чья-то голова в шапке и торчащий ствол ружья.

— Здорово, — сказала голова.

— Здорово, — ответил за всех дед. — Ты что, пастушок, что ли?

— Да...

— Сколько получаешь?

— Сколько получаю, столько и пропиваю...

— Х-хе... удалой ты парень, — пошутил дед. — Залазь к нам: гостем будешь...

Голова дрожащим голосом спросила:

— А вы, дяденьки, откедова?

— А тебе пошто? — осведомился Тюля.

---

— Да так, за всяко просто...

Дед набил ноздри табаком, чихнул и насмешливо сказал:

— А мы с Тихоновой горки, где пень на колоду брешет...

— Та-а-к, — протянула, что-то соображая, голова.

Антон подошёл. Разговор начался за срубом.

— Мы, милый, ничего. Вот переночуем да завтра к вам придём. В бане бы помыться надо. Вша одолела.

— Та-а-ак... — ещё раз протянула голова.

— Мы, миленький, люди тихие, мы...

Голоса удалялись. Наконец замолкли.

Антон проводил хромого Сёмку до поскотины и дорогой всячески старался расположить парня к товарищам.

Приперев покрепче ворота изгороди, Сёмка заковылял домой. Не доходя с версту до деревни, он уже слышал, что праздник в разгаре. Колыхались отзвуки песен, пилила гармошка, кто-то «караул» орал, влаивали собаки.

Под кустом у дороги Сёмка услышал шёпот:

— Милёночек ты мой, родименький ты мой...

Чмок да чмок.

«Это ничего», — думает Сёмка и хромает дальше, вздыхая и поторапливаясь.

А в деревне содом.

Обабок, связанный, давно взаперти сидит. Он Тимохезвонарю глаз подшиб да в чьей-то избе рамы оглоблей высадил: «Вот как у нас. С праздничком!».

В дальнем конце свалка начинается.

— Вас надо, окаянных, глушить! — грозно враз кричат Мишка Ухорез и Сенька Козырь, надвигаясь на Федота.

— Кого?

— Тебе, мироеду, только под ноготь попади, — раздавишь!

— Ну и проваливай!

— Даёшь или не даёшь?!

— Нету, вся...

— Говори — дашь, нет?! — взмахнул колом Козырь.

Федот ахнул, отскочил и со всех ног бросился в проулок.

Придурковатый Тимоха сидел пьяный на завалинке и прикладывал к подбитому глазу старинный сибирский пятак с соболями. Пришло ему желание часы отбить, встал, девять прозвонил, опять сел и затянул песню.

— Врёшь! — говорит кто-то через дорогу. — Разве девять? Скоро петухи запоют!

Тимоха поднялся и ещё добавил два удара.

---

— Два... шестой, — шамкает столетний, лёжа на печи. — Я бы ещё пососал... Эй, да-кось... Винца-то... — бормочет он.

Кот подходит к деду и, задрав хвост трубой, мурлычет и трётся об его щёку.

— Шесть! — кричит столетний; хотел крикнуть «брысь», да не вышло, сбрасывает кота на пол и добавляет:

— С Богом, аминь...

Сенька Козырь с Мишкой задами, через огороды, к лодке крадутся. Огляделись — нет никого. Оттолкнулись от берега, сидят друг против друга, глаза горят, зубы стиснуты.

— Нож-то у тебя острый?

— Острый.

Как два волка, прошмыгнули они в поскотину, идут, пошатываясь, по росистой траве, высматривают пьяными глазами добычу.

— А ну как у других у кого — тоже белые?

— Но вот, толкуй...

Сенька в два прыжка оседлал белую корову и со всего маху всадил ей в горло нож.

— Дай-ка мне... Дай-ка...

— Вали стягом.

И долго они, гогоча от крови, носились возле опушки тайги, перехватывая мирно дремавших белых Федотовых коров.

— Попомнит, клещ окаянный, — вытирая о траву нож, прохрипел Сенька Козырь.

— Давай заодно и бычка пришьём.

— Ну его к ляду... Будет...

### ХІІІ

Под окном кто-то постучал:

— Эй, Пров Михалыч!

Матрёна открыла окно:

— В Назимово уехал...

— Ах ты, батюшки, — сказал растерянно Сёмка хромой, а стоявшие возле него подвыпившие мужики враз заговорили:

— Ну, стало быть, десятского надо отыскивать, Обабка.

— Десятский пьяный...

— Ково? — вдруг не то спросил, не то крикнул появившийся откуда-то Обабок: одна нога в валенке, другая разута, ру-

---

баха без пояса, висит на мускулистом теле рваными лоскутами, правая рука вся в крови, лицо осатанелое.

— Ково? — вновь крикнул Обабок и, посовавшись носом, устойчиво укрепился на земле.

— Вот наряжай-ка мужиков: бузуев брать, за поскотиной сидят... Сёмка, сколько их? — заговорили мужики.

— Брать так брать... Всё едино... Айда! — пробасил Обабок и, заложив руки за спину, направился прочь от мужиков.

— Чего: айда!.. Ты чередом наряжай, чё-орт!.. Оболокись сам-то... замёрзнешь... — шумели ему вслед.

— Айда!! — орал раскатисто Обабок.

— Стой-ка ужо... Кому идти-то?..

— Айда!!

— Ну его к ляду!.. — недовольно загалдели мужики.

А Обабок, выломав в изгороди кол, прытко зашагал вдоль по улице и на всю деревню загремел:

— Мне только бы жану найтить... Стеррва!! Меня запирать?! Меня?! Ха-ха! Убью!! Вот те Христос, убью!..

Мужики отрядили пятерых потрезвее, и те, предводимые Сёмкой, все с заряженными ружьями, двинулись к поскотине.

Стояла глухая, северная ночь.

Вторые петухи горланят, Матрёна всё не спит, дожидается Прова. Ей неможется: лежит на лавке, стонет. Видит Матрёна: открывается сама собой заслонка, кто-то лезет из печки лохматый, толстый, человек не человек, чудо какое-то, и, сверкая ножом, говорит: «Мне бы только сердце у бабы вырезать...».

Матрёна вскрикнуть хочет, но нет сил, мохнатый уж на ней, душит за горло: «Где-ка сердце-то, где-ка?..».

— Бузуев привели!

Матрёна ахнула, вскочила, крестом осенила себя и, отдышавшись, приняла к окну. На лошади мужик едет и на всю деревню кричит:

— Бузуев привели!..

На востоке утренняя заря занималась, песни на горе умолкли, а в кустах на речке просыпались робкие птичьи голоса.

У сборни тем временем стал собираться народ, обхватывая живым, всё нарастающим кольцом пятерых только что приведённых из тайги людей.

Хмельные, бессонные лица праздничных гуляк были сосредоточенны, угрумы.

Старики и молодухи, ядрёные мужики и в плясах отбившая пятки молодёжь, то переминаясь в задних рядах с ноги на ногу, то протискиваясь вперёд, шумели и перешёптывались, бросали бродягам колючие, обидные слова и хихикали,

---

сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, готовы были сказать: «Ах вы несчастненькие!» — и готовы были кинуться на них и втоптать в землю.

И бродяги это чувствуют. Недаром такими принуждённо-кроткими стали их лица.

Лишь старик Лехман не может побороть обуявшую его злобу: насупясь, сидит на бревне и угрюмо на всех посматривает суровыми глазами.

Да ещё Андрей-политик сам не свой. Воспалённые глаза его жадно кого-то в толпе ищут. Он устало дышит полуоткрытым ртом и, облизывая пересохшие губы, невнятно говорит:

— Я вам никто... Слышите?.. Я сам по себе...

Но его слов не понимают.

— Слышите? Где староста? Где сотский?..

— Брось, милый, — советует ему тихим голосом Антон, — ишь они пьяные какие... Брось...

Старый Устин, усердный Господу, ближе всех к бродягам. Он ласково им говорит:

— Вы вот что, робёнки... тово... Ведь мы не с сердцов...

— Как же не с сердцов, — злобно сказал Лехман. — Ты спроси-ка вот нашего товарища, — указал он на Антона. — За что мужик ему в ухо дал? Это не резон.

— А потому, что вы пакостники, — раздражённо сказала баба в красном.

— Пакостники? — повысил голос Лехман. — Чего мы у тебя, тётка, спакостили?.. Ну-ка, скажи!

— Дак вы тово, — сказал, размахивая руками, Устин, — вот залазьте в копчег да и спите с Богом, покамест у хресьян гулянка, а там выпустим. Кешка, отпирай чижовку-то...

И, обернувшись, посоветовал:

— А вы, бабы, тово... Принесли бы чо-нибудь пожрать мужикам-то... Молочка там али что...

— Ну, так чо, — ответила баба в красном и пошла.

— Кешка, отпирай копчег! — опять скомандовал Устин. — Робятушки, залазь со Христом.

— Врёшь, старик... Не имеешь права!.. — выкрикнул Андрей, погрозив Устину пальцем. — Я не бродяга... Понял?

Народ стал разбредаться.

Придурковатый звонарь Тимоха поглядел на алеющий восток, подумал, почесал бока и пошёл к часовенке «ударить время».

Антон продолжал успокаивать Андрея:

— Ничего, Андреюшка... Завтра утречком... Пусть они продряхнутя...

---

Устин с каморщиком Кешкой орудовали у чижовки.  
— Вы, робёнки, идите... Чего вам.  
Кешка огарок из сборни принёс. Тётка в красном молока две кринки и яиц с хлебом притащила.  
— Де-е-ло, — одобрил Устин, заложив руки назад.  
Тимоха из усердия три раза в колокол ударил.  
Устин взглянул на гору, где часовенка, и опять сказал:  
— Де-е-ло...  
Бродяги, посоветовавшись, наконец зашли в чижовку.  
Ванька Свистопляс уже кринку молока ополовинил, Андрей-политик нейдёт:  
— Вы меня отпустите... Я политический...  
— Политический?! Ха-ха... Ладно... Все такие политики бьют... Ты нам дорогой все уши просмонил, шкелет... Ты пошто наутёк было хотел? А?! — враз сердито заговорила стоявшая с ружьями стража.  
— Я, господа, вам серьёзно говорю... Пустите...  
— Тут господов нет, — сказали строго мужики, — а вот коли велят, так и тово...  
— Мне Анну... — взволнованно упрашивал Андрей, — девушку Анну...  
— У нас Аннов хошь отбавляй, — острили мужики.  
Старому Устину спать хотелось, да и всем наскучило.  
— Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!..  
Андрея потащили.  
— Стой!..  
— Кешка, налегай!..  
— Иди, Андрей, чёрт с ними, — октависто звал Лехман.  
— Нет! — рвался из дюжих рук Андрей. — Черти этаки, олухи!.. Аннину мать позовите... отца... старосту...  
— Кешка, запирай!!  
— Отвечать, дубьё, будете!.. — ломился Андрей в захлопнувшуюся за ним дверь.  
— Крепко запер? — спросил Устин.  
— Так что комар носу не подточит, — весело ответил сторож Кешка.  
— Ну, робёнки, расходись! — скомандовал Устин, любивший приказывать толпе, и помахал рукой во все стороны.

---

## XIV

Матрёна лежала на кровати и думала об Анне, о Прове, не «натакался ли» в тайге на зверя. Надо бы заснуть, но сон прошёл, в комнате бело. Встала, занавесила окна, опять легла. Слышит Матрёна: по воде кто-то хлюпает. Коровы, что ль, через брод идут? Не время бы.

Думает о том о сём, но голова устала, нет ясных мыслей, путаются и текут куда-то, как по камням река...

Чует: храп лошадиный раздаётся и человеческий голос. Думает — сон, опять тот сон: лохматое чудище из печи вылезет.

Стучат.

— Эй, Матрёна Ларионовна!

Вскочила, оправила рубаху, густые волосы подобрала, сунулась к окну.

— Ах! — вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кончилась...».

— Отопри-ка скорей, впусти!

Насилу дверь нашла. Без памяти бежит к воротам.

Вошёл, коня за собой ведёт.

— Занемог я дорогой... Теперь полегчало малость...

— Иван Степаныч!.. А Пров, Анка?

Бородулин провёл коня в стойку.

— Сенца-то можно взять?

— Да дочь-то какова?! — кричит, задыхаясь, Матрёна.

— У меня деньги украли, вот я и прикатил... — не слушая её, говорит вяло Бородулин.

— А?!

— Деньги, мол, деньги украли...

У Матрёны ноги подкосились, села на приступки.

«Вот он, лохматый-то... Вот когда сердце-то вырезать начнёт».

Петух схлопал крыльями, запел. Тыща петухов запело. Из глаз свет выкатился.

— Ну, пойдём-ка в избу. Ты чего это? — наклоняется к ней Бородулин. — Анка тебе кланяется низко... Прова Михалыча встретил... Всё слава Богу, ничего...

В глазах Матрёны сразу вырос день. Петух снова пропел, тыща — промолчала.

— Кто украл-то, деньги-то? — с усилием, едва принудила язык.

— Не знаю.

— Ох, и напугал же ты меня...

---

Идёт впереди, высокая и статная, скрипят приступки под сильными ногами.

«Вся в мать», — думает Бородулин про Анну и подымается по сенцам.

— Дочка-то какова?

— Всё слава тебе Господи.

И купец, волнуясь и краснея, долго говорил об Анне, о себе, о новой жизни, сулил всего, мудрил и перемудривал, клялся, просил прощенья.

«Не сон ли?» — думает Матрёна.

— А ты, Бог с тобой, не выпивши?

В глазах её застыл радостный испуг и настороженность, дыхание стало коротким и прерывистым, а кожа на руках и шее вдруг покрылась, как от холода, пупырышками.

— Эх, Матрёна Ларионовна... Кабы мог я, — вот схватил бы булатный нож, вырезал бы своё ретивое и показал бы: смотри!.. Жить не могу без Анки... Чуешь?

Купец ходил, пошатываясь и сбиваясь в разговоре, лицо то заливалось краской, то бледнело.

— Матрёнушка, я прилягу... Продрог в тайге, свалился без памяти и не помню, когда Пров уехал. Вскочил от холода, заколел весь, смотрю: вешки на дороге и веточка привязана, вдоль пути смотрит. Сел, поехал, куда веточка указала... Да... Неможется... Прилягу на кровать... Мне поспать бы...

— А ты иди в амбар, я тебе две шубы вытащу. А то... — и она замялась... — Вишь, одна я... Кабы Пров был... У нас живо разговоры поведут... Иди, батюшка.

И когда ложился Бородулин, и когда лежал под шубой, всё расспрашивал: нет ли кого из Назимова здесь? Нету, а вот бродяг поймали каких-то, кто их знает. Сон ей рассказал: «Найдёшь деньги — быть», а что «быть» неизвестно, — не указание ли это на Анку от ангела-хранителя, спросить некого, вот разве священника? Хе, он и молебен не служил, Устин орудовал, а поп с девками в горелки на лугу играл, чуть с парнями не подрался из-за Таньки, архерею жаловаться надо, что ж это за пастырь. Тьфу!

— Ну, спи, Иван Степаныч... Дак ничего девка-то, говоришь, Анка-то? Экая жаба Овдоха-то. Как наврала, холера...

— Стерва твоя Овдоха-то, и больше никаких. Паскуда.

Матрёна захлопнула амбар, вошла в избу, села под окном и пригорюнилась. Хоть красно купец размусоливал, а сердце ноет, да и на!

---

## XV

С того часу, как случился грех, Даша не рада жизни: точно кто приволок её к пропасти и толкает, и нет сил сопротивляться. Вином, что ли, утолить боль?

Вечером на кривых ногах вошёл в кухню полубовник Феденька. Приказчик Илюха рад, — Бородулин долго в Кедровке прогуляет, — слямзил три бутылки хозяйского коньяку, на всех хватит.

Вчетвером в кухне бражничать стали, но Федосья — баба умная, вскоре ушла к Анне: хозяин велел глаз держать.

Илюхе вино сразу же бросилось в голову: он то хохотал, то слюняво плакал, лез целоваться к Феденьке и костил сплеча Бородулина, попа, пристава, наконец, охмелев окончательно, кубарем слетел под стол.

Черномазый Феденька чавкает железными челюстями говядину, глаза кошачьи прищурил и косится сладострастно на розовые Дашины губы.

Когда Илюха захрапел и забредил, Феденька поднялся, высунув свою стриженую скуластую голову в соседнюю половину, как вор, пошарил там глазами, прислушался и плотно затворил дверь.

— Ну? — подошёл он к Даше. Голос ласковый, лицо ласковое, только недоброе в глазах. — Ну?

Даша вся сжалась, точно перед ней разъярённый медведь на дыбы поднялся.

— Ничего я не знаю... Головушка моя... — прошептали её губы, и она не смела взглянуть на поселенца.

— Да не кобенясь, Дашенька, — сверкнув на дверь белками, прошипел он, словно к сердцу змея прильнула: гадко так сделалось, страшно.

— Ежели велишь, что ж... куда денешься... — тихо сказала Дарья и, как на горячие уголья, выплеснула в рот вино, что-то за клубилось внутри, Даша охнула и хотела встать.

— Куда? — И, всё так же давя Дашу взглядом каторжника, Феденька грузно придавил её плечо рукой.

— Ну, ладно, — как во сне сказала Даша, осторожно освобождаясь от его грязной, с жёлтыми ногтями, руки. — Ну, положим, овдовеет он, Бородулин-то... Ну, подкачусь к нему, как ящерка... хозяйкой буду, женой...

— Дура, Дашенька, — буркнул поселенец и опасно заглянул под стол на храпевшего Илюху. — Хе, овдовеет... жди... Вы с купцом отравить её должны, зобастую-то... только вдвоём с Бородулиным... вдво-о-ём, Дашенька. Поняла? Чтоб

---

удавкой его ущемить. Поняла? Тогда командуй, вей из него верёвки.

Глаза его блеснули.

— А ежели... держись, Дашенька... финтить будешь — выдам с головой. Разлюбишь — убью!

Говорил он страшные слова с улыбкой, ласково, словно занятную рассказывал сказку.

У Дарьи шире ноздри раздуваются.

— А Анка?

— Анка полоумная, с ней венца не дадут, — шепчет Феденька.

— А солдат?

— Солдата твоего к чёрту. Я их с Бородулиным сразу... из-за куста, в тайге... — стальным, вдруг изменившимся голосом сказал Феденька и впился взглядом в испугавшиеся Дашины глаза. — На охоту уманю и кончу.

Даша, словно в страшном сне, вскрикнула и отшатнулась.

— Ты что? Дьявол ты... мучитель.

— Дашка!! — топнул Феденька.

Та вздрогнула и долгим насмешливым взглядом посмотрела на Феденьку. Потом вдруг с какой-то болью захохотала.

— Эхма! — оборвала она и потянулась к вину.

Зубы стучали о стакан, вино лилось по руке, по голубой, с красными пуговками, кофте, и уж хныкать начала, вот-вот заплачет, а хохот всё ещё волной в груди.

— А хочешь, Феденька... — погрозила игриво пальцем. — Хочешь, злодей, к уряднику? А? — И, жарко задышав, опьяневшая Даша придвинулась грудью к поселенцу.

Феденька улыбнулся и достал из-за голенища отточенный самодельный кинжал.

— Куда?! — сдвинув брови, железной рукой рванул он отпрянувшую Дашу.

Вся побелев, скрестила на груди руки.

— Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? — Она, гордо подняв голову, стояла, а поселенец чуть отклонился от неё, чтоб ловчее было взмахнуть кинжалом.

«А ведь убьёт», — мелькнуло в голове у Даши. Но ненависть к любовнику и хмельной угар прогнали страх.

Улыбающиеся глаза Феденьки налились кровью, он вдруг взмахнул кинжалом. Даша ахнула, схватилась за стол. Поселенец сильным броском пустил кинжал через всю кухню в дверь. Цокнув, на вершок врезался кинжал в дерево.

— Вот как я его... в тайге... — спокойным голосом сказал поселенец и шагнул к двери. — А по тебе изнываю... Жару в

---

тебе, чёрт, много, перцу... Шалишь, Дашенька, не вырвешься... — Он подсел к ней и, как бы играя, тряс её за плечи. — А ежели тут у тебя много... — постучал он пальцем по её высокому лбу, — бо-огато заживём.

— Погубитель ты... Ну, уж бери, пользуйся...

Она прижалась к нему и закрыла хмельные глаза Феденька загоготал. Она вся дрожала; на белом лбу выступил пот.

Заскрипели ворота, копыта застучали по настилу.

— Кого-то чёрт несет, — буркнул поселенец. — Пойдём на речку.

На крыльце слышались грузные шаги. Кто-то шарил скобку.

— Здорово те живете, — густо сказал, входя, большой, чуть согнувшийся Пров и стал креститься на передний угол.

Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на пороге.

— Пришёл?

— Здорово, Анна!

— Батюшка, батюшка! — кинулась к нему на шею. — Что, пришёл Андрюша-то? А мамынька-то где?

Пров взглянул на дочь и сразу всё понял. Он боднул головой, в глазах запрыгал огонёк лампы, всё кругом помутнело, и заколыхался пол.

— Вот поедем: матушка горькие слёзы по тебе проливает. Что ж ты, доченька... хвораешь?

— Нет, хорошо. Слава Богу, хорошо... — а сама стиснула виски и зажмурилась, как от яркого света.

Пров стоял, положив руки на плечи Анны, и уж не мог разглядеть её лицо.

— Испить ба... — Он мешком опустил на лавку и жадно, не отрываясь, выпил ковш воды.

Дарья и поселенец ушли. Феня увела Прова с Анной на чистую половину, накормила их, и все стали укладываться спать.

Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь:

— Тятенька... Ну, как же, тятенька?.. Плохо...

— Чего плохо-то?

— А по книжке хорошо. Всё хорошо будет...

— Ну, а как Иван-то Степаныч, как он с тобой в обхождении-то?

— А не знаю, сбилась. Не понять.

— Ну, а сколько ты зажила-то? Расчёт-то покончил он с тобой али как? После?

---

— Тятенька, после. Вот выплюсь — завтра другая...

Тихо стало. Только из кухни долетал пьяный Илюхин храп.

Прову не спалось. Он поглядел на образ. Огонёк лампадки колыхался и озарял лик Христа. Пров вздохнул. Его душа требовала молитвы. Нужно сейчас встать и всё открыть Господу, совет благой принять, вымолить покой сердцу. Он подошёл к образу, опустил на колени. Огонёк поклонился ему и затрепыхал. Лицо Прова скривилось, сморщилось. И когда он сделал земной поклон, уже не мог выдержать, всхлипывать стал и тихо, чтобы не подслушали, по-женски голосить.

— Рабу твою Анн... звоссияй... Боже наш.

И не знает Пров, какими словами можно разжалобить Бога, от этого ещё больше ноет его душа, и печалится, и тоскует.

— Звоссияй... совсем... гля ради старости... гля утешенья.

После вторых петухов пожаловала Даша. Она легла рядом с Фенюшкой и крепко её обняла.

— Стерва ты, Дашка, — сказала Фенюшка, — попадетесь вы с хахалем-то.

— Мо-лчи-и, — тянула, засыпая, Даша, — ехать хочу... в Кедровку. Как его, хозяин-то... одного... без досмотру...

— Кати! Всё одно шею-то свернёшь. Таковская.

— Эх, Феня, Феня, — тяжело вздохнула Дарья. — Ничего ты не знаешь. Ничего ты, Феня, не понимаешь.

— Брось, брось ты его, мазурика, посельгу несчастную.

— Погоди, Феня... Скажу слово... Всё тебе скажу...

— Сучка ты, я вижу.

— Ну, не обида ли?! — Даша, чтобы не закричать на весь дом, вцепилась зубами в подушку, застонала.

## XVI

Солнце стояло высоко. Матрёна пошла к завозне — храпит купец. На речку сбегала — не едет ли хозяин? Нет. Пошла вдоль улицы.

У сборни мужики. Лица мятые, глаза красные, заплавленные. Обабок в кумачной рубахе, в новых продегтяренных чирках, с фонарём под глазом, но при бляхе.

— Надо обыскать... — говорит он, поправляя начищенную кирпичом бляху.

— А по-моему, выпустить, да и всё... Народ, кажись, смиренный, — несмело заводит пьяница Яшка с козлиной бородой.

---

— Сми-и-рный?! — насакаивают на него. — А помнишь?!

У Яшки в груди хрипит, он кашляет, словно собака костью подавилась, и, уперев руки в колени отекавших ног, жалеет:

— Мне што ж, мне всё равно... Хошь век держи их... Хошь на цепь посади, а только что... Полегче надо бы...

Мимо них по улице священник верхом на Федотовом коне едет. За ним кривая Овдоха на кобылёнке тащится.

— Здорово, батя! К домам?..

— Восвояси, отцы, восвояси... — хрипит батя, щуря на них узкие свои глаза.

— А молебен-то?

— Да чего, отцы... Простыл в речке... Еле жив... Не знаю, как и доплетусь.

— Грива! — злорадно взвизгивает бабьим голосом угреватый парень и, быстро присев, прячется за мужиков.

Батя, понукнув коня, надбавляет ходу.

— Вот это поп... — хохочут мужики, — этот поповать может подходяшше-е-е... Ха!

Подошла Матрёна.

— Ну, как?! — спрашивают мужики, поздоровавшись. — Хозяин-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то наша?

— Да, вишь, нет ещё Прова-то... Гость у меня, Бородулин.

— Бороду-улин? Ребята, айда с проздравкой! — радостно вскрикнул чёрный, в плисовых штанах, дядя, по прозвищу Цыган.

— Ну, дак чо, мо-о-жно, — откликнулись, а подыматься лень — сидят.

— Куда... Он спит, разнемогся: лихоманка, чо ли... — сказала Матрёна и пошла.

— А-ах! — крикнул Цыган и, состроив плутоватую рожу, поскрёб под картузом висок.

— Надо бы выпить-то, — сказал он, сплёвывая.

— Ну дак чо? И выпей. Купи у Федота.

— Ха-ха! — хохочет над собою чёрный, вывернув карманы плисовых штанов. — Купи! Купило-то притупило. Вишь?

И у всех так, год плохой был, денег нет, а выпить хочется. В долг придётся взять, без этого не обойтись: можно телёнка заколоть, да — Федоту, свинью заколоть, да — Федоту, самовар стащить, машину швейную стащить — берёт. Только баба ругаться станет, — пусть, бабу по уху. Дочка? Дочку за косу. Двустволку можно в заклад пустить. А к Бородулину с проздравкой надо обязательно, подаст хоть по стакану.

Обабок вдруг басом рывкает:

— Робяты!..

---

— Чтоб те разорвало! — вздрагивают мечтающие мужики, смешливо отодвигаясь от Обабка.

— А може, как ежели пошарить, да у них окажется рублѐв пяток, а? Как вы понимаете?..

— А и вправду, — согласились мужики.

— Айда! — скомандовал Обабок, и все, не торопясь, пошли к чижовке.

Каморщик Кешка замочком щёлк:

— Робяты, вылазь, начальство требует, десятский с сотским.

— В чём дело? — октависто рассыпался Лехман и появился в двери.

— А так что желаем обыск произвести, — подошёл к нему Обабок, — револьвертов нет ли али бы чего... и всё такое...

— Я те произведу! — сказал грозно Лехман.

Мужики опешили.

А тот, высовываясь из двери и держась рукой за косяк, говорил:

— Отпустите нас в тайгу. Мы шли стороной, вас не трогали, никакого худа вам не сделали. За что нас взяли?

— А очень просто!.. — кричал, не зная, что сказать, Обабок.

Лехман вышел, огромный и сутулый, перекрестился на часовню и направился к тайге.

— Стой, куда?! — враз вскричали мужики.

— За нуждой, — ответил тот, не оборачиваясь.

— Кешка, Сенька, бери топор, айда за ним! — командовал Обабок.

— У меня нож что бритва, — на бегу отвечает Сенька Козырь, за ним Мишка с колом, нагоняют деда.

К сборне, как и вчера, опять народ стал подходить.

Солнце к полудню не подобралось ещё, а некоторые уже успели клюнуть, другие хмельны вчерашним. На душе то-скливо, нехватка в празднике, надо драку всей деревней за-вести.

Больше всех хотелось этого Обабку: забурлило в душе, как в бочонке брага, вот идёт, идёт — подступает к сердцу, на-шѣптывает в уши, мутит башку.

— Эй, вы, шпана! — рычит он. — Выходи на обыск... Ты! Козья смерть!

Антон знает, что ему кричат, и ужасается: не было догадки перепрятать деньги.

— Ванюшка, голубчик... — шепчет посиневшими губа-ми, — иди-ка ты передом-то... Ох ты, Господи...

---

А Обабок уж в чижовке, за ним народ, заслонили дверь, стало там темно, внутрь вошли, чижовка большая.

— Робята, шарь, — распоряжается Обабок.

Принялись обыскивать Свистопляса: шапку вывернули, штаны прощупали, из рваных чирков всю солому вытрясли, выпал «клап виной», мешок перерыли, нашли рубль двадцать, отобрали.

Ванька ухмыляется, — слава Богу, сошло благополучно, — и сыплет мужикам прибасёнки. Те посмеиваются, с любопытством наблюдая, как два парня и Обабок выбрасывают из его мешка всякую рвань.

— Эх ты, искало-мученик, — весело подмигнул он Обабку. — Что, всё? Боле не нашли?

— Всё! — взмахнул Обабок кулаком.

— Стой, чертило этакий, — увернулся Ванька. — А это что? Всё? — и в руке его блеснул полтинник. — Видишь? Ну-ка, понюхай, чем пахнет! — вскочив на ноги, суёт в самый нос попятившегося Обабка. — Гляди, ребя: фють! — подбросил полтинник вверх, и тот бесследно исчез.

— Ха! — хакнула толпа.

— А теперича смотри! — вскричал Ванька, незаметно покосившись на копошившегося в тёмном углу Антона. — Раз — первый, два — другой, а серебруха-то у рыжего начальника под бородой! — он дёрнул за бороду Обабка и достал полтину.

Все захохотали, а Обабок, широко осклабясь и почёсывая за ухом, милостиво приказал:

— Ослобонить!..

— Вот спасибо, ваше благородие, — хихикнул в кулак обрадованный Ванька.

Обабок гордо оглядел подбитым глазом толпу и поправил на груди бляху.

— Шарь другого!

Стали обыскивать Тюлю.

Народ стоял в чижовке, очень довольный тем, что видит; ни у кого не было в сердце злобы, все смотрели на Ванькин фокус с любопытством и чувствовали себя празднично, как у ярмарочного весёлого балагана. Задние, скаля зубы, напирали на передних, а те, пыхтя, кричали: «Сдай назад, чего прёшь!» — и ретиво осаживали. Девки и бабы, затесавшиеся в серёдку, вызывающе повизгивали.

Тимохе-звонарю больше всех фокус понравился. Чтоб покороче познакомиться с Ванькой Свистоплясом, сел возле него на корточки, хлопнул дружески по плечу и осклабился:

---

— Дай-ка, паря, покурить.  
— Курила бы у тебя вошь в голове! — шутливо ответил Ванька, незаметно подталкивая к Антону свой, уже подвергшийся обыску, мешок.  
— Говорок, язви его! — смеялись мужики.  
— Говорок — съел у твоей бабы творог!  
— Ха-ха-ха!.. вот и возьми его за полтора с полтиной...  
Антон понял Ванькину подсобу: трясущимися руками всунул что-то в мешок и, крадучись, толкнул обратно.  
— Ах, сво-о-о-олочь! — вдруг покрыл все голоса Обабок.  
Толпа замолкла и метнулась в тот угол.  
— Это у тебя откуда лисица, а?  
— Я сам убил, вишь — ружьё у меня, — робко ответил сидевший на полу Тюля.  
— Сам?! И это сам?! — Обабок выкинул новые вожжи и со всей силы двинул сапогом Тюлю в бок.  
Тот взвыл и, обомлев, пополз к стене.  
Толпа замерла. Похолодел Антон.  
— Выть?! Ты ещё выть, жаба?! — орал Обабок, подсакивая к Тюле.  
— Ой, дяденька... Не бей! — в ужасе закрылся тот рукой.  
Обабок, прикрывшись, двинул Тюлю кулаком.  
— Негодяй!.. — вдруг вскочил в своём углу Андрей и шагнул к Обабу. — Как ты смеешь, негодяй?! Как ты смеешь?! — Он был страшен и диким выражением лица, и вмиг взвизгившимся резким голосом.  
— А-а-а, — протянул, подбоченившись и чуть попятившись, Обабок. — Ишь ты! А ежели я тебе в ухо порсну?! — пальцы правой его руки заиграли. — А ежели я тебя... — и он, стиснув зубы, сжал кулак.  
— Ты кто? Ты десятский?! — ещё смелее наступая на Обабка, кричал Андрей. — Десятский?!  
— Пшёл, погань!.. Не замай!!!  
Ванька Свистопляс, врезавшись между ними, испуганно молил:  
— Андрей... Андрей... Уймись, пожалуста... — и, растопырив руки, легонько отодвигал политика к стене. — Плюнь, не вяжись!  
Обабок кашлянул, поутюжил бороду и повернулся к Андрею задом.  
— Шарь этого... холеру-то... — кивнул он головой на прихитшего Антона.  
Андрей-политик мешком сидел на полу, растерянно хватался за голову, споря и ругаясь с Ванькой.

---

— А я чо-то зна-а-ю... — протянула, склонив набок голову, белобрысенькая девочка Акулька.

— Старик пришёл, пустите старика, — слышалось с улицы.

— А я чо-то зна-а-ю, дяденька Обабок, — опять пропищала Акулька, — он эвот куда схоронил... Вот подохнуть. Грамотку какую-то...

— Ково? — переспросил Обабок и вместе с Акулькой нагнулся к мешку Ваньки Свистопляса.

Антон открыл рот и впился глазами в руки Обабка, торпливо развязывавшие мешок.

— Ведь искал... брось!.. — несмело сказал Ванька.

— Удди!

В чижовке было жарко и душно, пахло потом, винным перегаром, луком и махоркой.

— А! Вот оно что! Ребята, деньги!.. — Обабок тряс над толпой пачкой бумажек.

— Деньги!! Ура... Деньги!

— А они твои? — раздался с улицы голос Лехмана. — Пусти-ка меня... Ну, сторонись, что ль!!

Передние сразу посунулись.

— Милый... — на коленях просил Обабка Антон. — Ради Христа...

— Расступись!! — гремел Лехман... — Это что, грабить?!

— Ради Христа... Ради Господа...

Лехман схватил Обабка за горло и грохнул его на пол. Все растерялись. Задние повыскакивали на улицу. Ванька в суматохе быстро вырвал деньги из рук Обабка, но Цыган ударил Ваньку по затылку, выхватил у него пачку и, подняв руку вверх, сильным плечом проложил себе дорогу на улицу.

— Эво они!.. Вяжи, ребята, бузுவ... Выходи на улку... Эво они!..

Андрея-политика охватила дрожь.

Лехман, прислонившись спиной к стене, тяжело пыхтел. В его руке сверкал клинок ножа.

— Изувечу! Убью!.. — хриплым, уставшим в схватке голосом рокотал он. — Мне каторга не страшна... Только тронь хошь одного, всем вечную память загну!!!

— Мы вас, варнаков, нешто шевелили?! — кричал Обабок. — Ты мне, старый чёрт, полбороды выдрал!..

— Полезешь — башку оторву да в бельма брошу!

— Милые мои, — хныкал Антон, — я вам в ножки поклонюсь.

---

— Отдай, чалдон, деньги! — сказал грозно Лехман. — Добром отдай...

— Обабок, выходи! — кричали с улицы.

— Кешка, запирай! — скомандовал Обабок, и все, пятась к двери и со страхом следя за сверкающим ножом деда, высыпали на улицу.

— Ещё мы тебя спросим, ворина, где деньги взял! — пригрозил, отдуваясь, Обабок.

— Господом прошу: отдай... В Россию, к своим иду, помирать иду... В земельку свою лечь... — стонал Антон и, поднявшись с полу, со скрещёнными на груди руками, несмело подходил к стоявшему за порогом на улице Обабку. — Прошу... умоляю... — Глаза Антона были полны слёз, и тряслась хохолком бородёнка. — Десять лет копил. Ребят обучал по деревням.

— Кешка, залаживай!

Когда захлопнулась дверь, Антон стал что есть силы бить кулаками и коленками в запертую дверь.

— Отдай!! Отдай!! — вопил он иступлённо. — Деньги отдай!.. Мои кровные отдай!..

Голоса, шумя и пересмеиваясь, удалялись.

— Так твою так... вот это — встретили! — вздыхал Ванька, щупая затылок.

— Ах, обить твою медь, — подхватил и Тюля.

Лицо Антона вдруг помертвело.

— Ребятушки... Смерть... — Антон с размаху сел, словно ему перешибли ноги, свесил на грудь голову и распластался на полу.

— Воды давай! Тащи к окошку! — суетился Лехман.

Андрей-политик, уставив в решётчатое окно голову, пронзительно кричал:

— Эй, эй... Отопри!.. У нас человек помирает!..

Но кругом было тихо. Лишь вдали наигрывала гармошка и выводили песню два мужских голоса: на лугу у речки собиралась молодёжь.

## XVII

Дедушка Устин, сгорбившись, петухом наскокивал на мужиков, сидевших на завалинке:

— Ограбили — и квиты?! Ах вы, непутёвые!

— Иди-ка, дедка, иди! Вот тебе на церкву две красных... и проваливай... — сказал Обабок.

---

Он вытащил из кармана горсть денег и отсчитал трёшками, выбирая самые старенькие, двадцать один рубль.

— А достальные возвратите, грех... По правде надо.

— Ну, ладно, возвратим... Проходи!

Устин строго посмотрел на мужиков и пошёл к часовне, устало переставляя согнувшиеся в коленях одеревеневшие свои старые ноги.

А мужики разделили по пятёрке на дом, остальные решили в пропой пустить: гуляй вовсю, на неделю хватит.

Девчонка Акулька тем временем прибежала к избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула:

— Тетынька Матрёна, а у бродяг-то деньги...

— Врё... Много?

— У-у-у, папуша... Вот подохнуть... Мужики за вином побегли.

— Врё?..

— Вот подохнуть...

И припустилась рысью сказать мамке, чтоб пятёрку у тятьки отняла: пропёт.

Бородулин чайничал у Матрёны. Не дослушав Акулькиной речи, вскочил, табуретку опрокинул, сорвал с гвоздя картуз, — да на улицу:

— Это мои, обязательно мои...

А в ушах его шум гулял, болезнь из головы выходила, и в этом шуме грезилось: «Деньги найдёшь, — быть»...

И, не спрашивая встречных, — сами ноги несли, — спешил к той заветной, пьяной завалине, где ходила уже чарка зелена вина.

— Братцы, у меня деньги пропали!

Точно бичом хватил: чарка остановилась, Обабок сразу присел на луговину, все затихли и, разинув рты, смотрели на Бородулина.

— Какие, Иван Степаныч, деньги, когда? — притворчиво спросил Цыган.

Бородулин всё подробно рассказал: как с топором бежал по улице за жуликом, как в волость ездил, и про видение сонное в тайге: денег не жаль ему, лишь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну.

Мужики смотрят на него, дивятся: заикается Бородулин, руками машет, не в себе.

— Вы у бродяг, братцы, деньги-то отобрали?.. Обязательно мои...

И опять:

— Кешка, отворяй!

---

— Робёнки, выходи!

Лехман высунул из двери голову и кивнул своим:

— Кажется, старшина, товарищи, пришёл. Ну-ка...

Один за другим вышли четверо. Ограбленный Антон оправился и весь вдруг наполнился надеждой: глаза сразу Бородулина разыскали, улыбнулись ему и запросили пощады и милости.

— Который? — всех четверых взял взглядом Бородулин.

— Вот, — сказал Обабок, указав ногой на Антона.

Тот поклонился низко Бородулину и заговорил:

— Мои, господин старшина, у меня отобрали... кровные мои.

— Не он, — перебил Бородулин, — этого наздогнал бы.

— Отпустите нас, сделайте милость, мы своей дорогой шли... — загудел и Лехман.

Андрей из чижовки вышел.

Что-то ударило купца по сердцу, кто-то в уши крикнул: он!

— Это кто?!

Лехман, оглянувшись, куда показывал Бородулин, сказал:

— Это Андрей, политик тут один, недавно в тайге к нам пристал.

Зашатался Бородулин, зашурился: так ярко вспыхнул в глазах огонь, всё сказавший, на мгновение туманом всё покрылось, — и вдруг:

— Он!!

— Бородулин, Иван Степаныч! — радостный голос раздался, и Андрей шагнул к Бородулину. — Иван Степаныч!

— Он! Ребята, бей!!

Бородулин крикнул, привскочив: трах! — мимо, увернулся; трах! — кто-то на руке повис.

— Бей!.. Кто это? Нож, нож, нож, лови, держи, режь!

А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой оборотень, он!

— Держи-и-и!!

А сзади мужики с кольями, с ножами, с кулаками:

— Держи! Держи!!

Тропинка в тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко бежит, смерть по пятам несётся.

— Напересек, напересек ему!!

— Держи-и-и!!

Сучья трещат, гам, ругань: ломится тайгой деревня, осатанели мужики. Бородулин впереди, легче пуху, себя не чувствует.

---

— Обутки сбросил, стервец... За мной!..

— Айда!!

Тропинка на луговой пригорок взметнулась, хорошо видеть: нет врага, скрылся...

— Ребята! Сюда!.. Эн шапка!..

И слышит притаившийся в чаще Андрей, как, тяжело пыхтя, бегут мимо него, незримого, незримые люди: обманул их, бросил шапку вперёд по тропинке, а сам в чашу, замер.

Кончилась лихая вереница, три мальчонка в хвосте бежали.

Андрей, пригибаясь к земле, бросился наискосок к речке и, еле переправившись вброд, пал в кусты, потеряв сознание.

А у чижовки оставшиеся мужики вихрем налетели на бродяг:

— Бей! Рр-работай! — сшибли их с ног, и началась расправа.

Всё в клубок смешалось. Рёвом и стонами задрожал воздух; лаяли собаки, визжали и плакали женщины, надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродяг били кулаками, били палками, топтали огромными подкованными сапожниками, где-то кирпич нашли — били кирпичом.

Вдруг:

— Стой! Что вы, окаянные!.. Стой!

Лысый, с грозным огнём в глазах, Устин совался возле кучи извивавшихся тел и взмахивал руками:

— Стой! Остановись!..

Не сразу очнулись: руки ходу просят, осатанелые глаза кровью налились, на кулаках вбросили бродяг в чижовку, с руганью захлопнули дверь и, надсадисто дыша, буйно повалили в тайгу, на подмогу погоне за Андреем.

А старый Устин, в большущих своих сапогах, всё так же подгибая ноги, торопливо вслед мужикам кинулся и не переставая звал:

— Воротись, лиходеи!.. Проклянну!.. Стой!!

В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул. Парень лежал у чижовки вниз лицом и стонал, а на него лили ключевую воду. Плакала над ним в голос мать, ахали и ругались оставшиеся возле мужики, а пьяный отец, по прозвищу Крысан, лез драться к ключарю Кешке и диким голосом ревел на всю деревню, взмахивая огромным топором:

— Отопри, тебе говорят!.. Всех один кончу... Всех!!

Был полдень.

---

## XVIII

В это время тайгой ехали трое: Анна, Пров, Даша... Эта сильно увязалась, упростила Прова Михалыча: праздник, погулять охота.

Отец с дочерью впереди, Даша далеко отстала: конь урочит, а Даша отвыкла от седла, боится.

У Прова душа играет, он смотрит в спину дочери, на статную, крепкую, с обнажёнными белыми икрами, фигуру, радуется: дочь говорит правильно, про всё выведывает, всё знать хочет, болезни не видать.

Дарья, как въехала в тайгу, вздохнула отрадно полной грудью.

Она давно не бывала в тайге, забыла её ласковый говор, смолистый запах её. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору... Эх, матушка-тайга!..

Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся... сердцу тяжело.

Тихо едет Даша, вся в себя ушла, осматривает пугливо свою солдаткинью жизнь.

Как познакомилась с купцом да связалась с Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то с Бородулиным гуляет, то с уголовным, надвое себя рубит. И пока пьяная, пока бьёт кровь — всё нипочём, а вот ляжет Дарья спать, — весело ляжет, весело уснёт, — но сны видит страшные: по ночам стонет, кричит, сама себя пробуждает. Перевернёт мокрую от сонных слёз подушку, закинет руки за голову и задумается. Хочет мысль направить на новый путь — не может, душа не принимает, очернилась, других дум требует: пьяных и разгульных, как её, Дарьяна, гуляющая жизнь.

«Эх, всё равно», — махнёт, бывало, рукой и даст дорогу пагубным своевольным своим мыслям. А досыта надумавшись, вновь заснёт весёлым, улыбчивым сном. Наутро глядь: сердце тоской зашлось.

И вот уж Дарье невтерпёж: Феденька ножом грозит, перед народом стыдно, на Божий свет глаза не поднимаются, а впереди страх: придёт домой муж-солдат — расплата коротка.

Дарья ищет забвения, до бесчувствия пьёт, часто посматривает в сеновале на перекладину, верёвку в мыслях примеряет, но вовремя рубит мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос.

— Эй, Дарья! — крикнул Пров.

Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. Лицо её раздумянилось, печальные глаза в слезах.

---

— Богородица!.. Ангели!.. — шепчет Даша, прижимая ладонь к груди.

— Не отставай! — вновь крикнул Пров.

Сливаясь своим серым зипуном со стволами деревьев, он ехал впереди; за ним, в белом, — Анна. Даша взглянула ей в спину — и открывшимся сердцем вдруг неожиданно потянулась к ней, как дым к небу. словно кровное, самое родное учуяла в Анне.

«За что же я её? Ангели!..» — скорбно укорила себя Даша.

И стало ей жаль Анну, в первый раз пожалела, с собой сравнила, вспомнила, как отравой собиралась опохмелить, — и ещё жальче стало Анну, тихую и неповинную.

Вся в порыве, — хлестнув лошадь, нагоняет Анну.

Хочет упасть перед нею на колени, многое хочет ей сказать, но кто-то отстраняет её от Анны.

— Анна! — позвала Даша. — Аннушка... Дяденька Пров!

Молчат, не откликаются. Тайга молчит. Жутко стало.

Пров остановил лошадь:

— Ну-ка, передохнём не то...

Стали чай варить. Анна живо насбирала сушняку, весёлая ходит, светлая, костёр разложила, на отца смотрит ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусает, опять жизнь свою издалека осматривает, от начала дней, как стала себя помнить.

Пров за дочкой ухаживает: то хлеб ей пододвинет, то комаров черёмуховым веником смахнёт с её лица.

— Ты у меня разумница... Помощница моя, утеха...

Обо всём его спрашивает Анна: о матушке, о бабушке Устине, о Бурёнке. Отец отвечает, шутит с ней, прибаутками говорит.

Анна улыбается, а отец пуще рад. И вдруг неожиданно кидается Анна отцу на шею:

— Ох, родимый ты мой... Во всём тебе откроюсь... всё скажу... Одного только мне...

— Н-и-ичего, доченька, — утешает Пров и косится на её живот.

— Батю-ю-шка...

Только лишь на лошадей сели — поп едет по тропинке, за ним, попыхивая трубкой, грудастая Овдоха.

— Здорово, Пров Михалыч...

— Ах! Батя... — крикнул Пров, — а мы только что почайпили...

— Эка штука... Не знал... Мы тоже недалече вот с кумой-то, с Авдотьей Терентьевной, тово... Чайком, значит, побаловались... Хе-хе...

---

Овдоха вспыхнула и, одёрнув красный сарафан, испуганно уставилась кривым глазом на попа.

— Ну, как там у нас, в Кедровке? Молебен-то служил?

— Слу-у-жил... — улыбнулся батя.

Овдоха выхватила изо рта трубку, хихикнула в горсть и, покрутив носом, насмешливо кашлянула.

— Ну, прощай, батя, — сказал Пров, тронув коня, и, обернувшись, крикнул: — А Бородулин у нас?

— Не видал! — прокричал батя. — Слушай-ка, дядя Пров! А у тебя водчонки нету?

Но Пров уже скакал, нагоняя дочь и Дашу.

И вновь едут трое таёжной тропой, сумрачной и тихой.

Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всех сторон зелёным колдовством.

У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку.

И уже замелькали меж стволов лесовые шиликуны, тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и гасли. Шорох плыл, и посвистывал в болоте леший.

Пров ничего не видит, ничего не слышит, шапку надвинул на брови, молчит.

Дарья вся в себе: ставни наружу закрыты, псы сторожевые спущены. Нет Дарьи, солдатки оголтелой, весёлой Даши, говорухи и песенницы, здесь только голубиная женская душа.

Сумрак наплывает, прохладный и сырой. Ночь близится.

— Ну, теперича, девахи, недалече! — кричит Пров и проверяет взглядом знакомые места.

Собака Лыска уж не забегает в гости к каждому кусту и пёнышку, прямо бежит перед лошадьё, язык на плечо — устала.

Что-то белеет впереди, расступилась тайга, тропинка на долину вышла: белый туман по речке лениво стелется, в деревне огни.

Анна увидела родные места, — перекрестилась, глаз оторвать не может от мелькающих знакомых огоньков.

— Матушка!.. — кричит она. — Эй, матушка! Встречай!!

К броду спускаются — нет матушки, в деревню въехали — нет матушки, и не видать на улице народу.

Только в том конце, где дом Прова Михайловича, что-то неспокойно.

— Ой, худо у нас! — не то подумалось Прову, не то Анна проговорила.

Упало у мужика сердце.

Подъезжают. У открытых ворот толпа.

---

Увидали — гвалт подняли:

— Ну, с гостьей тебя, Пров Михалыч... Да ещё с гостем. Иди-ка, брат, в избу, гляни!.. От-то шту-у-ка!..

Забыл себя Пров, страх вломился в душу, боится и во двор вступить...

Матрёна вышла, подбежала к Анне, целует, плачет, и сквозь слёзы и ласковые слова кричит Прову.

— Бородулин-то... Ох, светы мои...

Но уж Пров в избе, изба народом полна, душно, но тихо и торжественно.

На лавке — с закрытыми глазами Бородулин.

И в двадцатый раз говорит Матрёна:

— И как прибежал это он, батюшка, с бою-то... глаза выкатились, трясётся. «Ой, что-то, говорит, Матрёнушка, дух заняло...» Прислонился к забору да как рухнет!.. Только и жил...

## XIX

У полумёртвых, изувеченных бродяг трещали в ушах бубенцы и барабаны, перед глазами кувыркались, мяукали какие-то чёрные хари, всё горело внутри, и не хватало воздуха: словно их закружили в дикой пляске черти и, не дав отдышаться, бросили в вонючий провал.

Антон, опираясь на колени и локти, припал к грязному полу, словно воду из ручья собрался пить. Он тяжело охал и стонал.

Ванька Свистопляс, размазывая по скуластому лицу кровь, всё норовил приставить и удержать оторванное своё, висящее «на липочке» ухо. Он, весь съёжившись, сидел горшком под единственным оконцем и скорготал зубами, пытаясь облегчить боль.

Тюля лежал рядом с Ванькой, закинув руки за голову, и молча смотрел в потолок подбитыми глазами.

Бродяги нутром чувят: быть грозе, — дело одним политиком не кончится, дойдет черёд и до них.

Надо бы бежать, но где схоронишься? Догонят, разорвут, в землю втопчут, осиновый кол вобьют. Куда бежать? В тайгу? Но у них всё отобрали, ружьишко — и то отняли. Выскочить да караульного зарезать? Красного петуха пустить? Но крепко запер, а маленькое оконце железной решёткой оковано. Нет, не уйдёшь: суставы повывернуты, рёбра сломаны... Думай не думай — крышка...

---

По своим углам товарищи забились, молчат.

Только Лехман, растянувшись на полу огромным телом, тяжело сопит, хватаясь за отбитую кирпичом грудь, и злобно ругает всех сплеча: и Свистопляса, и широколицего, с затёкшим глазом Тюлю, и Антона. Тем и так тошно, душа изныла, а он без передыху поливает и их, и свою мать, что на свет породила, и тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идёт за ним.

— Мы тут ни при чём, — стонет Тюля...

— Ни при чём-о-ом?! — гремит Лехман и сердито плюёт в воздух.

Сам знает, что ни при чём: судьба сюда свильнула, под обух поставила, но разве судьбу проймёшь, разве ей влепишь затрещину? А кулаки зудят... ух, зудят!

Лехман, хрипя и ругаясь, вскочил по-молодому, лицо дикое, схватил за ножку железную печь и, размахнувшись, грохнул ею в стену.

— Товарищ! Что ты? — взмолил Антон.

Лехман зубами скрипит.

— Замолчь, свято-о-оша!! — к Антону медведем бросился, сутулый, страшный, лохматый.

Антон смирнёхонько на полу лежит, большими глазами, жалеючи, смотрит на Лехмана.

Враз остановился Лехман, словно с разбегу в стену, голова его затряслась, заходила борода.

— Робя-а-тушки...

Он схватился за лысый череп и отрывисто застонал, словно залаял, потом сразу присел и пополз на четвереньках в угол, а борода по полу волочится, заплёванный пол метёт, древняя, седая.

— Товарищи, милые... — глухо стонет Лехман и валится вниз лицом.

Антон уж возле Лехмана, спину его сухую гладит:

— Ах, дедушка ты мой, родной ты мой...

Ванька с Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, то на дверь, за которой гудит народ. И уж не могут понять ни отдельных резких выкриков, ни ругани, что влетают с улицы в решётчатое окно вместе с красной полосой солнечного заката.

— Тюля, — шепчет Ванька. — Чу... кричат...

А народ пуще загудел и вдруг осекся: враз смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало.

— Ково? — гнусаво и удивлённо кричит у двери на улице каморщик. — Бородулин? Вот это та-а-к...

---

И слышно, как выколачивает о каблук трубку и сам с собой громко рассуждает.

Солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь: ему всё равно, все дети кровные. Антону в глаза ударило ласково, Антон щурится, в окошко заглядывает, вздыхая, провозжает солнце: может, завтра не увидит его.

Лехман уснул, стонет во сне и охает.

— Антон, — говорит Ванька, — а ты хочешь есть?

— Нет, милый... до еды ли тут?.. Вот испить бы...

Тихо в каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова мычит, ребёнок заплакал, собака тявкает.

— Я бы попросил воды, да боюсь, — говорит Ванька.

— Чего ж бояться-то?..

Ванька усиленно сопит и, помолчав, отвечает:

— А как убьют?..

Скоро в каморке совсем темно сделалось и тихо. Уснули, что ли, все или так примолкли.

Кто-то на коне едет.

— Матушка, встречай, — женский доносится голос. И опять всё замерло. Лишь каморщик мурлычет песню и кашляет, да бредит Лехман.

А у оконца Ванька с Тюлей. Шепчутся, то один, то другой, громко скажут слова два и опять шепотком.

— Антон, — тихо позвал Ванька.

Ответа нет.

— Дедушка!..

Молчит и Лехман.

— Спят, — сказал Тюля.

Ванька Свистопляс почесался во тьме, поворочался и дрожащим голосом тихо заговорил:

— Ох, товарищ... Не приведи Бог, ежели мужики в ярь войдут.

— Да-а-а, — тянет Тюля.

— Аминь тогда наше дело... Эна как мы, рестанты, в остроге четверых надзирателей кончили, всей оравой-то... Вот так же вечером, темь. Уж больно они мытарили нас, прямо зверьё... Ну, мы, значит, и сговорились... Пришли это они с проверкой, мы на них... Те как зайцы запищали... Знаешь, зайца когда собака сбреет, он должен как дитё заплакать... В ногах валяются, пощады молят... Куда тут... Тройх-то сразу кончили, головы о стену разбили. А четвёртому, а четвёртому-то, Тюля... Мы его... Мы ему...

Тюля долго сопел, потом раздражённо сказал, ткнув в бок Ваньку:

---

— Не хнычь... Чё-орт... Слюнтя-а-ай...

Ванька оправился и приподнялся:

— Мы его, Тюля, свалили да арканом ноги у ляпустей связали, а другой-то конец через спину перекинули да за горло, да и начали в дугу гнуть, пятки к затылку подтягивать. Сначала дурью ревел, как чушка под ножом, потом визжать стал. А мы, черти, ржём, любо... Человек хрипит, а мы пуще налегаем, грудью-то на пол его поставили, быдто колесо какое... Тот хрипел-хрипел — навовсе уснул. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, Тюля, не вынесло, хрящ лопнул... Как захрусти-ит... Мы прочь... Ух ты!..

— Ну ты к лешему, — сказал Тюля и сплюнул.

И долго лежат оба молча, хлопая во тьме глазами.

Робость овладела Ванькиной душой, внутри всё горит и холодеет. А думы на прожитую дорогу увлекают Ваньку, по тайным тропам тащат, на провалы, на звериные указывают дела. Он ли это делал?.. Да, он, молодой парень, — Ванька Свистопляс.

«Я человек тёмный, я ни при чём, — оправдывается в мыслях Ванька. — Я — сирота... Мне батька чугунным пестиком башку прошиб... Мой батька мамынку зарезал, а сам задавился...»

Но совесть молчать не хочет, глушит Ваньку его же делами, его же мыслями; видит Ванька убитую, в красном платье, бабу, видит молодую растерзанную девушку и чует: хрустят под арканом хрящи надзирательевой глотки.

«Я... Я... Мой грех...»

— Ты, чёртова голова, о чём это думаешь? — строго спрашивает Тюля. — Опять?!

— Я ни о чём... Мне бы вот... Этово... Как его... табачку...

Слышат оба: стоит кто-то у оконца, дышит.

— Эй, есть кто живой?

Поднялся Ванька. Две бутылки с молоком просунулись сквозь решётку, калач пшеничный, картошка, лук.

— Примите-ка, несчастненькие... — сказала женщина и пошла прочь, заохав и запричитав.

А Ванька, прильнув к решётке и придерживая оторванное ухо, ей вдогонку посылает:

— Прости нас, бабушка, грешных... То ли бабушка, то ли тётушка...

Жадно вдыхал Ванька ядрёный воздух наплывающей ночи и ловил каждый звук, каждый шорох. Но было тихо вблизи, лишь где-то далеко мерещились еле внятные людские голоса.

---

Тюля чавкал хлеб и запивал свежим молоком.

— Огонька бы, — сказал, опускаясь на пол, Ванька.

— А у тебя серянки есть? — вдруг спросил всё время молчавший Антон. — У меня свечечка есть, огарочек... последний...

Ванька обрадовался его тихому голосу.

Зажгли огарок и укрепили у стены, на воткнутой щепке.

Заколыхался тусклый огонёк, задрожала тьма.

— Вот так и жисть наша... вроде как огарок, — раздумчиво сказал Ванька, — догорит, и аминь тому...

— Ну, ты, пое-е-хал... — огрызнулся Тюля.

Ванька, весь всклоченный и измазанный кровью, сидел, обхватив колени, на полу против Антона и смотрел на него тусклым, немигающим взглядом.

— Шёл бы в уголок: ты страшный, — сказал ему Антон, — а я помолюсь, у меня дух чего-то запирает, истоптали меня всего...

Ванька отполз послушно в угол и оттуда сказал:

— Вот ты бы поучил меня, как молиться-то... Надо бы... А то я всё матерком да матерком...

Антон вынул из мешка завёрнутый в тряпку медный образок и поставил возле себя на пол.

Вдруг Лехман так пронзительно и тонко взвизгнул во сне, что всех перепугал, все враз крикнули:

— Дедка, дедка!

Тот быстро приподнялся, протёр глаза, поводит хмурыми бровями и изумлённо огляделся кругом.

— Ты чего это?

— Так... Ничего... — октависто сказал, и лёг.

— Помоги... Настави... Укрепи, — громко и выразительно шепчет Антон и, распластавшись на полу у иконы, лежит, трясясь всем телом.

Огонёк колыхается, играет. Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело.

## XX

Вся деревня обрадовалась Анне.

Только и слышалось:

— Аннушка... Краля наша... Умница...

И мужики, и бабы, и старые старики, и ребята. Про молодёжь и говорить нечего.

---

Варька черноглазая первая прибежала. Танька пришла. Сенька Козырь с Мишкой Ухорезом пришли. Терёха-гармонист пришёл.

Варька Анну к себе ночевать увела: в избе у Анны — покойник, страшно.

Молодёжь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли на улицу, Терёха по всем переборам саданул, девки подхватили проголосную, заунывную:

Уж и где ты, ворон, побывал,  
Где, черной, сполётывал?..

Анну под руки вели подруги. Варька за талию обняла ласково.

Все веселы хорошим весельем, тихим.

Сумрачно было. Звёзды мерцали с серого неба. Лица Анны не видать. Анна в белом. Анна низко наклонила голову, и как-то незаметно, сами собой, покатались из глаз слёзы. А сердце такой светлой радостью вдруг переполнилось, что Анна не выдержала, к подругам на шею бросилась, парней обнимать начала:

— Девушки... Молодчики...

Парни смутились, встревожились, самые ласковые слова в ответ подбирали и пофыркивали носами.

И ни один из них, и никто в деревне даже взглядом не оскорбил приближавшегося Аннинного материнства.

— Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью поведи...

Дальше пошли. Чёрный жучок Терёха не сразу в гармонь ударил: руки тряслись от волнения, сердце шумно билось, — эх, зачем он таким сморчком, замухрыгой уродился!

До Варькиной избы Анну довели, а сами на горку повалили разводить ночные плясы.

Поздний вечер. Сторож с колотушкой начал дозор.

У Прова полна изба народа, мужиков меньше стало, всё бабы, старухи, ребятёнки. Бородулин на лавке лежит, Пров «шевелить» его не велел, завтра с понатыми подымут, в Назимово потащат, на родную землю. Бородулин весь белыми холстами да тёмным рядом прикрыт, — старухи натащили, за упокой души жертва.

— Прими... — шептали сокрушённо и клали земной поклон.

Лучина в светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали по белым, известкой мазанным стенам большие тени.

---

Как пчёлы, жужжали женщины, про покойника вспоминая: вот какой здоровый, а Бог прибрал, жить бы да жить, всего вволю — богачество, почётливость, — а вот поди ж ты, смерть-то не спрашивает...

— Раздайсь, дай пройти! — сказал, протискиваясь с книгой в руке, Устин, усердный Господу.

Все зашевелились; пуще завздохали и нетерпеливо закашляли: Устин очень хорошо читает по покойникам, уж таково ли заунывно, таково ли жалостливо.

— Салты-ы-рь, — деловито протянул мальчонка Митька, указывая кулачком на книгу.

Дедушка Устин, лицо тревожное, поклонился в ноги покойнику, народу поклонился, поставил на стол опрокинутую кадушку, на кадушку псалтырь положил, нос очками оседлал, откашлялся и, часто закрестившись, начал. Он ни аза в глаза не знал, в книгу глядел зря, но это ему очень льстило: пусть будет он во всей деревне единый грамотный, и хоть частенько подумывал Устин о своей гордыне, но искушение всегда брало верх. Вот и теперь: зорко смотрит в книгу, тягучим голосом читает, — где запнётся, пониже к книге склонит голову, свечкой тычет: две свечки горят — одна на кадушке, другая у Устина в левой руке.

Старухи крестятся, охают и вздыхают.

С улицы к открытому окну сторож прилип, снял шапку. Постоял-постоял, прочь пошёл, и вдруг ударил в колотушку — так громко, что задремавший было Митька вздрогнул.

— Салтырь, — опять сказал Митька и сел на пол.

А Устин, как шмель, бубнит без передыху разное:

— Утулима Богомать... Святы отцы Абросимы... Сорок мучельников... Помилуй нас... — потом передернёт плечами, стряхивая дрёму, и умилённо возгласит: — Со святыми упокой, Господи, новопреставленного раба Ивана... Жил еси, жил, в землю отыдеши... Утулима Божжа Мать...

Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. У него одна штанина засучена, другая по полу волочится. Митька трёт кулачком сонные глаза и, семена ногами, бормочет:

— А он будет кадить?.. Устин-то?..

Свечки тают, роняя восковые слёзы.

Устин утомился: лысая голова, как росой, кроется потом, голос просит отдыха, гнётся чрезмерно спина. Час поздний.

Даша неожиданной смертью Бородулина была потрясена. Что-то закачалось в душе её, охнуло и порвалось.

---

Она, приехав, лишь скользком взглянула на покойника, потом забилась к печке за занавеску и, вся дрожа, приникла к Матрёне.

Та принялась про всё выпытывать, выведывать. Обняли друг дружку, зашептались.

Старушонки поближе к занавеске подвигаться стали, насторожили жадно слух, опасливо поглядывая на покойника.

Дарья всё пересказала Матрёне: и про Андрея-политика, и про Бородулина, и про Анкино горе: «девка брюхатая, девка не в себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-солдата: с какой-то «фрэй» в городе снюхался, её, Дарью, на грех толкнул...

— Нет болезни, печаль, воздухания, — тянет дедушка Устин.

Дарья встала.

— Прощай-ко-ся, тётенька... — надвинула на глаза чёрную шаль и по стенке вышла на улицу.

Она пришла в запертую Варькину избу. Анна спит крепким сном. Варька на гулянке, отец её где-то с утра куролесит, пьяная мать под столом храпит.

Испила Дарья воды, взглянула в зеркало, изумилась: чужое лицо на неё смотрит, бледное, глаза чужие, унылые. И не хочется Дарье верить, что это она в зеркале, она — Даша-ягода, Даша-солдатка, разудалая, говорунья и песенница.

Садится Дарья у стола, подпирает рукой голову.

Тихо в избе. Лампа чуть светит, выгорает.

Дарья вся во власти дум, собой распорядиться не может: надо спать идти — к месту приросла.

И вьются мысли возле Бородулина, не мертвеца, над которым гудит Устин, а возле живого, сильного, бородатого. И уж от живого Бородулина, от поселенца-вора Феденьки направляются мысли к мертвецу, её вихлястой дорогой идут, крученой и неверной. И зачем сюда клонят мысли? Бородулин жив... Кто сказал, что помер? Жив! Когда придёт в себя, Дарья во всём ему покается: и как Анну хотела извести, и как с Феденькой деньги воровала. Она проклянёт ворищу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет — примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдёт. Жив Бородулин, жив!..

Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. Это сама себя спросила: «Неужто умер?» — вся кровь в виски ударила. Даша холодела.

«К добру или к худу?» — опять тайно спросила себя, и почувствовала, как чёрное берёт в ней верх.

---

Но, чтоб не видеть, не слышать, прихлопнуть чёрное, Даша, вся дрожа, шепчет:

«Умер... Пошто ж ты умер-то, Иван Степаныч?..».

И стало ей жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли.

«Иван Степаныч, Иван Степаныч...» — стонет она. Но чёрное выше подымается, не даёт покоя, душит Дарью.

Это Феденькин охальный взор буравит сердце, это Феденька, подбоченившись лихо, стоит и хохочет, это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана! Его рожа в окно смотрит, он деньги купеческие украл, он подучил Дашу, не словами подучил, глазами воровскими приказал. И уж шипит подлец: «Ты — убийца, ты!». — «Врёшь», — хочет крикнуть Дарья, но не может: целая ватага стоит перед ней оборванцев, бродяг, бузуев, незнаемых: стоят нетвёрдо, топчутся, безликие, безголовые, серые, и в голос орут: «Ты — убийца, ты... И Бородулина убила, и нас убьёшь... Тварь, подлая...». Крепко зажмурилась Дарья, — но и так темно, лампа догорела, — крепко виски ладонями стиснула, встала, топнула: «Прочь!» — и сама себе сделала приговор: «Да, я — убийца... я подлая... я тварь».

И как призналась себе, утвердила в сердце признание, — точно нагишом перед народом встала: «Потаскуха... тварь...». Ох, если б нож! Лезвием его нанесла бы Дарья радость сердцу.

Мечется Дарья, ломая в потёмках руки: «Матушка... Заступница...» — и слышит: «Кайся, полегчает». Тут запрыгал вдруг подбородок, зашептали сами собой уста обрадованные речи. И уж некогда ей одуматься, некогда умом прикинуть, ноги несут Дарью к той избе, где ещё светит огонёк, где страшным сном спит Бородулин. Там Даша скажет миру, там покается, прощение вымолит у живых и мёртвого, с незнаемых бродяг, бузуев, лихой навет снимет, себя на растерзание отдаст, — не себя, а тело своё, — не тело, а грех свой: пусть плюют, пусть топчут, пусть!!

Бежит не чуя ног: радостный ветер её подгоняет, росистые ночные травы ковром легли... Хорошо, свободно.

Тюрьма... Нет, мир всё простит, всё покроет... А вору Феденьке, мучителю её, — крест... А Дарьиным делам, что через Феденьку объявились, и всей её паскудной жизни — крест!.. Да, хорошо, хорошо... Вот и избушка, да, избушка. Благослови, Христос...

---

## XXI

Постояла Даша у двери, крепко схватившись за скобку, минуточку подумала: так ли, нужно ли? Но уж ответа не было.

Она быстро шагнула в избу: два огонька дрожат, две свечки восковые. Устин скрипит, на лавке три старухи головами встряхивают, борются с дрёмой.

Не подымая глаз, подошла Даша к мёртвому, опустилась на колени:

— Прости меня, Иван Степаныч, грешную... Это я всё, я..

Устин читать остановился, на Дашу смотрит. Старухи проснулись, рты разинули.

Встала Даша с полу — ноги не свои, дрожат, всё тело дрожит. Чтоб взять над собою верх, быстро повернулась.

— Вот что, бабушка Устин, да баушка... да мир хрещёный...

Злые шаги застучали по крыльцу: рванув дверь, грозно вошёл в избу Пров.

— Лешие! — зарычал он. — Вот лешие-то, вот окаянные-то... Матрён!..

Все насторожились.

— Это что же такое, Матрён, — тяжело дыша, говорит Пров Михалыч проснувшейся жене. — Ведь всех наших коров варнаки зарезали...

— Как? Кто?! — всплеснула руками Матрёна.

— Вот, Устин, будь свидетель... трёх коров моих, последних кончили, белых... у Федота двух телков зарезали...

Матрёна завывала в голос, старухи, ударяя себя по бёдрам, стали ахать и причитать. Устин со свечкой в руке стоял, сгорбившись, и не знал, что делать.

— Это всё бродяжня, бузуи-висельники!.. — гремел Пров. — Н-ну, погод-ди!..

Пров суетливо схватил фонарь и вышел на улицу. Воздух в избе вдруг наполнился злобой. И пламя покаяния в Дашиной душе погасло.

Даша стоит как стояла, словно в пол выросла. Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, всё тело огнём палит. Иной стала Даша, прежней, назимовской.

— Вот что я хотела... Помер ли Иван-то Степаныч? Может, так зашёлся... — как кипятком окатила она Устина и, упруго вздрагивая ядрёным телом, будто издеваясь над ветхими старушонками, проворно вышла.

Устин, разинув рот, проводил её до двери взглядом:

— Сатано... сгинь, лукавая сатано... Тьфу!

---

Серая ночь была. Звезда покатила по небу, вспыхнула и осияла сумрак. Идёт улицей солдатка — мыслей нет, и уж не ветер радостный подгоняет её, а черти хвостами подстёгивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зелёную бороду и, надрываясь, шипит: «Дура... эх ты, дура!..».

Враз всё запело внутри и захохотало, всё приникло, всё покорилося в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: «Бери!.. Всё твоё!..».

Крик стоит в Федотовом дворе. Тесовые ворота настезь. Федот пуще всех горланит:

— Ну так вот, молодцы... так тому и быть... И чтоб ни гугу, а то всем — край!..

— Это как есть... Чтобы с согласия... Как мир...

— Но, айда по домам!..

— Айда, айда!..

— Погоди: «айда»... Дай — Пров придёт.

Сторож с колотушкою прошагал. Петухи перекликаются. На горе три костра горят тремя звёздочками. На горе песни звенят, гармошка голосит; визг, крики, хохот секут ночной свежий воздух.

Терёха «Барыню» на гармошке жарит, парни подхватывают:

Барынька, не сердись,  
Туды-сюды повернись...

Опять крик, опять хохот и девичьи смеющиеся свирельные голоса.

Два человека к чижовке подошли, уперлись лбом в верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками размахивает, что-то говорит, спорит, плюёт сердито. Пошептались, ушли.

— Ну и дьяволы!.. — крикнул Кешка, поправил кушак, потоптался на месте и постучал кулаком в двери чижовки:

— Эй, робяты!..

Ещё звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала бессонная речка. Из-за тайги жёлтым шаром вздымается месяц. А парни на горе катали трепака, били в ладоши и звонко глосили:

Дулась-дулась — улыбнулась...  
Дулась-дулась — перевернулась...

— Эй, робяты... упреждаю... Слышите?..

---

Прислушался, склонив ухо к щели... Ответа не было. Огромный, похожий на медведя, Кешка, кашляя и сопя, обошёл чижовку и, поравнявшись с окошком, ещё раз громко крикнул:

— Эй, робяты!

Зашевелились там, заговорили.

Кешка забрал в грудь побольше воздуха и просто сказал:

— Приготовьтесь, робятушки... Завтра вам... тово... утречком...

## XXII

Тюля с Ванькой спали, и этот приговор слышали только Антон да Лехман.

Они сразу онемели и долго лежали во тьме без движения, без дум, без вздохов.

Первым очнулся Лехман:

— Ты, Антон, слышал?

Ответа не было.

— Ты спишь, Антон?

— Я слышал, — ответил наконец Антон и не узнал своего голоса.

Долго опять лежат молча, долго думают. В оконце лунный свет вползает.

— Всё из-за тебя, Антон... Всё из-за твоих денег...

Антон молчит, вздыхает и что-то шепчет.

— Ты бы взял на себя грех, Антон... Наврал бы: мои, мол, деньги — я украл... Може, тогда тебя бы... одного бы... — и Лехман не закончил.

В груди Антона что-то булькает и посвистывает.

— Ты что же это молчишь, Антон?.. Всё молчком... Ты говори...

Тот закашлялся долгим кашлем и наконец сказал:

— Я согласен.

Лехман радостно заговорил:

— Вот это дело, это хорошо, Антон... Тебе всё одно не жить... И мне не жить... Вот Ваньку с Тюлей жаль: может, отведём... А?

— Я согласен...

И дальше ведут разговор с большими перерывами, будто подолгу обдумывая каждое слово.

— Вот ты и покайся... Деньги, мол, я украл, сбрую, мол, я украл... Там ещё что-то нашли у Тюли, шкуры, што ли... И шку-

---

ры, мол, я... Сапоги у тебя новые есть, и сапоги, мол, краденые... А?

За дверью Кешка возится, лошадь отгоняет: лошадь стреножена, слышно, как култыхает и фыркает.

— А то давай, Антон, я приму на себя... Я встану, открою грудь и скажу: ну, молодцы, убивайте... А?

Молчание.

Лехман перевалился на бок и придвинулся к Антону.

— Право... Ведь у меня, Антон, привязки к земле нету... Я один, всё равно как горелый пень в чистом поле... Ведь я старик... Будет, помаялся...

И, помолчав, добавил:

— А у тебя всё-таки какая-никакая, а жена... опять же дочерь...

Антон слезливо крикнул:

— Я сказал, что я... Всё приму... Понимаешь? Я!.. Ну, чего тебе... Отстань!..

И, как бы спохватившись, мягко заговорил:

— У меня нутро горит... Болезнь меня гложет, бабушка... Прости... Приготовиться нужно. Смерть...

И Антон, отмахнувшись от Лехмана, весь ушёл в думы. Он напряжённо всматривался в грядущее, в этот последний за-втрашний день, такой непонятный, непостижимо значительный и жуткий.

«Смертынька».

Но как ни напрягал Антон свою душу, как ни нудился додумать до конца, мысль его упрямо останавливалась и меркла. Тогда Антон терял нить предсмертных своих дум и весь погружался в прошлое. Любочка вдруг встала перед ним, жена склонилась, друзья, знакомые. И все улыбаются ему, что-то шепчут, куда-то его зовут. Но Антон чувствует, знает, что это не настоящее, земное, обманное, — не надо! Ему не до того, ничего не надо, пусть всё сгинет и даст покой душе.

Антон вздрагивает, мотает головой и тяжело стонет:

— Не на-адо...

Ярким мгновенным полымем вспыхивает тогда вся прошлая жизнь Антона и сгорает. Ничего нет, ничего не было, легко... Густой, глубокий мрак охватил Антона. И нет больше земли, ничего нет, всё остановилось, всё умолкло. Антон захолонул, раскрыл рот и перестал дышать.

«Умираю...»

И уж он не чувствует, не помнит: человек ли он или пёс, чёрт ли он или ангел, камень он или ничто, и не знает, где он: на земле или в воздухе, на вершине горы или на дне моря.

---

Вот она кончается, рвётся последняя ниточка, смерть идёт... Смерть ли? Смерть, лёгкая... А как же Любочка, родина, белый свет?..

«Смерточка... повремени...»

Душа Антона обнажилась, утончился слух её. Осеняет себя Антон в мыслях широким крестом...

«Господи, Господи...» — и, молитвенно замерев, ждёт.

Голос человеческий мерещится ему, кто-то говорит, кто-то имя его громко произносит:

— Не скули, Антон... Крепись...

Это Лехман сказал. Взял его иссохшую горячую руку и поглаживает своей огромной корявой ладонью.

— Минутка пришла ко мне, — запинаясь, говорит Антон детским радостным голосом. — Ах, какая минутка, дедушка... Самая золотая...

И, улыбнувшись, замолкает. Уж не может теперь понять слов Лехмана, только чувствует, как Лехман трясёт его плечо и что-то предлагает.

— Да... Да... — шепчет Антон и опять тонет в наплывающем тумане.

И лишь сквозь туман, когда блистают в душе зарницы, произносит:

— Ты здесь?.. Ты, того... Ты, дедушка, не бойся... Она добра... Она мать...

— Кого? Ты про кого?..

И Лехман, не дождавшись ответа, грозит высоко вскинутым кулаком и свирепо бросает в сторону деревни:

— Чер-рти... Ах, чер-рти!..

А по деревне опять пьяные голоса то приближались сплошной стеной, то вновь тонули.

— Умираю... Пить... — простонал Антон после долгого молчания.

Лехман, крихтя и охая, зашевелился, на четвереньки встал, с трудом поднялся и, волоча ноги, пошёл на голубоватый свет луны. И чтоб не потревожить спящих у самого окна Ваньку с Тюлей, ущупал их ногами, согнулся вдвое, приник к голубому оконцу и позвал:

— Караульщик, а караульщик?! Слышь! Подь-ка сюда!..

Кешка подошёл.

— Дай-ка, братан, водицы...

— А где бы я тебе взял: ишь — ночь! — ответил недовольным голосом Кешка.

— Что ж нам, поколевать, што ли!!

— А уж это ваше дело...

---

— Черти!.. За что нас, черти, мучаете?! За что убить хотите?! — кричал Лехман и зло плевал на улицу сгустками крови.

— А уж это мужичье дело... Как мир... — невозмутимо отвечал Кешка и, дрогнув голосом, добавил: — Вы полстада быдто скотин зарезали...

— Каких скотин?! — грянул Лехман и, охнув, закашлялся, схватился за грудь, грузно опускаясь на лежащих у ног бродяг.

Те крепко спали, только промычали что-то и задвигались.

Не вдруг утихло сердце Лехмана. А как утихло сердце, опять подошёл к Антону и окликнул. Не ответил Антон.

Лехман в эту ночь боялся молчаливой темноты и, чтоб не чувствовать себя одиноким, стал изливать свою душу пред безмолвным товарищем.

— Смерть что? Смерть — тьфу! Всё одно что сон... Глаза зажмурил, ноги вытянул — и полёживай... Да!.. Так ли я говорю, Антон?.. И никто тебя не пошевелит — ни комар, ни вша, ни мужик, ни справник... Червь, ты говоришь? Ну-к што... Наплевать... Пусть его точит... Я тагда всё равно как стерва буду лежать, как пропастина, тагда хошь в порошок меня разотри — не услышу... Верно? Ну, вот... А душа... Ха-ха!.. В нас души, Антон, нет... В нас душаина, это так... Слыхал, как Тюля говорит: «Выди, душенька, из брюшенька!». Слыхал? Ну вот, Антон, вот... Я как-то встретил в тайге — два шкелета валяются: медвежачий да человеческий... Да... А возле них две змеи вьются... Может, это и есть души? А? Ну, я их придавил... Ха-ха... Нет, ты не спорь, Антон... Ты не спорь!..

Но Антон и не думал спорить... Он лежал в забытьи и бредил.

Снаружи завозился кто-то, замок щёлкнул, чуть приоткрылась дверь, и Кешкина волосатая рука просунула ведро.

— Нате-ка-те, пейте-ка-те... — грустно сказал Кешка и хлопнул дверь.

Лехман жадно прильнул к ведру. Напившись, нащупал в темноте мешок, намочил его холодной водою и обмотал голову Антона.

Очнулся Антон, воды попросил и, утолив жажду, долго крестился и шептал молитву.

Полечало у Лехмана на душе, лёг он в свой угол и весь насторожился, стараясь вникнуть в слова молитвы.

Но слов было мало, и слова были самые обычные, простые. Однако они резко впивались в душу Лехмана и куда-то её звали.

---

Лехман лежал с широко открытыми глазами, ему становилось страшно.

Антон уже громко вновь куёт горячие слова, вкладывая в голос всю силу своей тоски и веры, словно с живым, словно с Сущим говорит, стоящим возле:

— Неужели посмеёшься надо мной?.. Неужели обманешь, Господи?

Слышит Лехман: всё дрожит внутри. Чувствует: слёзы просятся.

Тихо сделалось в каморке. Только кузничик тикал-потрескивал в мшистом пазу серебряными молоточками.

— Антон, — наконец сказал Лехман, и голос его сорвался. — Антон!.. Хоша я никаких богов не признаю... Какой Бог? Ну, какой Бог? Я не верю... Одначе положи на упокой моей души, за Петра, земной поклон... — тяжело вздохнул Лехман и забарабанил пальцами по полу. — Меня не Лехманом, а Петром звать...

И твёрдо добавил:

— Я есть убивец...

Вновь настала тишина. В каморке сразу как-то по-особому сделалось жутко.

И вдруг затряслись стены от неистового рёва пробудившегося Ваньки:

— Тю-ю-ля!.. Тю-ю-ля!! Нас убивают... Нас убьют!..

Вскочил и Тюля. Взглянули друг на друга, на оторопевших Антона с Лехманом, завывли в голос.

Лехман шевельнулся и, напрягая зрение, уставился на них. Сердце его закипело нежданной жалостью: ему неотразимо захотелось сказать что-нибудь тёплое, захотелось обнять этих молодых парней и ободрить в тёмный час, но кто-то жадно держал оттаявшее чувство: всё осталось внутри, как заклятый клад. Мучительно сделалось. Лехман ещё раз порывисто шевельнулся, с силой ударил ногой в стену и, быстро отвернувшись, стал тонким чужим голосом покашливать и кричать.

А те двое, охваченные страхом, друг друга перебивая, словно боясь упустить время, громко каялись в грехах.

У Ваньки много тяжких грехов, но он выдумывал, не замечая сам и не напрягаясь, более тяжкие. У Тюли совесть чиста была, но и он, стараясь перекричать страх души, каялся:

— Я никого не убивал, а только что я — злодей, я — ворина, я — гнус... Ох, дедушка, ох, все мои товарищи...

— Дурачье! — овладев собою, властно бросил Лехман... — Надо быть, сладка вам была жисть? А?.. Мила?!

Антон тихо утешал:

---

— Я всё приму... Не печалуйтесь...

Ванька с Тюлей смолкли.

— Огонька хоть бы вздуть, — захныкав, попросил Ванька.

— Нету, милые, догорел огарок-то... — пожалел Антон и, когда стало тихо, как бы самому себе, с остановками, тяжело переводя дух, сказал:

— Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, зверья. Вот я не знаю, как они... То ли верёвкой задавят, то ли топором... Али из ружья... Из ружья оно бы лучше... А то вот я боюсь — топором... Лица-то его, зверя, боюсь, глаз-то... Как надбежит-то да замахнётся-то... Вот этого-то, зверино-го-то, пуще всего боюсь.

Ванька с Тюлей, едва дослушав до конца, вновь завыли страшным воем, и, как ни корил их Лехман, как ни ругал каморщик Кешка, стуча с улицы ногой в дверь, они, крепко обнявшись, ревели и ревели, пока их не свалил тяжкий болезненный сон.

## XXIII

Ночь была прохладная.

Караульный Кешка, тридцатилетний верзила парень, весь изрытый оспой, безбровый, безусый, зябко вздрагивал, сидя на завалинке. Надо бы на горку сбегать, с девками подурачиться, винишка с парнями дёрнуть, — но нельзя бузуев оставить, дядя Пров крутой наказ дал.

И Кешка лишь издали живёт в гульбе: весёлая горка маячит вправо у реки, и хоть не видно там народу, зато костры дразнят Кешкин недреманный взор манящими огнями, а песни с гармошкой и посвистом вздымают его душу к самым звёздам: он широко улыбается, ухарски вскидывает на левое ухо картуз и, мелко притоптывая ногами, гикает:

— Й-эх-ты...но-о-о...

Но Кешка чует: в лихом выкрике нет огня, нет задора, а злоба какая-то, ярь... Он враз смолкает, весёлая горка проваливается, глубокая наступает тишина. Озирается Кешка: кто-то сзади стоит за ним, нащёптывает о завтрашнем страшном дне. Вздрагивает Кешка, ёжится, руки в рукава глубоко заталкивает.

Знает Кешка, что завтрашний день наступит, что не сон это, а настоящее, всамделишное, но тут он ни при чём, мир его «приделил» сюда, против миру как... Да, может, ещё му-

---

жики утресь прочухаются, в ум войдут. А он, Кешка, бродяг жалеет, он всех бы их выпустил... Эвона как скулят... Ух ты, Господи!

Кешка проворно шарит дрожащей рукой вокруг себя, достаёт из крапивы холодную бутылку, жадными глотками допивает остаток вина и виновато покрывает:

— Ох, грехи...

И, чтоб согнать с плеч думы, набирает Кешка целые карманы камней, ставит на пень пустую бутылку и, отсчитав десять огромных, с прискоком, шагов, старательно швыряет камнями по голубому под луной стеклу.

Кешка загадал, что, если с пяти камней разобьёт бутылку — сбудется: знать, о весёлом загадал, старательно метит, не торопясь замахивается, кончик языка выставил и прикусил, а лицо уж радостным кроется задором. Но охмелевшая Кешкина рука пронесит, все камни расшвырял, новые, кряхтя, набирает, а сам думает:

«Эх, хорошо бы к Мошне слетать, ещё скляночку винишка добыть. Да к вдовухе закатиться бы... к толстомясой... к Тыкве...».

— Ловко ба... — вслух подтверждает Кешка.

Гвалт раздался на весёлой горе, ругань. Видно, парни из-за девок схлестнулись... Хо-хо!

Кешка рассыпал камни, опустил руки и, разинув рот, слушал.

В это время, крестясь и шаркая ногами, к нему дедушка Устин подошёл. Он еле на ногах держался, согнувшись чуть не до земли: в одной руке книга, в другой восковая свечка.

— Ты к каморке приставлен, Окентий? — спросил Устин и, охая, разогнул спину.

— Я самый...

— Вот что, сударик... — вплотную подошёл он к Кешке. — Как придут завтра к каморке мужики — живо за мной беги... Чуешь? А то я замаялся, от покойника иду, просплю, пожалуй... Такое дело...

Он положил руку на плечо растерявшегося Кешки, часто задышал и заговорил торопливо и трогательно:

— Ты, Кешка, батюшка, того... В случае чего, так... Они, бродяги, люди Божьи... Вот-вот... Такое дело...

Кешка хотел было во всём признаться Устину: «Эвон, мол, дедушка, как мир-то порешил», — но, вспомнив грозный наказ, прикусил язык.

А Устин, прижав ладонь к груди и потряхивая головой, тихо жаловался:

---

— Вот здесь у меня худо, в сердечушке... Душа у меня, Кеша, батюшка, истомилась, глядя на мужиков... Прямо зверьё... Грех один с ними... Да...

И загрозил Устин, и закричал:

— А не допущу... Нет!.. Отверчу змию голову!.. Да!

Кешке представилось, что не Устин, а он сам на мужиков кричит. Сжал кулачищи, крякнул и дико покосился на спящую деревню.

— А не послушают моего гласа — уйду... — ударил Устин об ладонь книгой. — Души же своей не омрачу и не опачкаю... Слово моё твёрдое... Знай!..

Опять Устин согнулся и пошёл к своей хибарке, так же шаркая большими сапогами и подгибая ноги.

Кешка, не двигаясь, смотрел ему вслед. Потом подошёл к бутылке, отшвырнул её носком сапога, вздохнул, попробовал затянуть песню, — язык не поворачивался, — плюнул, рукой махнул, — а ну их к ляду!.. — и, усевшись на землю, закурил трубку.

И не знал Кешка, за кем идти, кого слушать, не мог в толк взять, что именно требовал от него Устин. Жалеть бродяг... Ну как? Выпустить их, что ли? Вскочить на коня да в волость, что ли? Так, мол, и так... Где тут, разве успеешь? Путаясь в мыслях и недоумеая, он курил трубку за трубкой.

Стало ко сну клонить. Он, засыпая, видел то косоглазую вдовуху Тыкву, то огромного медведя, идущего с поднятой дубиной прямо на него, вскидывал тогда упавшую на грудь голову, тарасил сонливые глаза, беспокойно взглядывал на запор чижовки и опять поддавался дреме.

Всё спало крепким предутренним сном. Вся деревня, пьяная, праздничная, встревоженная смертью Бородулина, давно залезла в свои избы, зажмурилась, угарно забредила и с присвистом захрапела.

Даже там, на горке, умолкали и ругань и песни.

Слышит Кешка сквозь сон: верезжит где-то бегучий бабий голос. Открыл глаза, голову повернул в ту сторону, слушает. Катится по дороге голос отчаянный, визгливый:

— Я тебе покажу, жиган!.. Ах ты охальник... Ой, ма-а-а-мынька!

— Варька, ты?! — окликнул Кешка.

Но та не слышит, пьяно плачет и ругается с хрипом, плевками, самые непотребные слова сыплет, — не девичьи, не женские, не человечьи, смрадом от слов несёт, даже Кешке невтерпёж, сплюнул, — бежит, всё бежит, кривули выписывая по дороге, и на всю деревню воеет:

---

— Донесу, окаянный, донесу... Всё-о-о расскажу Прову, всё!.. Я те покажу, как коров резать... Змей!!! Змей!! А-а-а... С Танькой связался?! По роже меня хлестать? Помощь устраивать?! Ну, погоди ж, Сенька... Я те выучу... Ой, ма-а-мынька...

Ей вторили псы, заливаясь со дворов осипшими за день голосами.

Кешка лениво поскрёб бока, протяжно зевнул, потянулся.

Короткая летняя ночь уходила. Скрылись звёзды, померкла луна, а восток мало-помалу стал наливаться розовым светом. Белые, припавшие к земле туманы кутали всю долину речки, тянулись к тайге и чуть не до маковок застилали её белым тихим озером.

А вверху над туманами было ясно и радостно.

Огненная дорожка легла над туманами. Но солнце ещё не скоро раздвинет застывшие небеса.

Кешка равнодушен к расцвету зари. Его сон мутит.

Он сам себе сказал:

«Ага, светает... Значит, Кешка, спим...»

Лёг на рваный кусок войлока, скрючился, укрылся с головой тулупом и закрыл глаза.

В прибрежных кустах птицы пробудились, чирикнули раз другой, с зарёй поздоровались и рассыпались песнями. На речке закрикали утки, в тайге кукушка куковать принялась, где-то затянула иволга.

Кешка, засыпая, думал:

«Как бы не проспять... как бы Устина предупредить... Нет, Пров, врешь, брат... Тпррру... Не туда воротишь... Да, баба хорошая, баба ядрёная... Тыква-то... Кого?... Нет, я так... Не это... Убивать? Ага... Я Устина упрежу... Мы с ним, мы с ним... Да-а-а...»

— Ах, язвы те... клоп!

## XXIV

Солнца край показался над тайгой. А пьяная деревня спит.

Пров хоть поздно лёг, а уж на ногах. Бляху надел медную, к Федоту-лавочнику направляется, лицо угрюмое. Федот спит ещё, поднял Федота, всех в дому поднял:

— Время... солнце встало...

Солнце кверху плывет, туман изъедает — пропал туман.

Мужики, один за другим, — скрип да скрип воротами, — все к Федоту идут, таков уговор.

---

Порядком народу набралось, все хозяева явились. Плохо как-то у них, уныло. Все в пол глядят, глазами не встречаются. Головы трещат, лица припухли, носы ссажены, под глазами волдыри. Молча курят трубки, за встрёпанные головы хватаются, покашливают:

— Ну, дак как, ребята? — тряхнул бороною Пров.

Молчат. Цыган сказал:

— Мутит, кум... Чижало...

А уж Федот бочоночек на стол поставил, хозяйка студень подала.

— Ну-ка... Тресните... По махонькой...

Закрякали все, зашевелились, сплюнули. Водка у Федота добрая, не то что у Мошны, вон как обожгла, хо-х!..

— Я, значит, не в согласье... — сказал рябой мужик Лукьян, прожёвывая студень...

— И я... — буркнул Обабок.

— Как так не в согласье?! — Пров с Федотом враз крикнули.

— А так что мы не жалаим... Мы, значит, спьяну тогды... А вот пускай их в волость тащут... — сказал рябой.

— В волость?! — прикрикнул на него лавочник. — Тебе, голозадому, хорошо говорить-то... Да ить волость-то их выпустит... Чёрт... А ежели они сюда придут опять, да с отместкой? Нет, ребята... Это не дело. Я тоже своему добру хозяин. Они, варначё, за худым-то не постоят, у них рука не дрогнет... Эн, каких скотинушек у нас с Провом вывалили... Али опять же этого, как его... Кузьму ножом чкнули... А?! На-ка, выкушайте...

По другому стакашку прошлись, — водка хорошая, холодная.

Пров резоны свои повёл:

— Вот ты, Лукьян, ляпнул, а не подумал... А ещё кум тоже называешься... А ты вот меня не пожалел... Дочь мою, Анну, не пожалел... Ведь кто её улестил-то? Ведь из их же шайки, разве он — политик? Какой он, к чёртовой матери, политик?! Вор...

— Ну-ка, чебурахни, робятки...

По третьему выпили.

— Ну, дык чего, мужики... — прогнусил безносый мужичонок, откидывая левую ногу и подбочениваясь. — Эна как их измолотили, куды их, разве до волости мыслимо? Ха!.. Где тут...

Загалдели мужики, распоясались, румяные сидят, вино в головы бросилось, замутило разум.

Пров твёрдо говорит, рубит каждое слово топором:

---

— Этих варнаков-то, бузуев-то... чего их жалеть... Они кто? Тьфу — вот кто... Они, собаки, в Расее людей режут, а их сюда? Пошто так-то... Разве дело? А?.. Чтоб нашу сторону гадить?! А?! Нет, врѣшь! Это не закон... Это глупость! Нам не надо, чтобы пакостить... Вот поймали, ну куда их? Как по-вашему, а?.. Опять в Расею?.. Видали там их, сволочей таких... Ну, куда ж их, гадов?..

— Айда! — взревел Обабок. — Кашу слопал, чашку об пол! Айда!..

— Всем миром, робята, штобы ни гу-гу... Собча штобы...

— Вперёд острастка... — поддавал Федот жару.

— За сто вёрст штоб бузуи к нам не подходили, штоб помнили.

— Мы им покажем!.. Язвы их!..

— Ого-го-о-о!..

— Натё-ка, выкушайте для храбрости...

— Ну, ребята, а ежели Устин...

— Устин?!

И все примолкли.

— Пускай он в наше дело не вяжется! — первый закричал Цыган и сквозь зубы сплюнул.

— А-а... Святоша?.. В отцы-праотцы лезть? Врѣшь! — как из бочки ухнул Обабок и, покачиваясь, долго грозил кому-то обвязанным тряпкой пальцем.

— Что ж Устин... Устин сам по себе, — сказал лавочник Федот, — он богомол...

— Богомол?! — привскочил Обабок и опять сел. — Знаем мы! Нет, ты заодно с миром грѣши... Ежели ты есть настоящий... Ежели ты, скажем, богомол... Дура! Вот он кто, ваш Устин... Поп! Вот он кто... Ха-ха... Нет, врѣшь, ты не при супротив миру... не при... Куда мир, туда ты... Дело... А он что?.. Тьфу!

И Обабок неожиданно ткнул в толстый живот Федота:

— Ты! Кровопивец! Дайко-сь скорей стакан вина... Душа горит...

Пров Обабку приказал созвать парней да подводы нарядить, а то народу мало: надо бродяг подальше от Кедровки увезти, надо Андрюшку-шпану разыскать, надо Бородулина тащить в село.

Пров сердитый: проспали мужики. Следовало б до свету справить, без шума, потихонечку, а теперь вся деревня на ногах: мальчишки оравой по улице ходят, чего-то ждут.

— Шишь вы, дьяволята! — гаркнул Обабок и, схватив палку, погнался за ними.

Только пыль взвилась.

---

## XXV

Мужики ватагой подошли к чижовке и молча расселись на земле.

— Кешка! — крикнул Пров, обходя чижовку.

Кешка у брёвен спал. Вскочил, измятым лицом на солнце уставился и, вспомнив всё, обернулся к мужикам.

— Ты так-то караулишь?! Отворяй!..

— А вам пошто? — переспросил он, робко подходя к мужикам.

Кто-то захохотал... Кто-то выругался. С земли подыматься начали.

— Это не дело, мир честной... — задыхаясь, сказал Кешка. — Они люди незащитные... Нешто можно?..

— Да ты что, падло... Где ключ?!

— Я не дам! — закричал Кешка сдавленным голосом. — Я Устину скажу... — И, то сжимая, то разжимая кулаки, весь ошетинился, грозно загородив широкой спиною дверь. — Лучше не грешу...

Мужики опешили. Кешка тяжело дышал, раздувая ноздри.

— Они всю ночь выли... Поди жаль ведь... Черти...

Кешка вдруг скривил рот, замигал, отвернулся и, быстро нахлобучив картуз, стал тереть огромным кулаком глаза.

Словно по команде налетели на него Мишка Ухорез с Сенькой Козырем, сшибли с ног, притиснули, Цыган живо ключ отнял.

— Устин!.. Усти-и-ин!.. Дедушка! — барахтаясь, кричал Кешка.

Звякнул замок, заскрипела дверь.

— Тащи его... — сердито зыкнул Пров и добродушно сказал, обращаясь к стоявшим в оцепенении бродягам: — Выходи, ребята, на улку...

Те сразу очутились в жадном, молчаливом людском кольце.

С остервеневшим Кешкой едва пять мужиков справились, бросили его в каталажку, заперли дверь. Он все кулаки отбил, скобку оторвал, того гляди дверь вышибет, грозит, ругается:

— Удавлюсь!!

Толпа хохочет, острит, и про бродяг забыла.

— Вот, Кешка, и ты в копчег попал...

— Не ори!.. Эн Тыква идёт... Постой давиться-то...

Много народу собралось. Бабы поодаль стоят, шепчутся, девок мало — спят ещё, парни, почти прямо с гулянки, среди

---

мужиков жмутся, позёвывают, клюют носом, детишки возле матерей на цыпочки подымаются, вытягивая шеи, на руки к матерям просят.

Вся крыша чижовки, как поле цветами, усеяна ребятами.

Федота нет, ему некогда, на пашню укатил. Бродяги на колени опустили: только Лехман, выше всех среди толпы, столбом стоит, угрюмо смотрит в землю.

— Люди добрые... — тихо начинает Антон.

— Чуть жив... Осподи... — причмокивают бабы и качают головами.

— Смилуйтесь, люди добрые... Пожалейте...

И всё время, пока он говорит, Ванька Свистопляс, стоя на коленях и широко опершись ладонями в землю, то и дело бухается в ноги мужикам и тихо, без слов, скулит...

— Пойдём, ребята!.. — громко сказал бродягам Пров. — Нечего тут...

Толпа утихла.

— Вставай! — приказал Пров.

— Люди добрые!.. — взмолил Антон. — Меня казните, их не трогайте... Мой грех... Я всё напакостил...

— Ты?! — крикнул Крысан и вылез из толпы. — И моего мальчика ножом пырнул ты?!

— Ну, я... ну... — уронил Антон.

Крысан так крепко стиснул зубы, что чёрная бородёнка хохолком вперёд подалась, а скулы заходили желваками.

— Вон лесовик-то стоит!.. Орясина-то!.. Вон кто... Бей его, ребята!!

— Стой! — схватил Пров за ворот Крысана. — Не лезь!.. Мы сами разберём.

— Дурачьё... Чалдоны... — презрительно прогудел Лехман и ударил по толпе взглядом.

Сенька с Мишкой — два друга — с кулаками подлетают, громче всех орут:

— Они, варнаки, и коров перерезали... Не иначе!

На Прова напирает возбуждённая толпа.

— Стой! Сдай назад!.. Черти!

— А-а-а... Заступник?..

Бабы от перепуга к месту приросли. Толпа напирает и гудит. Кто-то пальцы в рот вложил и оглушительно свистнул.

— Бей их!

Тюля отчаянно взвыл, Лехмана к земле за штанину тянет:

— Дедка, проси... Дедка, на колени...

Пров охрип:

— Сдай, тебе говорят!!!

---

Но голоса пьяно ревели:

— Расшибём!

Улюлюкали, кулаки сжимались, глаза метали молнии, всё ходило ходуном.

И вдруг толпа враз грянула ядрёным, зычным хохотом и утонувшими в смехе глазами унизала неожиданно кувырнувшегося рыжего Обабка.

Обабок, ко всему равнодушный, стоял пред этим смирённо-хонько рядом с Провом и, мечтая о бутылочке, только что потянулся и сладко позевнул, а какой-то парнишка, наметив с крыши в Лехмана, как трахнет невзначай в широко разинутый Обабков рот липкой грязью. Обабок на аршин припрыгнул и, дико выпучив глаза, шлёпнулся задом наземь:

— Тьфу!!

Заливалась толпа, буйно звенела на крыше детвора, хохотали бабы, девки, Пров, хохотал бежавший по дороге весёлый звонарь Тимоха, даже у Тюли смешливо заходили под глазами фонари.

А сидевший на земле Обабок усиленно плевал, отдирая грязь из рыжей бороды и по-медвежьи рывкал:

— От так вдарил!.. Язви те..

Не дал Пров остыть смеху, замахал руками, закричал снисходительно строгим голосом, чуть улыбаясь:

— Ну, молодцы, расходишь, расходишь!.. С Богом по домам... Бабы, девки, проваливай!..

Бродяги поднялись и глядели с надеждой на Прова.

Когда угасла последняя смешинка, опять окаменело сердце Прова, строгое, тёмное, мозолистое. Угрюмо вскидываясь взглядом на разбредавшихся баб, Пров чуял, как набухает злобой его сердце:

«Три белые, последние... Ну, погоди-и-и!».

И, когда поредела толпа, Пров отвёл в сторону Цыгана да Сеньку Козыря и долго им что-то наговаривал, указывая вдаль: крутой наказ дал. Ещё двоих отвёл.

— Ну, так счастливо, ребята... Айда!..

— Айда! — крикнул басом оправившийся Обабок и под злым взглядом Прова зашагал к своей избе.

Повели бродяг пять мужиков.

А за ними следом другая компания пошла — Андрея разыскивать, что у Бородулина деньги утянул; его, варнака, надо изымать обязательно: он из Бородулина душу вышиб... Какой он, к лешевой матери, политик... Вор!

Про Кешку и забыли. Он орёт в чижовке, но глухо, плохо слышно, Тимоху кличет:

---

— Где ты, дьявол, кружишься?! Живой ногой к Устину... Живо, сек твою век!..

— А подь ты к... — огрызается тот, скаля зубы. — Я лучше с парнишками в городки побьюсь...

Бабы только до весёлой горки дошли.

Ребятёнок едва прогнали.

А карапузик Митька хитростью взял, к речке спрыгнул, бежит у воды, его не видать. Бежит-бежит да наверх выскочит, а как в лес вошли, по-за деревьями прячется, — одна штанишка со вчерашнего дня засучена, другая землю метёт.

Староста Пров, отправив бродяг, решил остаться дома и медленно пошёл по улице. Но чем ближе к дому, ноги быстрее несут, — мысли подгоняют их, мысли быстро заработали. И, уж не замечая встречных, вбежал Пров в свою кладовку, дробовик сорвал с крючка, — вот хорошо, Матрёна не заметила, — да по задворкам, крадучись, назад.

Когда бежал мимо Федотовых задов, слышит — мужики галдят, вином угощаются.

«Разве тяпнуть для храбрости? Нет, дуй, не стой... Лупи без передыху...»

## XXVI

Бродяги со скрученными руками шли тихо.

— Куда же вы нас ведёте? — спросил Лехман.

— В волость.

Ваньке Свистоплясу в свалке, вместе с ухом, ногу повредили.

Идёт Ванька, прихрамывает, ступать очень больно. Стонет.

Тюля бодро шагал бы, если б не беда: гирями беда нависла, гнёт к земле, горбит. Левый глаз совсем запух, закрылся, а правый — щелочкой выглядывает из багрового подтёка; как слепой идёт Тюля, голову боком поставил.

Антону рук не связали, уважили:

— У меня, милые, бок повреждён...

Он нёс узелок с новыми своими сапогами. Под глазами чёрные тени пали, щёки провалились, без шапки идёт, волосы прилипли ко лбу, ворот расстёгнут, на голой груди — гайтан с крестом.

Солнце подымается, ласкает утренний тихий воздух — теплом по земле стелется.

---

Полям идут — цветами поле убрано, — прощайте, цветы!  
Медленно движутся: путь труден.

Не разговаривают, не советуются, а близко чувствуют друг друга, души их в одну слились. Так легче: не один — вчетвером беду несут.

Черёмуховой зарослью идут — черёмуха белым-бела. Воздухом не надышишься, до того сладостен и приятен запах.

Тайгою идут — хорошо в тайге. Стоит молчаливая, призадумавшись, точно храм, Божий дом, ароматный дым от лада на плавает.

Вот и зелёная лужайка, вся в солнце: хорошо бы чайку попить.

— Хорошо бы, Тюля... — силится пошутить Лехман.

— Славно ба, — на полуслове понял Тюля.

Лехман шагает крупно, в груди у него хрипит, согнулся, лицо тёмное. Версты полторы от деревни прошли, немоща опять настигла. Нет сил идти.

В конвоиры к бродягам Крысан прилип.

Все мужики как мужики: идут, смеиваются. Цыган бутылку вина из плисовых штанов вытащил, отпил, другому передал, третьему; только Крысан молча идёт, нахлобучив на брови зимнюю свою, с наушниками, шапку, за щеками сердитые желваки бегают, зубы стиснуты, глаза рысьи, оловянные, жрут бродяг неистово. Молчком идёт, чуть поодаль, ружьё у него за плечами хорошее, называется «турка», медвежье.

— Развяжите нас, пожалуйста... Комар поедом ест...

Мужики не ответили. Бродяги мотали головами, но комары жадно пили кровь.

Только до «росстани» дошли, до «крестов», где дороги таёжные пересеклись, глядят — телега тарахтит. Заимочник Науменко, бывший каторжник, домой едет, корьё везёт.

— Куда, робяты?

— Да вот... бузуев... А вино у тебя есть?

— Есть... Вот дойдёте до заимки — угощу.

Когда подошли к заимке, Крысан спросил:

— А нет ли у тебя, Науменко, лопаты хорошей али двух?

— Зачем?

— Бузуев закапывать... — пробурчал Крысан.

У Науменко бородатое лицо сразу вытянулось:

— Да что-о-о вы это, робята...

А бродяг бросило в дрожь.

Конвоиры вошли в избу. Каторжник Науменко подошёл к бродягам:

— Бегите, братцы, скорейча... Я развяжу...

---

— Нет, — сказал Лехман. — Нам всё одно подыхать... У нас все кости перебиты... — Губы его дрожали, брови то лезли вверх, то падали.

Мужики, выпив по стакану, вышли и собрались в путь.

Как ни отказывался Науменко идти с ними, силком принудили.

— Будешь перечить — всё твоё жительство спалим! — пригрозил Крысан. — Всей деревней придём...

Науменко скрепя сердце на своей лошадёнке опять вслед плёлся и выпытывал у братанов Власовых, в чём вина бродяг.

Антон шёл, бессмысленно озираясь, и ему хотелось громко, на всю тайгу, заголосить или вскинуть вверх голову и завывать диким звериным воем.

А Ванька Свистопляс с Тюлей готовы были броситься пред мужиками, целовать им ноги и молить о пощаде и милости.

Только у Лехмана своя была дума, упрямая. Ей некуда разгуляться: в стену уперлась и бесповоротно встала.

— Бей наповал!!! — неожиданно крикнул он и враз остановился.

Сзади грянул выстрел: «турка», ружье медвежиное, грохнуло на всю тайгу и раскатилось.

— Ой, ты!! — дико взвыли братаны Власовы.

Бродяги помертвели.

А Лехман назад посунулся, потом пал на четвереньки и страшно закатил глаза. Орошая пыль кровью из простреленной ноги, он ползал по дороге и сквозь стоны сёк подошедшего Крысана:

— Подлец ты, а не стрелок... Гадюка...

— Замолчь, шволочь! — взмахнул Крысан прикладом. — Убью...

— Что ты, собака!.. — сгрёб его Науменко.

— Удди, дьява-а-л! — рванулся Крысан.

Он весь был в злобе: захлёбываясь, дышал и свирепо таращил глаза и на Науменко, и на оторопевших братанов Власовых.

Цыган далеко впереди лесом шёл, песни орал. Как услышал выстрел, выскочил на опушку и, проверив бродяг взглядом, крикнул:

— Кого?!

Братаны Власовы, высокие, белобрысые, в чёрных запоясанных армяках, Лехмана на телегу положили. Они мужики смирные: им бы без оглядки домой бежать, да против миру нельзя!

---

А мальчонка Митька что есть духу полетел домой, в Кедровку, и, вытаращив глаза, хрипло, чужим голосом ревел:

— Уй... уй... уй!..

— Ах ты гнида! Хватай его! — пугал Цыган, притоптывая на месте.

Но тот бежал, не оглядываясь, поддёргивал на ходу штаншки и не переставая выл.

Андрей очнулся и открыл глаза. Над ним голубело небо. Он осторожно приподнялся на локтях и, крадучись, огляделся. Тихо было, кругом кусты, внизу переливалась вода.

— Ловко... вот это ловко... — криво ухмыльнулся Андрей и закусил вдруг запрыгавшие губы. — Фу, чё-орт..

Он опять лёг и закрыл глаза. Долго лежал так, ни о чём не думая, в каком-то полусне.

— Нет, погоди... — сорвалось у него. Он быстро сел. — Ещё не всё кончено... Да... — Его голос дрожал, срывался, был болезненным и рыхлым.

Андрей крепко сомкнул кисти рук и уставился в одну точку. Он старался сосредоточиться на пережитом. Но всё только что происшедшее, такое дикое и непонятное, куда-то отхлынуло и померкло.

«Что это значит? Где Анна? Где Бородулин? — пытался Андрей повернуть думы и подчинить их себе, но тут же всплывало ненужное: — Надо сапоги новые... хорошо я срезал белку...» — и затуманивало главное: как быть, что делать?

«Надо разыскать Прова», — твёрдо сказал Андрей, пытаюсь представить себе отца Анны: он никогда не видал его. Но мысль, не дав ростков, лениво затихала.

Андрей поднялся и, откинув чуб, вышел на поляну.

А в это время жадно уставились на него два человечьи глаза.

Андрей, учуяв, круто повернулся: у опушки, невдалеке от него, стоял мужик.

— Эй, дядя! — крикнул Андрей. — Проведи меня к старосте... Я политический... Из Назимова..

— А-а-а, — остолбенев на миг, протянул Пров. — Так это ты, змей?.. — Он вскинул ружьё, подбежал поближе и прицелился.

Андрей стоял неподвижно: ноги не повиновались, и пропал голос.

Но какая-то сила ударила в душу Прова, зарябило в глазах, ружьё закачалось, опустились руки.

— Отвела, Заступница, — выдохнул Пров, перекрестился и подошёл к Андрею.

---

Тот поднял на него глаза и достал горящим взглядом до самого его сердца.

— Ну, вот... я один... Бей! Стреляй...

Пров разинул рот и не знал, что делать.

— Дочь моя... Анна... Эх, брат-брат...

Андрей покачнулся.

— Пров?.. Пров Михалыч?! — и сразу почувствовал, что ему не хватает воздуха.

— На-ко, оболوکись... — сказал, засопев, Пров, снял армяк и бросил к ногам Андрея.

## XXVII

Варька вдруг вскочила и только начала Анну будить, как отворилась дверь.

— Варюха, Сенька по тебя прислал, требует тебя, — пропищал белоголовый Оньша, братишка Сеньки Козыря.

Варька с кулаками бросилась к парнишке:

— Убирайся, дьяволёнок, покуда цел!.. Я ему ништо!.. Тре-е-бо-вал... Вот я чичас мужикам всё обскажу... Живорез он... Живорез!

Парнишка выскочил, захлопнул дверь, опять чуть приоткрыл, крикнул:

— Потаску-у-ха!.. — и метнулся вниз по лестнице...

— Ты что? — встревожилась проснувшаяся Анна.

Варька стоит, опершись о печку локтем, и тяжело дышит.

— И батька-то твой, Пров-то Михалыч, хорош... — сквозь слёзы выкрикивает она. — Эн бузуев кончить порешил... На что похоже? Псы этикие... Варнаки...

Анна сразу всё поняла, быстро оделась и, слова не сказав Варьке, побежала домой.

А Варька опаматовалась. Девичьи глаза Таньку видят, разлучницу. Щёки вспыхивают, белеют и вновь загораются, словно тяжёлая Сенькина рука раз за разом бьёт по её лицу.

На голоса путь свой правит Варька, торопится, как бы Сенька не настиг, бегом припустилась и, не помня себя, вбежала в Федотов двор.

А в Федотовом дворе — веселье. Мужики кричат, хохочут, в ладоши бьют:

— Оп!.. Оп!.. Оп!.. Ай да молодка... Наяривай, Обабок... Не подгадь...

---

Пьяный Обабок в валяных сапогах возле назимовской Даши пляшет, а та, вся в алых кумачах, дробно пристукивая полусапожками, топчется, шутливо ударяя платком по плечу Обабка, и покрикивает:

— Ой, да и чего же мне не гулять!..

Вспотевший Обабок задохнулся, — валенки ходу не дают — мужики хохочут пуще...

— На, Обабок, клюнь... Выкушай!..

Обабок водку тянет, а возле Дарьи уже двое других плясунов роют каблуками землю.

— Варька, иди, становись в круг..

Та, высмотрев Федота, к нему направилась, а хмельная Даша — к ней.

— Ой, девонька... Весело-то мне как... Гуляй знай, солдатка... Мужняя жена... Гуляй!.. Поминай Бородулина!..

Она вдруг заплакала и, плача, стала целовать Варьку, а та, вырываясь, кричала мужикам:

— Вот что, хрещёные... Вы пошто бузуюв убивать повели?

— Жисть свою пропиваю! — взвизгивала Даша.

— Они тут ни при чём... Это Сенька-жиган!..

— Плюй мне, девонька, в глаза!

— Он коров всех перерезал... Сенька...

Но мужики ничего не понимают, — Федот пьяней вина, — меж собою ссору завели.

Даша плачет:

— Ой, нехорошо... Головушка скружилась.

Варька Федоту в самые уши кричит:

— Дяденька Федот, спосылай мужиков-то! Пусть вернут... Долго ль на лошади... Это што ж тако, Господи...

— Варька?.. Эй, Варька!.. — Обабок к ней подходит. — Нака, тяпни... Плюнь Сеньке в рыло... Во-от...

— Да, дяденька Обабок...

— Пей!..

— Варька... Варва-а-рушка... Пляши!.. — окружили мужики.

— Даша... Дарья Митревна... Пригубь...

— Эх, молодайки... Ай-ха!..

— Бузуюв-то... Ради Христа...

— Бузуям — смерть!

Тогда Варька, обругав по-мужицки пьяных, вырвалась из угарного кольца и побежала к Прову.

А навстречу ей Анна, простоволосая, на бородулинском коне скачет:

— Варька, беги скорей к Устину... Я за тяткой... Я их наздогоню!.. — и скрылась в прогоне.

---

Дедушка Устин давно уже на ногах, по хозяйству управляет-ся: бабы нет, один. Всё Кешку ждал. Нет Кешки — сам пошёл.

На улице ни души. Только мальчишки кричали ему:

— Бузуев-то увели, дедка...

Устин — бегом, на ходу разулся, сапоги далеко от себя швырнул. Варька встретилась:

— Дедушка, родимый...

Устин дико уставился на трясущуюся Варьку.

Потом вдруг круто повернул и проворно, по-молодому, будто живой воды хлебнул, побежал вдоль улицы.

— Айда! — крикнул он Тимохе и махнул рукой. — Бей сполох... Да шибче... Со всей силы чтоб!..

Тимоха вскочил, огляделся кругом, глуповато улыбнулся и, гогоча во всё горло, припустился к часовне.

А дедушка Устин в край деревни к своей избушке бросился.

— Нет, стой, хрещёные... Я вас возворочу...

## XXVIII

— А не уволите ли вы нас, ребята? — на ходу робко спросили Власовы.

— Хе! — по-собачьи оскалил белые зубы Цыган. — Вы очень даже хитропузые... Я вас так уволю, что...

Власовы прикусили языки.

Науменко остановил лошадь:

— Привстань-ка, старичок... — и подложил под простреленную, в крови, ногу Лехмана свой армяк.

Лехман застонал, пристально поглядел в глаза Науменко и сказал:

— Пить.

Тот достал из передка туесок с квасом.

— Эй, ты! Цыть!

— Да ну-у, Крысан... Чего ты, всамделе... — уговаривал Науменко.

— Им всё одно крышка!..

— Ну, я им заместо попа буду... Дозволь, пожалуста... вроде как причащу... — И Науменко горько улыбнулся.

Цыган захохотал. Бродяги жадно пили квас.

Науменко опять стал просить мужиков:

— Ребята, вы идите с Богом домой, а мы вот с товарищем — тут недалече живём — запряжём коней да доставим людей-то в волость...

---

— В воло-о-ость?! — ехидно протянул Крысан и весь задёргался. — А оттуда куда? Не в Расею же... Уж их тут, в Сибири-то, сколь побито?.. Си-и-ла... — и желваки за щеками быстро заходили.

— Грешите, дьяволы, одни! — с сердцем бросил вожжи Науменко.

— А это видел?! — загремел Цыган, выхватив из-за пояса топор.

Заскрипела телега. Опять пошли.

Тюля был крепче всех: его не топтали сапогами, как Ваньку и Антона... И потому, что много ещё было непочатой силы в Тюле, ему неотразимо хотелось жить.

Страх исчез в Тюле, и подбитые глаза его дерзко шупали лохматую стену тайги.

Но Крысан зорко смотрит, чует, должно быть, его намерение, по пятам идёт, сверлит глазами спину.

Зло берет Тюлю.

— Ты не шибко на тайгу-то пялься... — поравнявшись с ним, скрипит Крысан и хихикает.

У Тюли сжался кулак, он хотел с размаху ударить Крысана в висок, но сдержался, а левая нога его сладко ощутила лежащий за голенищем нож.

— Не сумлевайся, — бросает он Крысану, стараясь пропустить его вперёд, но тот, дав Тюле тумака, сквозь зубы цедит:

— Наддай шагу...

Тюле это нипочём, широко про себя улыбается улыбкой тайной: в мыслях он уже давно по тайге дешёвым скоком носится, давно на своей воле живёт... Ух ты...

У Ваньки Свистопляса всё тело ноет, ресницы дрёма смыкает. Идет или неидёт Ванька, жив или помер — не знает, не хочет, не может знать. Голоса спорят о чём-то, ругаются. Чуть приоткрыл глаза: скрипит телега, на ней Лехман, возле Лехмана, скрючившись, Антон. Телега скрипит, на телеге Лехман... Стонет... Слипаются у Ваньки ресницы... Вздогнул, осмотрелся, ноги сами собой идут, в кустах корова рыжая... нет, чёрная...

«Корова... корова...» — и вдруг, точно толкнул кто в спину, посунулся быстро носом и упал.

— Тпруу! — гаркнул Цыган. — Окривел, чёрт?

— Вали, Цыган... Время... — снимая с плеча ружьё, сказал Крысан, и все засуетились.

Ванька вмиг потом облился, и лицо его потемнело.

— От так штука, язви те... — сказал Крысан, шаря карманы. — У тебя пули есть?

---

— Нету, — ответил Цыган.

— Тьфу!.. — Крысан позеленел: у него всего две пули — мало.

— У тебя «турка» добрая, — сказал Цыган, — она двоих прошьёт..

У Крысана дрожали руки. Запавшие рысьи глаза его о чём-то думали, решали. Крысан вздохнул.

— Ребята, хотите покурить? — предложил Цыган.

— Дай-ка, дяденька, скорей... дай!.. — Ванька Свистопляс, глотая слюни, подкатился подхалимом к Цыгану и сладко взглянул в глаза.

И мелькнула у Ваньки мысль: разжалобить хмельных мужиков, умолить, укланяться, умаслить.

— Дяденька... Цыганушко...

Ванька жадно затянулся трубкой. Он три дня не курил: голова у него сразу закружилась, запрыгала тайга, всё поплыло мимо и закачалось.

Антон вытащил из-за пазухи бумажку.

— Вот тут, значит, адрес... Отпишите, ради Христа, уведомьте. Доченька моя там... Так, мол, и так... Кончился... От болезни, мол, от тифу...

— Ладно, отпишем... — буркнул Крысан. Он поднёс к раскосым своим глазам бумажку и, разорвав её на клочья, втоптал в землю. У Антона лицо сморщилось и задрожало.

— Ай! — вдруг крикнул Крысан и вскочил. — Ребята!!

С треском и шумом Тюля в тайгу ринулся.

— Лови, лови!!

Засовались взад-вперёд.

— Живо — догоняй!..

Крысан прицелился на удаляющийся хруст и оглушил всех выстрелом.

— Догоня-а-а-й!..

Братаны Власовы с Науменко схватили лопаты и радостно бросились в тайгу, домой.

А Тюля, как заяц, перекувырнулся через голову и с хриплым рёвом пополз в кусты.

— Зацепило! Зацепило! — яростно выл Крысан, настигая Тюлю.

Провалившись в какую-то берлогу, Тюля перевернулся на спину, подтянул к животу скрюченные ноги и взмахивал отчаянно руками.

— Не тро-о-г! Я расейский!.. Я в ножки поклонюсь...

Сорвавшись вниз, Крысан медведем насел на раненого Тюлю. Тот, обливаясь кровью, крепко облапил Крысана и, но-

---

рова вывернуться, занёс над ним нож. Крысан схватился за лезвие ножа, грыз зубами кисть Тюлиной руки. И оба, словно бешеные волки, схлестнувшись и яро рыча, клубком катались по земле.

Ещё немного, и Тюля, почуяв смерть, жутко завизжал.

— Ты — расейский?! — прошипел Крысан, отбросив нож, и, поднявшись, как змея на хвосте, мёртвой хваткой впился в горло захрипевшего Тюли.

Ошеломлённые Антон и Ванька приросли к земле.

— Ну, как?! — нетерпеливо крикнул Цыган вышедшему из леса Крысану. Тот нетвёрдо шёл, прихрамывая и суча локтями, а челюсти его жадно чавкали, словно наскоро перегрызли кость.

— Устукал, нет?

— Готовый... — буркнул Крысан и перевёл дух.

Антон перекрестился, Ванька, скривив рот, заморгал глазами, а Лехман кашлянул и шевельнулся.

— Станови их всех в ряд... — пропавшим, лающим голосом прохрипел Крысан, отёр о траву замазанные кровью, изрезанные руки и стал, весь дёргаясь, суетливо заряжать ружьё.

— Надо двоих, — сказал Цыган и решительными шагами подошёл к Антону. — Иди-ка вот сюда...

Ноги у Антона со страху подгибались.

Цыган подхватил его под мышки и поволок к сосне.

— Стой правильно...

Крысан вязал Ваньку, приговаривая:

— А то и ты, сволочь такая... того гляди, что...

Потом взяли Лехмана и поднесли к Антону. Антон не мог стоять. Он сидел под сосной, крестился и шевелил белыми губами.

Подняли Антона на ноги, вновь прислонили спиной к сосне и плотную к нему приставили Лехмана. Огромный Лехман совсем заслонил собою щуплого Антона.

Крысан стал прикручивать вожжами к дереву это двойное человеческое тело. Лехман с ненавистью плюнул в ненавистные раскосые глаза Крысана. Тот размахнулся и, крякнув, ударил старика в нос.

— Хор-рош молодчик... — боднул головой Лехман; из разбитого носа побежала кровь.

Солнце светило вовсю. Вблизи куковала кукушка. Набравший ветерок прошумел вершинами и осыпал голову Лехмана золотыми иглами хвой.

Вдруг лошадь посмотрела назад, поводила ушами и заржала.

---

Цыган крикнул:

— Защурься, старик!

А Крысан взвёл курок. Ванька в страхе опрокинулся вниз лицом и по-бабьи заголосил.

— Прощай, белый свет... простите, братцы... Спасибо... — громко, отчётливо сказал мужикам Лехман. Он повернул назад голову, тронул локтем стоявшего сзади полумёртвого Антона и простился с ним дрожащим, в слезах, голосом: — Антонущка, голубь, прощай... Прощай, товарищ милый.

Грохнул выстрел. Лехман клюнул носом, точно его по затылку ударили. Ещё раз боднул головой, ещё раз... пожевал губами, и голова его низко упала на грудь.

Цыган с Крысаном подбежали к Лехману.

— В сердце... — хладнокровно сказал Крысан.

Когда развязали вожжи и отбросили тело Лехмана, Антон тоже упал.

— Этого не потрогало... — сказал Цыган, осматривая грудь лежавшего в обмороке Антона. — В том, окаянная, засела, в старике.

— Да-кошь скорей топор... Али сам долбани...

— Вали ты... А я эту пропастину-то ахну, — покосился Цыган на Ваньку и выворотил из земли огромный камнище.

— Ну, шпана чёртова, подставляй башку!

Вдруг, едва не стоптав их, примчалась на коне Анна.

Сразу, молча, соскочив с лошади, к Лехману с Антоном подбежала:

— Мать, Владычица...

В руках у неё жилетка, в тайге нашла, Андрея жилетка рваная.

Размахнулась Анна и со всех сил хлестнула Цыгана жилеткой по лицу. От внезапного удара жутких глаз Анны Цыган упал.

— Ой, ты! Оставь... Оставь... — бормотал он и полз по земле, заслоняясь рукой.

Губы Анны прыгали. В гневе, вмиг к Крысану обернулась.

— Убегай!! — взвыл Цыган... — Бешеная... Изъест!! Ой, ты!

Крысан, выбросив навстречу Анне руки, быстро пятился к тайге и, ошеломленный, хрипел:

— Анна Провна... Что ты, что ты... Аннушка! — и, метнувшись вбок, стремглав кинулся под гору.

Анна пошатнулась, запрокинула с растрёпанными косами простоволосую голову, схватилась за виски и так мучительно и страшно застонала, что Ванька Свистопляс, испугавшись, крикнул:

---

— Умница! Умница...

— Ой, кровушка моя... — Анна перегнулась вся, повалилась на землю и дико захохотала-заплакала.

Ванька с открытым ртом, весь в поту, скакал к ней связанными ногами:

— Умница... Умница!.. Очкнись!

## XXIX

Глуповато улыбаясь, Тимоха бьёт сполох. Колокол гудит, колокол один за другим упруго отбрасывает звенящие удары, торопливо гонит их во все стороны и медным горохом дробно рассыпает по тайге. На краю деревни горела изба Устина.

— Тащи, ребята, топоры! — пьяно шумел народ.

— Топоры-ы-ы...

— Сади бревном...

— Бревно! Бревно-о-о...

Обабок охрипшим голосом кричал:

— Где дедка Устин?.. Где он?.. — и лез в огонь.

Его схватывали и отбрасывали прочь.

— Ай-ха!.. — гремел Обабок и снова лез.

Но избёнка уж догорала.

А Устин в это время был в часовне. Он стоял перед иконой и молился.

— Матушка, помоги... Заступница, помоги...

Много лет старому Устину, а никогда так не плакал.

Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако такой чёрной беды сроду не было. Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик! Кто за деревню будет Богу ответ держать? Он, Устин...

— Заступница, отведи грозу... Иверская наша помощница...

Настали, знать, последние времена. Колесом пошла деревня. Пойло окаянное, винище, всему голова. Хоть густа тайга, бездорожна, а прикатилось-таки это лешево пойло и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце опоило зельем. А солнышка-то нет, темно.

И Устин падает ниц и, плача, долго лежит так, громко печалуясь Богородице:

— Утихомирь, возвори мужиков. Постарайся гля миру, гля руськова... Не подымусь, покуль не тово, не этово... Ежели ты, Пресвятая, о нас не похлопочешь, кто ж тогда? Ну, кто?.. Ты только подумай, Владычица... Утулима Божжа Мать...

---

Много Устин чувствует своим мужичьим сердцем, но словами душа его бедна.

А Тимоха яро бьёт тут же, за стеною, в колокол. Колокол гудит, шумит пьяная толпа у потухшего пожара, и, слыша всё это, старый Устин, весь просветлённый, снова начинает со всей страстью и упованием молиться.

Слышит Устин: придвинулся к часовне рёв, а Тимохин колокол умолк.

— Эй, выходи-ко ты... Эй, Устин?!

— Вылазь!..

— А-а-а... Деревню поджигать?!

Вышел к ним Устин твёрдо. Остановился на крылечке, одёрнув рубаху, ворот оправил, боднул головой и строго кашлянул.

— Ты... ты... тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-тать... Старый ты чёрт!.. — все враз орут пьяными глотками. Много мужиков.

Устин силится перекричать толпу, но голос его тонет в общем рёве.

— Тащи его за бороду... Дуй его!..

— А-а-а? Жечь?!

Устин вскидывает вверх руки, и над толпой взвывается его резкий голос.

Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами.

— Ах вы непутёвые... — начал Устин, и не понять было: улыбка ль по его лицу скользит, или он собирается заплакать. — Вы чего ж это, робяты, надумали, а? Куда бузуев дели, где они, а?! — весь дёргаясь, выкрикивал Устин, притопывая враз обеими ногами и встряхивая головой, будто собираясь клюнуть стоявшего перед ним Обабка. — За виныце руки кровью замарали... Тьфу!.. А Бог-то где у вас? А? Правда-то?

— Мы их в волость...

— В волость?.. Эй, Окентий! — окликнул Устин Кешку. — Ты чего молчишь? Где бузуи?..

— Я ни при чём... — бормотал Кешка, то нахлобучивая, то приподымая картуз, — как мир... его дело...

— Они нам попёрек горла стали... — оживились мужики. — Они пакостники, они парня ножом, они коров перерезали... Они...

— Врёте!.. — вдруг вынырнула из толпы Варька. — А вот кто коров-то кончил... вот!.. — ткнула пальцем на Сеньку. — Чего бельмы-то пялишь?! Признавайся!

---

Тот, растопыбив руки и весь пригнувшись к земле, коршунуном к Варьке кинулся. Та в часовню.

— Бей! На, бей, живорез!..

— Куда прѣшь? Не видишь?! — сбросив с крыльца Сеньку Козыря, взмахнул грузным кулаком каморщик Кешка.

— Ведут, ведут... Эвона!.. — удивлённо и громко заорали сзади.

И всей деревней побежали за околицу, навстречу показавшейся толпе.

Только дед Устин кой с кем остался и с высокого крыльца часовни, прищутив глаза, всматривался вдаль.

Наступил вечер.

### XXX

Тихо плетётся в гору рыжая кобылка, надсадисто: в телеге трое. Невеселы идут по бокам телеги люди.

— Образуься, Аннушка... Дитяtko... — говорит осунувшийся Пров.

— Подай мне Андрюшу, — тихо вскрикивает прикрученная к телеге Анна.

— Я здесь, Анна... С тобой...

— Уйди!..

Андрей-политик, путаясь в армяке Прова, идёт возле Анны и гладит ей волосы. Но та мотает головой и самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто.

Возле Анны, поджав руками живот, сидит Антон. Выражение лица детское, удивлённое: глаза целуют каждого и каждого благодарят.

Ванька Свистопляс, причмокивая, правит лошадьё. Запущая нога его вытянута вдоль телеги, а левая рука нет-нет да и пощупает больное ухо. Он, как волк, исподлобья озирается на Крысана, глаза бегают и боязливо ширятся на показавшуюся из деревни толпу.

— Анна... — уж который раз подавленным голосом начинает Андрей. Иссиня-бледное лицо его подѣргивается, на правом виске прыгает живчик, упорный взгляд прикован к Анне. В его глазах появилось что-то новое, пугающее. Когда он переводит их на Прова, тот отворачивается, шумно вздыхает и никнет головой.

Братаны Власовы тоже здесь. Только бывшего каторжника Науменко нет — убежал, и нет Тюли с Лехманом.

---

Но Крысан, как наяву, видит старого бродягу. На Анну взгляд направит — не Анна: Лехман лежит и хрипло кричит несуразное; взглянет на Антона — Лехман сидит раскачиваясь; зажмурится — вновь Лехмана видит, его мёртвые глаза, его раскрытый беззубый рот, его простреленную залитую кровью грудь.

И уж нет в Крысане злобы, не ходят за щеками желваки, глаза погасли, пересохший рот открыт. Он весь обвис, осел, покривился, еле ноги тащит, вздымая пыль.

— Плохо вам будет, — говорит Андрей.

— А ты как-нибудь, Андрей Митрич... тово... заступись... — просят мужики, — знамо, спьяну...

— Спьяну? Не в этом дело...

И мужики опять идут молча и тяжело сопят.

До деревни с версту осталось. Как спустились с горки, скрылась приближающаяся толпа, в зелёных потонула кустах.

— Тятенька, где ты? — тихо зовёт Анна. — Развяжи меня, тятенька...

Но Пров едва понимает, что говорит дочь. Он вопросительно смотрит на мужиков, с ними взором советуется:

— Да, до-о-ченька, да потерпи...

А сам о надвигающейся и уже нависшей туче думает. Не о Лехмане, брошенном в тайге, не о пьяной сходке мужиков, не о зарезанных своих коровах, не о тюрьме, не о каторге — о жизни своей думает Пров: рехнулась дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропадом всё: и Матрёна, и хозяйство, и хромой сивый мерин, и деревня, и тайга, и белый свет, в могилу бы скорей, в домовину бы скорей, под крест лечь...

— Тятенька...

Пров не слышит: высокой стеной скорбь его окружила, как ночь среди бела дня окутала. Но где-то огонёк дрожит: может, оклемается, может, придёт в себя Анна. А эти двое — пусть живут, мир бродяг приютит, пусть только помалкивают, а старика того убиенного погребению всей деревней предадут, — что ж, дело Божье, суд Божий. Мир смолчит, сору не вынесет: друг за дружку ответ держать будут, порука круговая. Андрея можно упросить, поклониться ему: голова у него не мужиковская, научит...

— Ну, ну... — вслух роняет Пров, и уже веселей поглядывает на кудрявую возле часовни рощу.

По дороге от деревни мужик скачет. По дороге от деревни впереди всех Матрёна бежит, за ней ребята, за ними толпа с горы спускается.

---

## XXXI

Подвыпившая Даша в ногах валялась у Устина:

— Дедушка ты мой светлый... Ослобони мою душеньку...

С панталыку я сшиблась, дедушка...

— Никто, как Бог...

А уж толпа вливалась в деревню. Все, кто оставался с Устином, поспешили навстречу.

Даша ничего не видела, кроме добрых глаз Устина.

— Судите меня, люди добрые... я, потаскуха, с Бородулиным жила... Солдатка я... воровка я... — она громко сморкалась, утирала слёзы и, ползая, хваталась за Устиновы босые ноги. Устин приседал, удерживая равновесие, и, весь нахохлившись, скрипел своим стариковским, с огоньком, голосом:

— Совесть, мать, забыла... Бесстыжая ты...

— У Бородулина деньги я украла... А не бузуи... Ох, светы мои...

Устин гневно всплеснул руками:

— Ведь ты... Чёрт ты... Ведь бузுவ-то... Ах ты ведьма!..

— Хорошень меня... Задави... Убей...

Вдруг, испугав Устина, Даша взвизгнула и бросилась к подъехавшей телеге:

— Аннушка! Девонька!..

— Тпру! — пробасил Обабок. — Приехали...

— Молись, ребята, Богу, — выдвигаясь из вновь выросшей толпы, проговорил какой-то старик.

— Чего — Богу... Айда домой, — сказал Пров. — Понужай, Матрён, кобылу-то.

— Стойте! — крикнул Устин с крыльца часовни и сердито одёрнул рубаху.

А тем временем Анну сняли с телеги, напоили холодной водой. Она всем улыбалась и что-то говорила торопливым, не своим голосом, проглатывая слова.

К дому повели её.

— Стой, Пров! Вернись!..

— Я чичас приду, Устин... Ишь, дочь-то...

— Стой ты... До-о-о-черь... А где ещё двое, где они?.. — и Устин мотнул рукой на Антона с Ванькой.

Даша к Устину, к Прову, к Андрею лезла, что-то выкрикивала и голосила, но её оттирала толпа.

— Куда старика дели? Где ещё молодой, толсторожий?..

Толпа молчала.

Цыган сказал:

— Одного только кончили... Старика...

---

— Та-а-ак... — протянул Устин.

— А другой, однако, убёг... Толсторожий-то... — закончил Цыган и нырнул в народ.

Толпа перешёптывается и угрюмо гудит.

— Так, молодцы, так... — затихая, говорит Устин, вкладывает руки в рукава и опускает низко голову.

— Значит, убили?! — вскидывая вдруг голову, резко сечёт толпу.

Толпа мнётся, ёжится. Мужики переглядываются, переступают с ноги на ногу, растерянно покашливая и поправляя шапки.

— Хороши молодчики... Ловко... Ай да Пров Михалыч... Ай да староста...

Пров трясущимися руками прицепляет на грудь медную бляху и, кланяясь Устину, и Андрею-политику, и бродягам, и всей толпе, тихо говорит:

— Бог попустил... Терпенья нашего не стало... — Голос дрожит, брови высоко взлетели.

В толпе закричали:

— Он не своей волей... Мир так порешил...

— Согласья... Мир... Мир...

— Значит, собча...

— Эфто верно, что...

Пров перевёл глаза на толпу и враз почувствовал в ней родное и кровное. Он часто замигал, передёрнул могучими плечами, загрёб в горсть бороду и вдруг повалился перед Андреем на колени:

— Мы — люди тёмные... Мы — люди забытые... Обернитесь, батюшки, на нас... Отцы родные.

Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что долгобородый могучий Пров, староста, упрасивает какого-то бродяжку, человека никудышного.

Там, в тайге, Андрей всё поведал Прову, всю душу открыл. Коротко сказал Андрей, но слова его в самое сердце Прова пали.

И потому Пров, плача, шепчет:

— Обернитесь на нас, батюшки... Защитите.

У Андрея зарябило в глазах. Он пытался приподнять с земли Прова, но тот тряс головой и, крепко сжав на груди руки, не переставая твердил:

— Кланяйся, мир хрещёный... Все кланяйтесь... И бродягам кланяйтесь...

— Стой! — кричит властно Устин. — Слушай...

Ванька с Антоном приподнялись дубом на телеге, впились в Устина и разинули рты.

---

Все затаились, замолкли. Все почуяли теперь большую за собой вину и грех. Всем не по себе сделалось. Замерла толпа.

Огромный Кешка утирал рукавом глаза, стараясь остановить прыгающий подбородок. Сморкались бабы, кряхтели, виновато почёсываясь, мужики. Только Тимоха-звонарь весело улыбался и смотрел на всё, как на Петрушку об ярмарке.

Устин прошёл проворно в часовню, опять вышел, держа псалтырь.

— Вот что, православные... — высоко подняв книгу и потрясая ею, начал Устин. — Я всё попалил... Пожарищем вас с разбою возворотить пытал... огнём... Я всё сжёг... Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас.

Он переступил с ноги на ногу и горько вздохнул.

— Вы, хрещёные, как волки... Это не жисть, робяты... Это один грех...

И вместе с древним Устином многие вздохнули горько и стыдились поднять от земли взгляд.

— А тут ещё эвона что затеяли: человека убили... — возвысил до конца свой голос Устин. — Эх вы-ы-ы...

Антон, стоя на телеге, низко Устину поклонился. Поклонился и Ванька Свистопляс.

— Вы эвон какую напраслину на них взвалили...

— Как напраслину?! Чего мутишь?! — раздалась возмущённые крики.

Толпа зашумела, зарокотала, как по камням река.

— Слушай!! — махнул Устин. — Разве они деньги-то у купца украли?.. Нет, врёшь!.. Эн тут баба в ногах валялась из Назимова, каялась... А коров? Спросите-ка Варьку Силину... Кто?..

— Как кто? Они же...

— Сенька Козырь... А не они... Эх вы, твари!..

Толпу в жар бросило, ахнула толпа и качнулась.

Пров, теребя волосы и широко открыв глаза, с одеревеневшим лицом стоял возле Андрея. Антон на телеге крестился и кланялся Устину, а Обабок в задних рядах, запрокинув голову, булькал из бутылки.

В Андрее закипела кровь. Он окинул взглядом хмурую, понуро стоявшую толпу, и ему вспомнилась вдруг Россия. Не Акулька с Дунькой, не Пров, не Устин — Русь поднялась перед ним, такая же корявая и нескладная, с звериным обличем, с тоскующими добрыми глазами, изъедающая и растлевающая себя, дремучая седая Русь, дикая в своей тьме, но такая близкая и родная его сердцу.

---

Стоял перед Устином народ, как перед судьёй — без вины преступник. Встала перед Андреем Русь и ждала от него золотых слов! Ну что ж слова!

Глянул Андрей на тайгу. Тёмная-тёмная, густым дремучим морем охватила она Кедровку. Кто-то кричит: «Уйду»...

Андрей померк. Потные, с разинутыми ртами и ощетинившиеся, тяжело пыхтели мужики, обдавая Андрея сивушным перегаром.

— Жаль мне вас... Вот как жаль... А уйду... Прощай... робята... — Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца. — С вами мне не жить... Горько мне с вами... Я в тайгу уйду... Я к зверям уйду... Легче...

Всколыхнулись, заголосили кедровцы, напирая со всех сторон на сгорбленного старого Устина.

— Дедушка ты наш, милый ты наш! — кричали бабы.

— Куда? Стой! — гудели мужики, загораживая дорогу.

— Избу тебе сгромаем, живи...

— Нет, робяты, нет...

— Пьянству зарок дадим...

— Душа требует... Не держите меня... Раздайся!.. Душа в лес зовёт... Со зверьём легче...

По шагу, потихонечку, подвигается Устин вперёд, а с ним толпа, как возле пчелиной матки рой.

Улыбающийся Тимоха во все колокола хватил. Но Кешка сгрёб его за шиворот и отбросил.

А Устин всё дальше подаётся и, обернувшись, громко кричит отставшему от него народу:

— Ну, робяты!.. В последний вам говорю!.. Заруби это, робяты, на носу. По правде живите: смерть не ждёт. Пуще молитесь Богу... Пуще!

— Бо-о-гу?.. Святоша чёртов!.. — вдруг грянул Обабок. — Мне жрать нечего... У меня шестеро ребят... У меня баба пузатая. Подыхать, што ли?!

— Верно, Обабок, правильно...

— На сборню, ребяты...

— Староста, собирай сход!.. — загалдели голоса.

Устина качнуло, словно ветром. Взглянул на заходящее солнце, взглянул на Обабка, на разбредавших недовольных мужиков и расслабленно опустил на лежащий при дороге камень.

Обабок круто повернул и направился неверными шагами к накрепко запертому Федотову двору.

— Ай-ха, — рывкнул он медвежьей своей глоткой и, загребая пыль, на всю деревню бессмысленно заорал:

---

Стари-инное ка-аменно зданья-а-а  
Раздало-ося у девы в груди-и-и-и!..

В ушах у Устина гудело, и невыносимо ныло сердце.

— Эй ты, чёрт плешатый! — донеслось до него пьяное слово. — Ну и проваливай к дьяволу...

Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, сплеча, выругался.

— Леший с ним!..

— По его бороде, давно ему быть в воде...

— Ту-у-да ему и дорога... — И снова резкий свист и ругань.

— Богомо-ол!!

Всё вмиг всколыхнулось в Устине: померкло вдруг небо, померк свет в глазах, застыла в жилах кровь. Он обхватил руками свою лысую голову и, как пристукнутый деревом, замер.

## XXXII

К седому вечеру, когда зажглись в Кедровке огни, обложило всё небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на улицу, прислушиваясь к всё нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана. Ежели он праведен есть человек — Бог за него не помилует; ежели грешен — быть худу: накличет беду, напустит темень, зальёт дождём, попалит грозой. Недаром старухи слышат в говоре тайги то стоны проклятого колдуна-бродяги, то его ругань, угрозу. Колдун, колдун — это верно. Чу, как трещит тайга. Господи, спаси... Гляди, как темно вдруг стало...

К седому вечеру, лишь зажглись в Кедровке огни, старый Устин вместе с заимочником Науменко подошли впотьмах, с малым фонариком самодельным, к валявшемуся под сосной Лехману.

— Вот он он, — сказал Науменко и поднёс фонарь к лицу мертвеца.

Лехман, полузакрыв глаза, безмолвно лежал, а по его щекам и лохматой бородище суетливо бегали муравьи.

Устин и Науменко долго крестились, опустившись на колени.

---

— Я к тебе завтра утречком приду, Устин... И товарища с собой захвачу, — сказал Науменко. — Мы тут, значит, его, ба-тюшку, тово... значит, домовину выдолбим, и всё такое... И в землю спустим... Да... — голос его дрожал.

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шёлковые хвои, на что-то злясь.

— Вы мне тут, робятки, какой-нибудь омшаник срубили бы...

— Чего? — оправившись, громко спросил Науменко.

— Омшаник, мол, омшаник... Так, на манер земляночки, — напрягая голос, просил Устин.

— Ну-к чо... Ладно.

— У меня усердие есть пожить возле могилки-то...

— А?.. Кричи громчей!.. Ишь тайга-то гудёт...

— Я, мол, вроде обещастья положил...

— Так-так...

— Пожить да помолиться за упокой...

— Ну, ну... Дело доброе...

Науменко костёр стал налаживать, шалаш из пихтовых веток сделал.

— Ну, прощай, Устин... Побегу я... Ух ты, как гудёт!.. Страсть...

И издали, из темноты, крикнул:

— Ты не боишься?.. Один-то?!

— Пошто? — прокричал в ответ Устин. — Нас двое... — и скользнул жалеющим взглядом по скрюченным пальцам Лехмана.

Жутко в деревне, темно, к ночи близится. Небо в чёрных тучах. Уже не видать, где тайга, где небо. Вдали громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тьякнула, диким воем залилась собака.

Погасли огни в деревне. Но никто не смыкает глаз. Лишь у Прова огонёк мигает, да в Федотовом доме. Вот ещё старая Мошна, как услышала гром, зажгла восковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она боится, умирать не хочется, скопит денег — в монастырь уйдёт...

У Прова в избе тоскливо. Пров под образами сидит, на той самой лавке, где лежал Бородулин, ещё поутру увезённый в село.

Андрей по избе взад-вперёд ходит, то и дело хватаясь за голову.

— Скверно всё это, скверно... Ну, как же ты, Пров Михалыч?.. Ты оглядись, подумай.

---

В кути у печки Матрёна сидит, подшибившись. Слёзы все высохли, устало ныть сердце:

— Твори, Бог, волю...

— Матушка, — тихо говорит лежащая на двух шубах Анна. — Матушка, скажи тятё, чтобы... Ну, вот это-то... самое-то...

Ветер крышу срывает, того гляди, опрокинет избу.

— Экая напасть, Господи, — печалуется Пров. Он трясёт в отчаянии головой и, ударив тяжёлым кулаком по столешнице, ненавистно пронзает глазами мечущегося по избе Андрея.

Тот удивлённо покосился на Прова и вышел на улицу. Он чувствовал, что душа его опустошена. Ему хотелось обо всём забыть, уснуть долгим сном, уйти от жизни. Но мужичий грех чёрной тенью ходил по пятам, ядовито над ним похохатывал, стращал, как палач жертву, и, приперев к стене, требовал ответа. Андрея бросало то в жар, то в холод. Как же поступить с мужиками? Молчать, как мёртвому, покрыть их изуверство? Ответа не было, и от этого ещё мучительней становилось на душе. А память услужливо подсказывала забытый случай: он где-то читал или слышал про дикий самосуд над таким же, как он, невольным свидетелем мужицкого греха.

— А ведь убьют, — вздохнул Андрей. Он вспомнил грозные глаза Прова. Его вдруг забила лихорадка, заныл висок, и тупая боль потекла к затылку.

Шум тайги всё разрастался. Было темно. Ветер озоровал на улице, мёл дорогу, швыряя в Андрея пылью. Андрей зажмурился и сел на сугунок.

— Ну, научи ты меня... Измучился я, Митрич... тошнёхонько... — сказал внезапно подошедший Пров.

Андрей уловил в его голосе тоску, растерянность и злобу. Пров запричитал и подсел к нему.

Оба долго молчали. Андрей вздохнул. Ему надо успокоить Прова, но он понимал, что случившееся больше, сильнее его слов.

«Убьют или не убьют?» — мелькнуло в мыслях.

— Ну, так как? — спросил Пров. Он сидел, низко нагнувшись и пропустив меж колен сомкнутые руки. — Ведь засудят?

— Не в этом дело, — сказал Андрей. — А дети, а внуки ваши — всё так же? Вот в чём главное. — Он встал и схватился за угол избы, чтобы не свалил с ног бушевавший ветер.

— А ты сам-то как? — хмуро спросил Пров. — За нас?

Но, должно быть, ветер смазал слова Прова. Андрей не слышал или не понял их.

---

— Вот, скажем, тайга, — вновь почувствовал Андрей прилив бодрости. — Дикая тайга, нелюдимая, с зверьём, гнусом. А сколько в ней всякого богатства... Вот и жизнь наша, что тайга... — Он тяжело дышал и глядел сквозь мрак на широкую согнутую спину Прова. — Что ж надо сделать, чтоб в тайге не страшно было жить, чтоб всё добро поднять наверх, людям на пользу? А? Подумай-ка, Пров Михалыч...

— Не так, Митрич... Не про это... Тайга ни при чём...

— Ты погоди, выслушай! — крикнул Андрей. — До всего дойдёт очередь... — и с жаром, взмахивая свободной рукой, сыпал словами.

Но Пров раздражённо крикнул и потряс головой. Андрей смешался. Он перестал следить за своей речью, потому что его мысль, опережая слова, неожиданно опять скакнула к тому тёмному, ещё не решённому, на что он должен дать ответ Прову. Как помочь мужикам в беде? Бежать ли, остаться ли? А вдруг убьют? — вновь клином вошло Андрею в душу. Теперь он только краем уха прислушивался к своему голосу и, досадуя на себя, чувствовал, что говорит нудно, вяло, обрываясь и путаясь.

— Мудро... шибко мудро, Митрич... Кого тут... где уж... — прервал Пров и сердито засопел. — Засудят, всех закатают, ежели дознаются... Вот ты что говори. Ну, а как ты-то, сам-то? — глухим голосом ещё раз спросил он и, нахлобучив шляпу, встал. — Пойдём не то в избу, посовещаемся. Ну и ветрище!

— Пров Михалыч!.. — громко окликнул Андрей, точно вспомнив главное. — А как же Анна? Ведь её в город надо, завтра же.

— Погоди ты — в город... — рубнул Пров. — Тут не до этого.

Блеснула, затрепыхала далёкая молния. Все избы, словно из-под земли выскочив, подпрыгнули, замигали и снова исчезли.

— Гроза идёт, — тревожно сказал Пров, захлопывая за собой дверь избы.

Какая-то сила заставила Андрея обернуться.

— Стой-ка... — услышал он сиплый, таящийся голос. — Эй, прохожий!

Андрей спустил с приступки ногу, шагнул навстречу голосу и лоб в лоб столкнулся с крупным, тяжело пыхтевшим человеком.

— Признал? Я каморщик, — зашептал Кешка, обдав Андрея едким запахом черемши. — Вот что, проходящий... бе-

---

ги, батюшка... Чуешь? Как уснёт деревня покрепче — шагай в тайгу... А тех двоих, в случае, схороню... Где им... Скажу: убегли... Чуешь? А то мужики как бы не того... слых идёт.

— Андрей! — открыл окно Пров. — Залазь, что ль. Время огонь тушить.

Ветер тайгою ходит, раскачал тайгу от самых корней до вершины. Трещит тайга, ухаает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов: все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повылезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедр поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошёл крушить: как махнёт кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го-го!».

Дедушке Устину всё это нипочём. У него в руках святая книга, а на пне, в головах у тела убиенного бродяги, восковая свеча горит: здесь место свято.

Но ветер по низам пошёл, метёт во все стороны пламя костра, гасит восковую свечечку. Устин отходную Лехману читает, «Святой Боже» поёт надтреснутым своим голосом и, ёжась от колеблющейся тьмы, блуждает взглядом. Кто-то притаился там, ждёт. Вдруг тьма озарилась молнией. Устин сложил книгу, перекрестился и побрёл в зелёный свой шалаш.

«Го-го-го...»

Крестится Устин.

Лёг на зелёную хвою, шубёнку накинул сверх себя — подарок Науменко. Лежит, смотрит на Лехмана, думает. Костёр горит ярко, два пня смолистых зажгёт Науменко, будут до утра тлеть. Ветер раздувает пламя, не даёт заснуть огню.

Лехман вздрагивает в лучах костра, как живой, от холода, шевелит руками, сучит ногами, кивает головой...

— Нет, это ничего... — шепчет Устин и крестится, а сон уж начинает его убаюкивать и качать на волнах.

Ветер бурей ревел в тайге. Деревья стонали и точно зубами скорготали от нестерпимой боли.

Лишь закрыл Устин глаза и, благословясь, укрылся с головой шубой, слышит: стихла тайга, и раздалось два голоса. О чём-то беседу ведут, мирно так говорят, любовно, то вдруг заспорят и сердито закричат.

Один голос очень знакомый. Чей же это голос? Ах, да ведь это Бородулин говорит. Попа. Да, попа... про попа надо сказать, про отца Лекся... Это хорошо... «А что же ты такой старик, а седой?.. такой лохматый?» — говорит Бородулин. «А что же

---

ты лежишь? Пойдём», — вновь сказал Бородулин. «Потому что надо, — ответил голос, — тут ясно».

Холодно Устину. Он скрючился. Не хочется выползать из-под шубы. А не бородулинский, незнакомый голос опять: «А где Устин? Вот тут сидел, надо мной». — «Он ушёл. И от тебя ушёл, и от мира ушёл, он — чёрт». — «Врёшь!»

И вдруг как ударит его кто-то по плечу ладонью:

«Вставай, старик... Спасибо...»

Без ума вскочил Устин.

— Господи Христе!..

Стегнула молния, грянул гром. И видит Устин в синем платье: не в шалаше он, а возле Лехмана.

Белый, скрюченный, сидит рядом с ним Лехман.

— Свят, свят!.. — не своим голосом вскричал Устин.

Вновь гроза оглушительно трахнула. Устина подбросило, опрокинуло, и он, очнувшись, пустился бежать. Он бежал молча, весь объятый звериным ужасом, и ему почудилось, что сзади гонятся за ним и Бородулин, и разбойники, и оживший Лехман, и все деревья, — вся тайга несётся вслед: вот-вот дух из Устина вышибут.

— Свят, свят, свят..

А удар за ударом кроет все таёжные ночные голоса, гудит на всю тайгу и, спустившись в низины, раскатисто и злобно рычит.

Молния сияет синим светом беспрестанно. Звериное чутьё по дороге Устина гонит в родную Кедровку.

— Согрешил... мужиков в беде бросил... Возворчусь, — стонет Устин, обессиленно переплетая во тьме старыми, страхом связанными ногами.

«Согрешил, согрешил!» — ликует тёмный рёв тайги и, настёгивая Устина свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства.

Вдруг всё засияло.

— Непусти!! — Устин взмахнул руками и во весь рост грохнул мёртвый среди дороги.

Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса. Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы, и предостерегающе замолкла.

Испугалась тайга грозы небесной. Тихо стало в тайге и торжественно.

И среди густой нависшей тьмы запылали-зажглись ярким светом, как гробовые свечи, три высокие лиственницы.

Опять взметнулся ветер.

---

### XXXIII

Дрогнула над Кедровкой ночь. Кто-то по улице скакал на коне и неистово кричал:

— Хозяева! Тайга пластат!.. Эй, люди! Тайга!! Тайга!!

Густо и грозно из-за деревни вставало пламя, ветер крепчал и гнал огонь прямо на Кедровку.

Открывались дрожащими руками окна, высовывались взлохмаченные сном головы и, ахнув, исчезали.

Ветер стучит ставнями, заглядывает под крыши и грозит Кедровке бедой.

— Господи, светы... — шамкает выскочившая на улицу Мошна, наскоро крестится и, со страхом взглянув на широко разметавшееся за деревней пламя, спешит скорей в избу. Ветер пузырьём вздувает юбчонку, крушит и валит старуху наземь и резко захлопывает за ней тяжёлую дверь.

— Тайга занялась!.. Тайга!..

Забегали, засновали кедровцы; ожила, загалдела деревня. Встали и разлились вдруг родившиеся во дворах, под крышами, при дороге, полные испуга голоса и звуки. Засветились коньки и скаты мокрых крыш, вспыхнули и заиграли огнём стёкла стоявших на пригорке избушек, а небеса кругом стали ещё темнее и строже.

— Миколка!.. Эй, Миколка-а-а...

На горе, у часовни, бестолковая, потерявшая себя толпа. Все, разинув рты, смотрят широкими глазами на пожарище и, холодея, роняют, как в воду камни, жалкие слова.

— Ишь как садит.. Ишь, ишь!..

— Придёт, робяты.. Ох, придёт..

— Начинай молебну!.. Вздымай образа!

— Устина надо... Устина!

— Ушёл Устин...

И уж стон стоит в толпе, голоса осеклись.

— Ищите Устина!.. Где Устин?!

— Ушёл Устин...

Бабы слёзно заголосили:

— Окаянные вы... Мучители вы...

— Замолчь!.. Ну вас...

А над тайгой разливалось море огня. То здесь, то там, словно из-под земли взрываясь, враз вставали огненные столбы и, качнувшись во все стороны, наплывали на деревню.

— Ой, край пришёл... Ой, светы...

С пригорка видно, как росло и бушевало пламя, и в его пляшущем свете колыхалась и кудрявилась тайга, вся в зелено-

---

тёмных тонах и переливах, а нависшая над пожарищем туча до краёв набухла отблеском пламени.

На взмыленной лошадёнке прискакал босой, просто-волосый, страшный Пров.

— Мир хрещёный!.. Беда-а-а-а! Погибель!..

И опять помчался к своему дому.

— К речке, к речке выбирайся!.. На пашни!..

Скрипят возы, храпят, поводя ушами, лошади.

— Куды прёшь? Легше!..

Собаки воют и бестолково, испуганно взлаивают; снуют со скарбом в руках бабы и ребята.

— К речке, к речке!..

А ветер упругим валом, волна за волной катит над деревней, весь в золотых искромётных огоньках. Он коршуном бросается попутно вниз, метёт все голоса и звуки, крутит и выкручивает по ошалелым закоулкам, улицам.

Головни, как сказочные жар-птицы, взвиваясь ввысь, несутся, гонимые ветром, куда попало, и, сложив огненные крылья, садятся среди деревни.

— Осподи, Мать Владычица... Шабаш...

— Окульку возьми!..

— С зыбкой... с зыбкой!..

Засинела, занялась тайга и с боков. Кедровка золотым сжималась морем.

Обабок, согнувшись под громадным узлом, зажав под пазами двух воющих ребяташек, торопливо бежал в гору, а возле него, не давая ходу, сновали четверо парнишек, голоса:

— Тятенька, тятенька... Ой, мамыньки нету...

— Ай-ха!.. — орал Обабок, напрягая свои ещё не проспавшиеся ноги.

Тимоха яростно бил в колокола и, прикусив язык, прислушивался к звону. Колокола зло пересмеялись и дразнили Тимоху. Он размахнулся жердью и сразу сшиб два колокола.

— Что ты, окаянный... — зашипела ползущая на карачках Мошна. — Что ты?!

— А ты чего?

— Вишь, ползу... Сто разов окружу часовню — откатится огонь.

Столетний дедушка Назар давно за деревней. Он, шаркая ногами, тащит за хвост кота. Кот в кровь исцарапал ему руки, разодрал порты.

— Огонь, огонь... Дым... — бормочет старик и, как на лыжах, не отрывая от земли ног, катит дальше.

---

— Проваливай, ребята... Это от вас!.. — гнал вон из своей избёнки Ваньку Свистопляса и Антона каморщик Кешка.

— Это от вас!.. — взвизгнула пробежавшая беременная баба, повалилась оттопыренным животом на изгородь и страшно, нечеловечески завывала.

— Горим!.. Горим!.. — перекатывалось по деревне.

— Убегайте!.. Живо, скорей!.. — метался лавочник Федот, волоча по земле огромный узел.

Серой клубящейся горой валил к небу дым, сливался вверху с тучей и, колеблемый ветром, разбрасывался по поднебесью сизыми, подрумяненными облаками.

— Сюда... Сюда-а-а!..

— Эн, как взмыло...

Сразу в трёх местах вспыхнули наваленные на крышах копны сена, занялись дворы, загорелась старая сухая часо-венка.

И уж всё живое катилось вон из деревни: с проклятием, стоном и диким рёвом бежали люди; задрав хвосты и бешено мыча, скакали коровы; пронёсся вдоль улицы, храпя и сотрясая землю, табун лошадей и вдруг шархнул врассыпную от ползущего по дороге забытого мальчонки; с кудахтаньем летали над дорогой незрячие куры. А целое стадо овец, предводимое бараном, ошалело несло прямо на огонь.

Андрей быстро наклонился над спящей Анной, взял её за плечо и твёрдо приказал:

— Анна, встань.

Та вскинула веки, мутно посмотрела на Андрея, приподнялась — и вдруг вся зацвела испуганно-нежданной радостью. Вспомнить хотела — не могла:

— Ты?

— Анночка, Анна... — Андрей влёт её к двери. — Мы горим, Анна... Скорей!..

На улице, жмурясь от яркого света, Анна крикнула:

— Солнышко... Солнышко спустилось!..

— Это тайга горит..

— Пусти... не держи!

— Анна, Кедровка горит.

— Пошто мутишь? — Она рванулась и, вплеснув руками, словно подхваченная вихрем, понеслась на гору.

— Анна! Анна! — следом бросился Андрей. — Пров Мыхалыч!!

А Пров, хрипя в борьбе, еле сдерживал рвавшуюся за дочерью Матрёну.

---

— Ой, пусти, злодей! — она кусалась, царапалась, плевала Прову в лицо. — Врёшь, не сладишь!

— Ой, доченька...

Схватив жену в охапку, Пров повалил её на землю и поволок к речке.

— Матрёнушка, родимая, очнись... — И его старое сердце разрывалось надвое меж женой и Анной.

Две пылавшие друг против друга избы пресекли бег Андрея. Почувствовав нестерпимый жар, Андрей закрыл голову зипуном и стремглав пронёсся мимо. Справа, из-за дымящегося крыльца, ползла на четвереньках страшная, седая Мошна. Она уж тридцать раз оползла часовню и, задыхаясь в дыму, упорно шамкала:

— Сгорю, а не отступлюсь... Фу-фу... подуйте, ветры встречные, супротивные... Ох, Господи... Тридцать перьвой, тридцать перьвой, тридцать друго-о-ой... А-а?.. Жарко, чертовка?.. Жарко? Вот он каков, ад-от... Во-от!..

— Эй, бабка, — уловив её взглядом, позвал Андрей, — Не видала ли...

— Ну, где ж она? — прогудел возле него голос Прова. — Погибель... Шабаш...

И оба враз увидели Анну. Вся дрожа, Анна стояла, прислонившись к голенастой, в золотой шапке, сосне.

Как сноп пшеницы, поднял её Пров.

— На речку! Единым духом! Дай-ка сюда зипун... Накрой!.. — сквозь дым потащил он Анну.

— Тятенька... Андреюшка... Не опасайтесь... Где мамынька?

Андрей еле поспевал вслед Прову. Он дико озирался на бушевавший кругом огонь. Ему трудно было дышать.

— Ну, в час добрый... Андрей, доченька, лупите к островам. Я за Матрёной... — крикнул Пров, когда они выбежали на берег.

Здесь все вздохнули свободно.

Закрываясь зипуном, Пров торопливо направился проулком.

— На речку, братцы, на речку!.. Бросай всё! Сгоришь!! — раскатывался по пожару его голос.

В бурьяне, возле изгороди, копошились двое.

— Вы чего тут, ребята? Айда на острова! Живо! — крикнул он, узнав бродяг, и побежал дальше.

Антон повернул вслед ему голову и вновь нагнулся.

— Иванушка, голубчик... Спасай душеньку... Вздымай, благословясь.

---

За руки, за ноги бродяги приподняли женщину и грузно понесли.

Даша, по пояс нагая, вся розовая в лучах зарева, висла головой к земле, мела землю чёрной с блеском гривой волос и пьяно бормотала:

— Не бей... Не бей меня, Феденька... погубитель...

— Тащи! Чево встал! — крикнул Ванька Свистопляс.

— Дай дух перевести... Ой, смерть...

Андрей и Анна быстро шли вдоль берега. Ноги их увязали в мокром песке, шуршали галькой. Анна тихо улыбалась, прислушиваясь, как сзади неё звучат шаги Андрея. Она придерживает шаг, берёт Андрея за руку и нежно заглядывает в его глаза.

— Андрей, — тихо-тихо шепчет Анна. — Андреюшка...

Она вся в прошлом, вся в будущем, светлом и бурлящем, как пылающая кругом сизо-огненная тайга. И не жаль ей Кедровки, не жаль утлых, обгорелых лачуг, ничего не жаль, и ничто не страшит её, потому что Андрей с нею и всё идёт, как надо.

— Опирайся... Держись! — И они плечо в плечо пошли неглубоким бродом к острову через шумный речной поток. Вода стремительно неслась, вся в белой пене, словно кипела холодным кипятком.

— Ничего, тут мелко! Ну-ка!.. — заглушая говор струй, подбадривала она, почувствовав робость Андрея.

Остров, большой и плоский, весь в скатных камнях, медленно приближался к ним.

— А мы уж тут-ка!.. На коне перебрали, — крикнул им Пров. — Ну, слава Те, Христу.

Они все тесно встали на бугор. У их ног, согнув спину, всхлипывала Матрёна. Ветер разогнал здесь дым, но осиянная тьма вся дрожала от говора пламени, и воздух был насыщен жаром. По ту сторону острова речка глубже, спокойней. Над позлащённой водой, то здесь, то там чёрными кочками торчали человечьи головы.

— Отсиживаются... — твёрдо сказал Пров, махнув рукой.

Андрей скользнул по воде оторопелым взглядом и вздохнул.

— Которые на пашню убрались... а которые... дак... привечный покой... чезнули, поди... — пуще завсхлипывала Матрёна.

— Пьянство... пакость всякая... — сказал Пров, голос его был жесток, суров.

Анна стояла молча, серьёзная. Она правой рукой держала концы разорвавшейся на груди рубахи, а левой поглаживала

---

мать. Андрей не видел в Анне безумия, взор её был вдумчив, спокоен.

— Сила, — задрал на огонь голову, густым, хриплым басом бухал Пров. — Силища кака пластат... Фу!

Андрей взглянул на него и удивился. Никогда он не чувствовал таким Прова. Он даже отступил от него в сторону, чтоб пристальней разглядеть его. Здесь был другой Пров, — не тот, что направил при таёжной дороге в его грудь ружьё, не тот, что пал к его ногам, там, у часовни, и молил его, и ронял слёзы. Огромным посивевшим медведем стоял Пров, грузно придавив землю, — скала какая-то, не человек.

Крутые плечи Прова, широкая спина, плавно и глубоко вздымавшаяся грудь накопили столько неуёмной мощи, что, казалось, трещал кафтан. Большие угрюмые глаза упрямо грозили огню.

Андрей вдруг показался себе маленьким, ничтожным, незначущим, будто песчинка на затерявшейся заклятой тропе. Какой ветер метнул его сюда? Неужели всему конец? Конец его думам, его гордым когда-то мечтам?

И опять вспомнилась, стала мерещиться ему Русь, — Русь могучая, необъятная, мрачная и дикая, как сама тайга. Русь шевелилась, шептала, ворочала каменные жернова в его отяжелевшем мозгу. И чудилось Андрею, что уж сизый дым ползёт по ней и клубится. Потоки подземного огня клопочут и предостерегающе стучат в просоленные слезами недра. С запада к глубокому востоку, от юга к северу гудит и хлещет по простору шквал. Всё в страхе, напряжённо ждёт, всё приникло, приготовилось: вот грядёт хозяин жатвы. Русь! Веруй! Огнём очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена.

— Сила!!

Андрей очнулся от голоса Прова. Пожар не утихал, и схлынули с Андрея все чары, всё то, что провидел его новый взор. Андрей робко поднял глаза на Прова. Широкий большой мужик каменным истуканом недвижимо стоял, скрестив на груди руки. Его волосы и бороду чесал ветер, глаза по-прежнему властно грозили пожару: вот-вот нагнётся Пров, всадит в землю чугунные свои пальцы и, вздрав толстый пласт, как шкуру с матёрого зверя, перевернёт вверх корнями всю тайгу.

У Андрея неожиданно дрогнуло сердце, всё замелькало в глазах, и как-то сами собой покатались слёзы.

«Пров, ты можешь... Спасай...» — умиленно шептала душа, но уста не повиновались.

---

— Гибнет... Боже мой, всё гибнет...

— Андрей! Анна! — глухо бухнул Пров. — Ничего... Пущай чистит.

Он часто задышал, высоко вскинул огромные кулаки и так сильно ими потряс, что подрубленные в скобку волосы стали враз подпрыгивать и шлёпать по ушам.

— Гори... Гори, постылая!.. — с тупой злобой крикнул он, и словно лопнула от натуги мощь — Пров зашатался. Он запрокинул руки, схватился за затылок, грузно сел, привалившись спиной к пню.

— Народишко... достаток... Несусветимо... Прахом всё... — Он мотнул головой и уставился в землю.

— Тятенька, родимый, — опустила перед ним Анна, заглядывая ему в лицо. — Не тужи, новое будет, хорошее. Тятенька, Андреюшка... мамынька...

— Живите... ворочайте, — шептал Пров, не подымая головы. — Авось как не то... Э-эх-ма-а-а.

А пожарище неудержимо гулял по тайге разливным морем. Вихри огня с гуденьем и рокотом взлетали к раскалённому докрасна небу, игриво и весело рассекая чёрные клубящиеся облака смоляного дыма. До широкой поляны докатился огонь. По ту сторону поляны вдруг шевельнулась, заплясала в лучах света стена тайги; как живые, задвигались, задрожали деревья. Пламя жёлтым бушующим сводом жадно загибалось над поляной.

Целым стадом, задрав пушистые хвосты, скакали через поляну белки; твякая и щурясь на свет, осторожными прыжками, принюхиваясь, удирали лисицы. У самого пожарища, поджав уши, всплыла вдруг на дыбы медведица, запустила острые когти в кору сосны и жалобно кликала затерявшихся где-то медвежат.

«Го-го-го-го...» — пронзительно и дико, то здесь, то там, раздавалось лешево гоготанье, и резкий удар бича вместе с хозяйским деловитым посвистом хлестал и сёк гудевший, осатанелый воздух.

«Го-го-го-го-го...»

Звери прислушивались, топорщили спины и покорно ускоряли бег.

А стая волков налаживала за рекой свою жуткую волчью песнь.

И за поляной занялась тайга: затрещали хвои, закурчавились. Золотыми дорожками бежал огонь понизу, как павшие из огненного моря ручейки. Невзначай застигнутые птицы взлетали над пожарищем и, охваченные горячим вих-

---

рем, камнем падали в пламя. Из прогоревших нор, куда вместе с дымом стали просачиваться огоньки, выползали последние гады-змеи.

Они шипели, выставляя жало, свивались клубящимися комками и, судорожно цепляясь за деревья, стремились подняться от восставшей на них земли. Но свет слепил им глаза, а огонь кропил губительными искрами.

Змеи пухли, раздувались и, падая, лопались, оставляя внутренности на золотых сучках.

Огонь шёл торопливой, рокошущей лавиной, бешено неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, раскачиваясь и тревожа корни. Но тщетно гудели они вершинами, тщетно роняли смолистые слёзы.

Ещё мгновенье — и враз вспыхивает, подобно оглушительному взрыву, целая стена ужаснувшихся деревьев, с треском одеваются хвои в золото, и всё тонет в огне. Дальше и дальше, настойчиво и властно плывёт пылающая лава, и нет сил остановить её.

1915

---

---

# Ватага

Я понять тебя хочу,  
Тёмный твой язык учу.

А. Пушкин

Русская сказка, как и всякая сказка, идёт к нам из мрака отдалённых веков. Сказка — как ветер. Где родина ветра? Вся земля. Русская же сказка — особая сказка. Породил её простоватый с краёв, но мудрый посередке русский дух, нутро и главный герой её — наш русский Иван-дурак.

Да не дедова ли сказка и вся Русь-то наша? Может, надзвёздный дед бренчит на досуге в звёздные струны, и вот по солнцу, по месяцу, от зари к заре — льётся на землю русская страшная сказка-быль.

Вся Русь наша — сказка. Раскинулась на спину, распнула себя четырьмя морями, взором уставилась в небо. Видит ли что в небе? Неважно. Она веками тоскует о правде — русская душа, — но сказка ещё творится, и Великая Совесть ещё не народилась на земле.

Да, Русь — сказка, красивая, жестокая, страшная.

От Бабы-Яги, от Бессмертного Кащея, славного круга витязей-богатырей, от сермяжного Микулы, чрез Ивана Кали-ту, царя Петра, Стеньку Разина, Емельяна Пугачёва, благостную память декабристов, чрез грозную бурю Февральских и Октябрьских великих дней, чрез дым, огонь, виселицы, ратрелы, плахи, чрез сугубую, в страданьях, милость и сугубую любовь — так до последних наших сроков, до сегодняшнего дня творилась народом русская сказка-быль.

Эта же сказка — очень маленькая русская сказка.

Она говорится так:

## Глава I

— Здорово, хозяйшка. А где сам-то? — Один — усатый, другой — щупленький парнишка с птичьим лицом — остановились в дверях, с ног до головы облепленные снегом.

Высокая чернобровая Иннокентьевна, в чёрной кофте, чёрной кичке, как монахиня, подала им веник:

---

— Идите, отряхнитесь в сенцах. Нету его. В бане он.

— Может, скоро придёт? — спросил одетый по-городски парнишка.

— А кто его знает. Поглянется — до петухов просидит. Париться дюже горазд. А вы кто такие?

— Из городу. По экстренному делу. Вот бумага.

Вскоре оба пошагали к бане, в самый конец огромного двора.

Весь двор набит засёдланными конями и народом. Горели три больших костра, было светло, как на пожаре.

Из бани выбежал голый чернобородый детина, кувырнулся в сугроб и, катаясь в глубоком снегу, гоготал полошадиному.

— Он, кажись, — сказал усач. — Товарищ Зыков, ты?

— Я, — ответил голый и поднялся.

Он стоял по колено в сугробе. От мускулистого огромного тела его струился пар. Городскому парнишке вдруг стало холодно, он задрал кверху голову и изумлённо смотрел Зыкову в лицо.

— Мы, товарищ Зыков, к тебе, — сказал усач. — Да пойдём хоть в баню, а то заколеешь.

— Говори.

— Город в наших руках, понимаешь... А управлять мы не сможем. Вот, к тебе...

— Вы не колчаковцы?

— Тьфу! Что ты... Мы за революцию.

Зыков от холода вздрогнул, лякнул зубами:

— Айдайте в избу. Я сейчас... — И лёгким скоком, как олень, побежал в баню.

В бане, словно в аду: пар, жиханье обжигающих веников, гогот, ржанье, стон.

— Хозяин, берегись!

В раскалённую каменку широкоплечий парень хлобыснул ведро воды. Шипящим бешеным облаком белый пар ударил в потолок, в раму: стекло дзинькнуло и вылетело вон.

— Будя! — заорали на полке, и — кубарем вниз головой. — Людей сваришь, чёрт... ковшом надо... А ты чем! Чёрт некованный.

— Живчиком оболочайтесь, — приказал Зыков. — Гости из городу. Дело будет.

Сотник, десятник, знаменщик быстро стали одеваться.

В просторной горнице с чисто выбеленными стенами было человек двадцать. Бородатые, стриженные по-кержацки, в скобку, сидели в переднем углу на лавках. Лампа светила

---

тускло, все они казались на одно лицо. Это кержаки стариковского толку. Рядом с ними, до самых дверей — крестьяне-среднегодки и молодёжь. Тепло. Шубы, меховые азямы навалены в углу горой. Под образами, за столом — два гостя и хозяин с хозяйкой — пьют морковный чай. Вместо сахара — мёд. От сдобы и закусок ломится стол.

Городской парнишка в пиджаке вынул кисет и трубку.

— Иди-ка, миленький, во двор: мы табашников не уважаем, — ласково и чуть тряхнув головой, сказала хозяйка.

Парнишка вопросительно поднял на неё глаза, она ответила ему весёлым, но строгим взглядом, парнишка покраснел и спрятал кисет в штаны.

Вместе с клубами мороза вошло ещё несколько человек.

— Все? — окинул хозяин собрание взглядом.

— Телухина нет.

— Телухина я отпустил на три дня домой, в побывку, — сказал хозяин. — Вот, братаны, из городу комиссия. При бумаге, форменно. Дай-ка, Анна, огарок сюда.

Иннокентьевна зажгла толстую самодельную свечу. Хозяин неуклюжими пальцами взял со стола бумагу:

— А ну, братаны, слушай.

Все откашлялись, выставили бороды, смолкли.

Зыков, шевеля губами, сначала прочёл бумагу про себя. Городские не спускали с него глаз.

В синей рубахе, плотный и широкоплечий, он весь — чугун: грузно давил локтями стол, давил скамью, и пол под его ногами скрипел и гнулся.

— Кха! — густо кашлянул он, комариком кашлянул пустой стакан, и кашлянуло где-то там, за печкой.

«Начальнику партизанского отряда тов. Зыкову по экстренному делу в собственные руки просьба», — начал он низким грудным голосом.

«Товарищ Зыков и вы, партизанские орлы. Вследствие того, как по слухам красные войска перевалили Урал и берут Омск, а в Тайге восстанье, мы большевики вылезли из подполья и сделали переворот и забрали власть в руки трудящих. Как попы, которые организовали дружины святого креста для погрома, так интеллигенты и буржуи посажены в острог, а которые окончательно убиты и изгнаны из пределов городской черты. Вследствии того как нас большевиков мало и сознательный городской элемент в незначительном размере, то гидра контрреволюции подымает голову. Необходим красный террор и красная паника, иначе нас всех перережут, как баранов, и нанесут непоправимый ущерб делу свободы.

---

Белые дьяволы, колчаковцы с чехо-собаками или прочая другая шатия вроде мадьяров с лигионом польских уланов полковника Чумо, они белогвардейцы того гляди пришлют отряд и захватят нас живьем врасплох. Ежели вы не подадите немедленную помощь, это будет с вашей стороны нож в спину революции. Остальное по пунктам объяснят вам наши делегаты, товарищи Рыжиков и Пушкарев».

— Подписано — председатель Временного комитета Революционного переворота А. Тр... — Зыков замялся, наморщил нос, прищурился.

— Александр Трофимов, — подсказал усач.

— А-а... Ну-ну... Знаю Сашку Трофимова. Ничего...

Наступило минутное молчание. Все выжидательно пыхтели. Зыков как бы раздумывал, наконец сказал: — Та-а-к, — отложил бумажку, дунул на свечку и прижал светильню пальцами, как клещами. Открытое, смелое, с чёрной окладистой бородой лицо его было красно и потно. То и дело он вытирался рушником.

— Ну, как, братаны? Печать и всё... Бумага форменная, — и стальные, выпуклые, с чёрным ободком глаза его уперлись в зашевелившиеся бороды.

— Надо подмогу дать, — тенористо, распевно сказала чья-то борода, и из полумрака сверкнули острые глазки.

— Главная суть в том, товарищи партизаны, — начал городской усач и зарубил ладонью воздух, — взять-то мы власть, конечно, взяли, а чтоб пустить машину в ход — гайка слаба. Например, крепость, конечно, в ихних руках, там десятка три солдатни с комендантом. Конечно, мы её обложили, но мало ли какие могут произойти противоположные последствия, вы сами понимать должны, раз мы, почитай, без всякого вооружения. Надо организовать питание, надо устроить связь с центром, мы же ничего не знаем, сидим, как на острове, перед носом, значит, крепость, а граждане неизвестно в каких мыслях. Нужен, конечно, красный террор в первую голову. Например, Красная армия, ежели где ущемит эту белую банду, перепиливают напополам, отрубает руки, носы, вытыкают глаза, с живых сдирают кожу...

— Врёшь, — удивлённо перебил хозяин. — Ране они этого, говорят, не допускали. Откуда знаешь?

— Из газет, — враз сказали городские. — В газетах в ихних же, в колчаковских, в Томском печатают.

— Вот, — и парнишка выхватил из пиджака свёрнутую газету, посыпалась махорка, Иннокентьевна плюнула и сердито вышла.

---

— Ладно, не помрёшь, отмолишь, — сказал ей вслед Зыков и поднёс газету к глазам.

— Вот, читай: «Зверства красных», — указал парнишка.

Хозяин, двигая густыми чёрными бровями, зычно и медленно прочёл. Все бороды ощетинились, рты открылись, потекла слюна.

— Эту тактику красных героев и вам, товарищи, надо перенять. Тактика, конечно, верная, — сказал усач, прожёвывая шаньгу с мёдом.

Среди горницы, в жёлто-сером полумраке стоял с нагайкой в руке корявый, большеголовый парень. Ноздри его вздёрнутого носа злобно раздувались, чёрная папаха сдвинута на затылок. Он ударил нагайкой в крашенный пол и простуженной глоткой гнусаво задудил:

— А слышали, что чехо-собакам самолучшая земля Колчаком обещана, крестьянская? Вроде помещиков будут. За то, что нашу кровь льют... Слыхали?

— Слыхали.

— Не бывать тому! — хлестнул он нагайкой. — Кто они, растуды их? Откуль взялись? По какому праву?

— Приблудыши!..

— А слышали, как нашу Мельничную деревню белый отряд живьём сожёт? Большевиками прикинулись. «Мы, мол, красные, преследуем белую сволочь, укажите, куда белые ушли, мы их вздрючим. Вы, ребята, за кого, за нас, за красных?» — «За красных». — «Вся деревня?» — «До единого». Отошли, да и грохнули из пушек. Ночь, пожар. Ни одного человека не осталось. Слыхали? — Голос его дрожал, всхлипывал и рвался.

— Слыхали, слышали...

— Ага! Вы только слышали, а мои батька с маткой да братишки изжарились, костей не соберёшь. Э-эх! — он грохнул папаху о пол, засопел, засморкался и кривобоко, пошатываясь и скуля, пошёл к двери.

А на дворе светло и весело: огни костров мазали жёлтым окна, с присвистом и гиком ломилась в стёкла песня, тихо падал снег.

В горнице молчали. Только слышались позевки и вздохи, да сердито скрёб жёсткую, как проволока, давно не бритую щетину на щеке городской усач, — щетина звенела. Хозяйка перетирала посуду и, вскидывая носом вверх, звонко икала, словно перепуганная курица.

— Зыков! Батюшка Зыков, отец родной... Защиты прошу. — Парень с нагайкой опять шагнул от двери и, раскорячившись,

---

повалился в ноги Зыкову. — Весь корень наш порешили... Се-  
стрёнку четырёх лет, младенчика...

— Ладно, — сказал хозяин. — Встань.

Парень вскочил и словно взбесился.

— У-ух! — он опять хватил папаху об пол и стал топтать её  
каблуками, как змею. — В куски буду резать. Кишки выматы-  
вать... Только бы встретить... Кровь, как сусло, потекёт... У-ух!..  
Зыков, коня! Коня давай!! — и с лицом, похожим на взорвав-  
шуюся бомбу, он саданул каблуком в дверь и выбежал. Кто-то  
хихикнул и сразу смолк.

— Вот до чего довели народ, — тихо сказал Зыков. Он за-  
двигал бровями, густыми и чёрными, похожими на изогну-  
тые крылья, и глаза его скосились к переносице.

Изба замерла.

— Утром, по рожку, седлать коней. Четыре сотни, — как  
молот в железо, бухали его слова. — Вьючный обоз. Два пуле-  
мёта. До городу сто двадцать вёрст. Через десять вёрст дозор-  
ных и пикеты связи. Пятая и шестая сотня здесь, под седлом.  
Тринадцатой и одиннадцатой сотне, что на заслоне к Бийску,  
отвезть приказ: до меня сидеть смирно, набегов ни-ни. А то  
ерунды напорют.

— Кто отряд в город поведёт? — поднялся и подбоченился  
Клычков.

— Сам, — резко ответил хозяин и покосился на жену.

— Сам, сам... — с сердцем сунула она пустую кринку. —  
Башку-то свернут... Вояка. Сам! — и по её сухому строгому ли-  
цу промелькнули тенью печаль и страх.

— Брось, не впервой, — ласково, жалеючи, сказал Зыков.

Он поднялся во весь свой саженный рост и накинул на од-  
но плечо полушубок:

— В моленную!.. Которые стариковцы — айда за мной.

Снег всё ещё падал, пушистый и пахучий. Похрюкивали  
свиньи, где-то над головами прогорланил ночной петух, от-  
фыркивались кони.

Приударь, приударь!

Ещё разик приударь!..

Песня и хохот у костра возле ворот разрывали и толкли  
жёлто-белую мглу ночи.

— Детки, потише вы. Шабаш! Эй, которые стариковцы...  
В моленну!

---

Моленная — в нижнем этаже. Там же, в каморке, в боковуше, живёт отец Зыкова, кержацкий кормчий, старец Варфоломей.

В моленной тьма. Пахло ладаном, ярим воском и неуловимой горечью слёз и вздохов. Вздохи и шёпот молитв повисли, запутались в тайных углах и ждали.

Зыков высек о кремень искру, затлелся трут, и во тьме, как светлячки, заколыхались сонные огни свечей.

Стены были тёмные, прокоптелые, воздух тёмный. Серебряные венчики потемневших стародавних икон тихо заблестели, и Нерукотворный Спас, сдвинув брови, скорбно смотрел жёлтыми глазами Зыкову в лицо.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — глубоко вздохнув, смущённо прошептал Зыков; он на цыпочках пересёк моленную и открыл дверь в боковушу. — Родитель, батюшка...

Старик спал на спине. Широкая седая борода его покрывала грудь. Руки сложены крестообразно, как у покойника. Большая свеча возле настенного образа чадила, отблеск света елозил по оголённому черепу старца. На аналое — толстая, с застёжками, книга. В углу — кедровая колода-гроб. На крышке гроба чёрный восьмиконечный крест.

Зыков снял со свечи нагар и внимательно всмотрелся в лицо отца.

— Спит.

Народ прибывал. В моленной полно. Запахло кислятиной промокших овчин, луком и потом.

Шорохом ширился шёпот, и повёртывались кудластые головы к келье старца.

— Отцы и братия, — появился Зыков с зажжённой свечой в руке. — Родителю недужится, почивает. Совершим чин без него, соборне, еже есть написано.

И ответил мрак:

— Клади нача́л. Приступим с верою и радением. Аминь.

Натыкаясь вслепую друг на друга, — только маленькие оконца багровели, — кержаки сняли с гвоздей лестовки, разобрали коврики-подручники — с ладонь величиной, что подстилают под лоб при земных поклонах, — и чинно встали на места.

Возгласы чередовались с пением хором, вздохи — с откашливаньем и стенаньем. Сложенные двуперстно руки с азартом колотились в грудь и плечи, удары лбами в пол были усердно-гулки.

Зыков кадил иконам, кадил молящимся, внятно читал с завойкою по книге. Чмыкали носы, по бородам катились слё-

---

зы. У Зыкова тоже зарябило в глазах: Нерукотворный Спас взирал на него уныло.

— Трижды сорок коленопреклоненно, Господи помилуй рцем...

И мололи тьму и сотрясали кедровый пол бухавшие земно великаны.

Благочестивое пыхтенье, вздохи, стоны прервал громкий голос Зыкова:

— Помолимся, отцы и братия, от всея души и сердца, по-своему, как Господь в уста вложил.

— Аминь.

Он уставился взором в строгий Спасов лик, воздел руки, запрокинул голову, — чёрные волосы взметнулись:

— О, пречестный Спасе, заступниче бедных и убогих! Разожги огонь ярости в сердцах наших, да падут попы-никонианцы-табашники и все власти сатанинские от меча карающего. Да соберём мы веру свою правую, и сохраним, и нерушимо укрепим. Как ты, Спасе и Господи, гнал вервием торгующих из храма, так и меч наш карающий с дымом, с кровью пронесётся над землёй. Верное воинство твоё — дружина нашу — спаси и сохрани во веки веком...

— Аминь... Во веки веком... Спаси сохрани... — засебло набухший вздохами воздух.

Зыков земно поклонился Спасу, встал боком за подсвечник и, подняв руку, бросил в гущу склонившихся голов:

— И опять, вдругорядь, требую клятвы от вас. Зачинаем большое дело, дружина наша множится, как песок, и работы впереди — конца-краю не видать. Клянитесь всечестному образу: слушаться меня во всём — все грехи ваши я на себя беру — я ответчик! Клянись — не пьянствовать... Клянись — бедных, особливо женщин, не обижать. Клянись...

И враз загудела тьма, как девятый вал:

— Клянёмся...

И никло пламя у свечей:

— Клянёмся.

— Клянись стоять друг за друга, стоять за правду, как один, даже до смерти. Клянись... Все клянись!..

— Клянёмся... Все!..

— Теперича подходи смиренно с лобызанием.

А когда моленная опустела, Зыков притушил до единой все свечи и зашагал чрез тьму, суеверно озираясь. Кто-то хватал его за полы полушубка, кто-то дышал в затылок холодом, по спине бегали мурашки.

---

В лице быстро сменилась кровь, и сердце окунулось в тревожное раздумье:

«Так ли? Верен ли путь мой? Не сын ли погибели расставляет сети для меня?» — шептал он малодушно.

И, опрокидывая всё в своей душе, Зыков кричал, кричал без слов, но громко, повелительно:

— Нет! Христос зовёт меня... Народ зовёт..

Костры во дворе померкли. У глубоких нор, у землянок и зимников, где коротали морозное время партизаны, в лесном раскидистом кольце за заимкой, пересвистывались дозорные, сипло взлаивали сторожевые псы.

Зыков вскочил на коня — ему надо крепко обо всём подумать, побыть наедине с собой, среди сонного леса, среди омертвевших гор, — ударил коня нагайкой и поехал в бездорожную глухую мглу.

А в бездорожной безглазой мгле, выбравшись на знакомый большак, ехали обратные путники — усач и парнишка. Ехали в радости: сам Зыков идёт им на подмогу.

Старец Варфоломей пробудился от сна и творил предупредительную молитву, истово крестясь.

Анна Иннокентьевна, укрывшись заячьим пятиаршинным одеялом, одиноко глотала слёзы.

После третьих петухов заскрипела дверь, и Зыков встал против старика-отца.

— Батюшка-родитель, благослови в поход, утречком.

Старец Варфоломей в белых портах и в белой, по колено, рубахе, весь белый, угловатый, сухой, сел на кровать и, обхватив грудь, засунул ладони под мышки.

— Руки твои в крови. Пошто докучаешь мне, пошто не дашь умереть спокойно? — слабым, но страстным шёпотом проговорил старик.

— Кровь лью в защиту бедных и обиженных... Так повелел Христос, — убеждённо возразил сын.

— Замолчи, еретник! Засохни. — Старец зловеще загрозил перстом. — Рече Господь: подъявый меч от меча погибнет. Чувешь?

— Неизвестно, что бы теперича сказал Христос, — стараясь подавить закипающее сердце, проговорил Зыков.

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, и, чуть отвернувшись, косил глаза на дышавшую смолой колоду-гроб:

— Рассуди, родитель, не гневайся. Ежели все будем сидеть смиренно, аки агнцы, придёт волк, перебьёт всех до единого, заберёт себе все труды наши, вырежет скот, разорит пасеки.

---

Сладко ли? Что ж, дожидать велишь? Что ж, прикажешь смотреть, как жгут и погубляют целые деревни? — Зыков прижал к груди руки и умоляюще глядел в лицо отца. — Родитель, подумай. Ты стар, очеса твои зрят дальше. Родитель, благослови! Невпервой прошу, колькраты прошу: благослови. Мне тоже тяжко, родитель. Зело тяжко на душе...

Старец нахмурил хохлатые брови, большие мутные немигающие глаза его были холодны и бесстрастны, рот открыт.

И показалось сыну: сизый дым ползёт от глаз, от бровей, от седых косм старца. Сердце сына задрожало, зарябило в глазах, дрогнул голос:

— Родитель-батюшка! — всплеснув руками, он порывисто шагнул к отцу: — Родитель!

— Уйди, сатано, не смущай, — и старик угловато махнул высохшей рукой. — Колькраты говорил: уйди! Кровь на тебе, кровь.

Зыков поклонился отцу в ноги, сухо сказал:

— Прощай, — и, как в дыму, вышел.

## Глава II

Месяц стоит в самой выси морозной ночи. Голубоватые сугробы спят. Горы сдвинулись к реке, и у их подола — городишка. Три-четыре церкви, игрушечная крепость на яру: башня, вал, запертые ворота. Улочки и переулочки, кой-где кирпичные дома, оголённые октябрьским ветром палисады. Это на яру.

Спуск вниз, обрыв, и внизу будто большое село — вольготно расселись на ровном, как скатерть, месте — дома, домишки и лачуги бедноты.

Городок тоже в снежном сне. Даже караульный в вывороченных вверх шерстью двух тулупах подрёмывает по привычке у купеческих ворот, да на мёртвой площади, возле остеклённого лунным светом храма, задрав вверх морду, воеет не то бесприютная собака, не то волк.

Город спит тревожно. Кровавые сны толпятся в палатках и хибарках: виселицы, недавние выстрелы, взрывы бомб, набат звенят и стонут в наполовину уснувших ушах. Вот вскочил старик-купец и, обливаясь холодным потом, нырнул рукой под подушку, где ключи:

— Фу-у-ты... Слава Те, Христу.

---

Вот священник визжит, как под ножом; вот сапожных дел мастер бормочет, сплёвывая через губу:

— Где, где? Бей их, дьяволов!

А собака воеет, побрякивает колотушкой караульный, и дозорит в выси морозной ночи облысая холодная луна.

Впрочем, ещё не спят неугасимые у крепостных ворот зоркие костры, и возле костров борется со сном кучка отважных горожан из лачуг и хибарок. Иные спят. Блестят винтовки, топоры, в сторонке раскорячился пулемёт и задирчиво смотрит на ворота.

А за воротами тишина: умерли, спят — иль ожидают смерти? Человек не видит, но месяцу видно всё: «Эй, люди у костров, не спи!».

Ванька Барда, чтобы не уснуть, говорит:

— Скоро смена должна прибыть. Чего они канителяются то? Нешто спсылать кого...

Никто не ответил.

Ванька Барда опять:

— Ежели денька через три зыковские партизаны не придут, каюк нам... — И безусое лицо его в шапке из собачины подёргивается трусливой улыбкой.

— Как это не придут! — скрипит бородач, косясь на земляной вал крепости.

— Могут дома не захватить Зыкова-то: он везде рыщет...

— Тогда не придут.

— В случае неустойка — я в лес ударюсь, в промысловый зимник... Там у меня припасу сготовлено: что сухарей, что мяса, — уныло тянет Барда.

— А ежели к Колчаку в лапы угодишь?

— А почём он узнает, что я большевик? Ваш, скажу... Белый. На брюхе не написано.

— Ты, я вижу, дурак, а умный... — по-хитрому улыбнулся бородач и вдруг быстро привстал на колени, вытянул лицо. — Чу!.. Шумят. За валом.

— Эй, кобылка! — звонко крикнул своим Ванька Барда.

Два десятка голов оторвались от земли.

— Вставай!

Но всё было тихо.

И вслед за тишиной грянул с вала залп. Ванька Барда кувырнулся головою в костёр. Караульный там, у купеческих ворот, свирепо ударил в колотушку, вытаращил сразу потерявшие сон глаза. Из хибарки выскочил человек и выстрелил в небо. Заскрипели городские калитки, загрохотали выстрелы. Пронёсся всадник. Собака бросилась к реке.

---

— Ну, опять, — мрачно сказал чиновник акцизного управления Фёдор Петрович Артамонов.

Он притушил лампу и упёрся лбом в оконное стекло, курносый нос его ещё больше закурносился, и впалые глаза скопились.

Дом, где он квартирует, двухэтажный, церковный. Вверху живёт священник.

— Тьфу, — жёлчно плюнул он и заходил по комнате.

Лунный свет зыбкий, странный. Голубеет и вздрагивает открытая кровать, Артамонову чудится, что на кровати лежит мертвец с голым, как у него, черепом.

— Чёрт с тобой, — говорит Артамонов, ни к кому не обращаясь, достаёт из шкапа бутылку казённой водки и наливает стакан. В зеркале туманится его отражение. — За здоровье верховного правителя, адмирала Колчака, чёрт его не видал, — раскланивается он зеркалу, пьёт и крикает. Ищет, чем бы закусить. Сосёт голову селёдки. — Дрянь дело, дрянь. Россия погибла. Пра-а-витель... Офицеришки — сволочь, шухера, пьяницы... — думает вслух Фёдор Петрович, порывисто и угловато, как дергунчик, размахивает руками, утюжит чёрную большую бороду, и глаза его горят. — Ха, дисциплина... Да сволочи вы этикие! Разве такая раньше дисциплина-то была... И что это за власть! Городишка брошен на обум святых, ни войска, ни порядка. Пять раз из рук в руки. То какая-нибудь банда налетит, то эта дрянь, большевичишки, откуда-то вылезут из дыры. А кровь льётся, тюрьмы трещат... Вот и поработай тут.

Выстрелы за окном всё чаще, чаще. Чёрным по голубому снегу снуют людишки. По потолку над головой раздались шаги: проснулся поп.

— Вот тут и собирай подать. А требуют. Петлёй грозят.

Постучались в дверь.

— Войдите!

Бородатый священник в пимах, хозяин. Глаза сонные, свиначьи.

— Стреляют, Фёдор Петрович! Пойдёмте, Бога для, к нам... Боязно.

— Большевиков бьют, — не то радостно, не то ожесточённо сказал чиновник. — Пять суток только и потанцевали большевики-то... Да и какие это большевики, так, сволота, хулиганы...

— Говорят, за Зыковым гонцы пошли, — сказал священник.

---

— Что ж Зыков? Зыков за них не будет управлять. Зыков — волк, рвач.

— Говорят, красные регулярные войска идут. Дело-то Колчака — швах. Боже мой, Боже, — голос священника вилял и вздрагивал. — А Зыкова я боюсь — гонитель церкви.

— Да, Зыков — ого-го, — за кержацкого Бога в тюрьме сидел, — чиновник ощупью набил трубку и задымил.

— Эх, жизнь наша... Ну, Фёдор Петрович, пойдёмте, Бога для, прошу вас. И матушка боится.

На ходу, когда подымались по тёмной внутренней лестнице, Артамонов басил:

— Вам и надо Зыкова бояться, отец Пётр. Не вы ли, священство, организовали погромные дружины святого креста? А для каких целей? Чтоб своих же православных мужиков бить...

— Только большевицкого толку! — вскричал священник. — Только большевицкого толку, противных власти верховного правителя...

— Да вашего верховного правителя мужики ненавидят, аки змия, — нескладно загромыхал Артамонов.

— Ежели красную сволочь не истреблять — в смуте кровью изойдём.

— Да ваше ли это пастырское дело?!. Ведь по вашему навету пятеро повешено... Отец Пётр! Батюшка!

Священник отворил дверь в освящённые свои покои и сказал сердито:

— Ээ, Фёдор Петрович, всяк по-своему Россию любит.

Утром красный пятидневный флаг, новенький и крепкий, был сорван с местного управления, и водружён старый, потрёпанный, белый-красный-синий.

В это же утро три сотни партизан двинулись в поход.

Под Зыковым чёрный гривастый конь, как чёрт, и думы у Зыкова чёрные.

## Глава III

Зыковские партизаны в этом месте впервые. Но население знает их давно и встречает везде с почётом.

Уж закатилось солнце, когда голова утомлённого отряда пришла в село.

На площади возле деревянной церкви зажгли костры. Мужики добровольно кололи овец, кур, гусей, боровков и с поклоном тащили гостям в котлы.

---

— Обида вам есть от кого? — допрашивал Зыков обступивших его крестьян. — Поп не обижают?

— Ох, батюшка ты наш, Степан Варфоломеич... Поп у нас, отец Сергей, ничего... Ну от правительства от сибирского жителя не стало. Набор за набором, всех парней с мужиками, пятнай их, под метёлку вывели. А придёт отряд — всего давай. А нет — в нагайки... Ежели чуть слово поперёк — висельница... Во-о-о, брат, как. Опять же черти-собаки...

— Знаю.

— Вот на этой самой колокольне два пулемета было осенью, для устрашения. Вот они какие, черти-собаки-то... А что девок перепортили, пятнай их, баб... Ну, ну...

— Чехословаки, туда-суда, утихомирились, а вот мандяришки... Ох, и лютой народ... Да казачишки с Иртыша...

— Все одним миром мазаны.

Зыков сидел у костра на потнике, облокотившись на седло в серебряном окладе. Он поднял голову и прищурился на крест колокольни.

— Поп не обижают? — опять переспросил он, и глаза его вызывающе округлились.

— Нет. Обиды не видать... А тебе на артель-то, поди, сена надо лошадям да овса? Да-а-дим...

— Срамных! — крикнул Зыков. — Иди-ка на пару слов.

От соседнего костра, бросив ложку, вскочил рыжебородый и мигом к Зыкову.

— Вон в том доме торговый человек, Вагин, — сказал Зыков. — Возьми людей, забери овса, сена: надо коней накормить.

— Правильно, резонт, — весело переглянулись мужики.

— Эй! Кто потрапезовал? — Зыков поднялся. — Ну-ка с топорами на колокольню... Руби в верхнем ярусе столбы.

— Ну?! Пошто это? — опешили крестьяне. — Мешает она тебе?!

— Надо.

Затрещала обшивка, доски с треском полетели вниз. Ребятишки таскали их в костры. Акулька распорол гвоздём руку и испуганно зализывает кровь.

— Пилой надо, пилой! — раздавались голоса. — Силантий, беги-ка за пилой.

Из избы выскочил низенький, похожий на колдуна, старик и — к Зыкову:

— Пошто храм Божий рушишь? Ах, злодей!... Вы кто такие, сволочи?!

Он топал ногами и тряс бородищей, как козёл.

---

— Удди, дедка Назар! В голову прилетит, — оттаскивали его мужики.

Топоры, как коршун в жертву, азартно всаживали крепкий клюв в кондовые столбы.

— А колокола-то... Надо бы снять. Разобьются.

— Мягко, снег.

— Однако разобьются.

Зыков поймал краем уха разговор.

— Звоны ваши не славу благовествуют Богу, а хулу, — сказал он громко. — Попы навося загадили вашу дорожку в Царство Божье. На том свете погибель вас ждёт. — Он вдруг почувствовал какую-то неприязнь к самому себе, крикнул вверх. — Эй, топоры, стой! — и быстро влез на колокольню. — Сколько? — хлопнул он ладонью в главный колокол.

— Тридцать пудов никак.

— Добро, — сказал Зыков и подлез под колокол. — Вышибай клинья!

Края колокола лежали на его плечах.

Зацокало железо о железо, молот, прикрывавая, метко бил.

— Зыков! Смотри, раздавит... Пуп сорвёшь.

— Вали, вали...

Колокол осел, края врезались, как в глину, в плечи. Ноги Зыкова дрогнули и напряжились, стали, как чугун.

— Подводи к краю! Не вижу... — прохрипел он, едва отдирая ноги от погнувшегося пола, и двинулся вперёд.

— Берегись! — и колокол, приподнявшись на его ручищах, оторопело блякнул языком и кувырнулся вниз, в сугроб.

Зыков шумно, с присвистом, дышал. Шумно, с присвистом, вдруг задышал народ.

— Вот это, ядрит твою, так сила...

Из носа Зыкова струилась кровь, на висках и шее вспухли жилы. Он поддел в пригоршни снегу и тёр ими налившееся кровью лицо.

Топоры вновь заработали, щепки с урчанием, как лягушки, скакали в воздухе. Кучка мужиков, пыхтя, выпрастывала из сугроба колокол.

Зыков опять стоял внизу, среди толпы.

— Канат, — скомандовал он. — Зачаливай!

От поповской калитки кричал священник, его сдерживали, успокаивали мужики, а старухи орали вместе с ним, скверно ругались, взмахивали клюшками.

— А как насчёт попа, братцы? Говори откровенно... — опять сквозь стиснутые зубы спросил Зыков, и белки его глаз, как змеиное жало, вильнули в сторону попа.

---

Мужики молчали.

— Эй, кто там ещё? Слезай с колокольни!.. Подводи лошадей.

И по десятку коней впряглись в оба конца каната. Мужики, а сзади ребяташки, крепко вцепились в канат, нагнулись вперёд, напрягли мускулы, застыли. И словно две огромных сококоножки влипли присосками в растоптанный белый снег.

— Готово?

— Вали!

Народ ухнул, закричал, некоторые наскоро перекрестились, нагайки ожгли всхрапнувших коней, верх колокольни затрещал, заскорготал костями, покачнулся и, чертя крестом по звёздному небу, рухнул вниз. Взвились снег и пыль, лошади и люди посунулись носами. Хохот, крик, весёлая визготня парнишек.

А дедка Назар, подкравшись сзади, грохнул-таки Зыкова костылём по голове:

— Нна, антихрист!.. Нна...

— Дурак! — круто обернулся к нему Зыков, поправляя папаху. — Забыл, как пулемёты-то на колокольне стояли? Забыл?

От двух его серых в чёрных ободках, суровых глаз дед вдруг шарахнулся, как от чёрта баба:

— Гаф! Гаф! Гаф! — отрывисто, сумасшедше взлаял он. — У, собака. Кержацка морда. Гаф!.. — и под дружный хохот, боком-боком прочь, в прогон.

Костры ярко горели, с кострами веселей. Воздух над ними колыхался, и видно было, как колыхались избы, небо, мужики.

В поповском доме погас огонь. От поповских ворот сипло лаял в небо старый поповский пёс. Девушки и бабы ходили вдоль освещённого кострами села, перемигивались, пересмеивались с партизанами, угощали их кедровыми орехами:

— На-ка, бардадымчик, погрызи.

Парнишки осматривали ружья, вилы, барабаны. Возле пулемётов целая толпа.

— Эй! — закричал Зыков. — А где здесь староста?

И по селу многоголосо засакало:

— Эй, Петрован!.. Где Петрован?.. Копайся скорей... Зыков кличет.

Петрован, лет сорока мужик, суча локтями и сморкаясь, помчался от пулемёта к Зыкову. За ним народ.

— Что прикажешь? Я — староста, Петрован Рябцов. — Он снял шапку и, запрокинув голову, смотрел Зыкову в глаза.

---

— Я по всем сёлам делаю равнение народу, — на весь народ заговорил тот. — И у вас тоже. Шибко богатых мне не надо, и шибко бедных не должно быть. Сердись не сердись на меня, мне плевать. Но чтоб была правда святая на земле. Вот что мне желательно. И у меня нишкни. Ну! Эй, староста! которые бедные — по леву руку станови, которые богатые — по праву руку. Срамных, наблюдай. А я сейчас. Коня!

Он вскочил в седло — конь покачулся — и поехал за околицу, на дорогу, проверять сторожевые посты.

— Эй, часовые! Не дремать! — покрикивал он, грозя нагайкой.

А в толпе мужиков крик, ругань, плевки. Парфёна тащили из бедноты к богатым. Аристархова не пускали от богатых в бедноту. Дранный оборвыш гнусил из левой кучки:

— Обратите внимание, господа партизаны: семья моя девять душ, а избёнка — собака ляжет, хвост негде протянуть, вот какая аккуратная изба. Мне желательно обменяться с Таракановым, потому у него дом пятистенок, а семья — трое... А моя изба, ежели, скажем, собака...

— Сам ты собака. Ха! В твою избу. Вшей кормить.

Бабы подошли. У баб рты, как пулемёты, руки, как клещи, и сердце — перец.

Кричал народ:

— У тя сколь лошадей? А коров? Двадцать три коровы было.

— Было да сплыло. В казну отобрали. Дюжину оставили.

— Ага, дюжину!.. А мне кота, что ли, доить прикажешь?

— Братцы, надо попа расплантовать... Больно жирен.

— Сколь у него лошадей? Четыре? Отобрать... Две Василью, две оборвышу. Только — пропьёт, сволочь...

— Кто, я? Что ты, язви ты...

— А попу-то что останется?

— Попу — собака.

— Это не дело, мужики, — выкрикивали бабы.

— Плевала я на Зыкова... Кто такой Зыков? Тьфу!

— А вот подъедет, он те скажет — кто.

Подъехал Зыков:

— Ну, как? Слушай, ребята. Обиды большой друг дружке не наносите...

— Степан Варфоломеич! Набольший! — и дранный, низенький оборвыш закланялся в пояс чёрному коню. — Упомести ты меня к богатею Тараканову, а его, значит, ко мне: избёнка у меня — собака ежели ляжет, хвоста негде протянуть.

Зыков сердито прищурился на него, сказал:

---

— Тащи сюда свою собаку, я ей хвост отрублю. Длинен дюже.

В толпе засмеялись:

— Ах, ядрёна вошь... Правильно, Зыков!.. Он лодырь.

— Ну, мне валандаться некогда с вами, чтобы из дома в дом перегонять, — потрогивая поводья, сказал Зыков. — Уравняйте покуда скот... Надо списки составить, посоветайтесь, идите в сборню... Что касаясь жительствова, вот укреплюсь я, как следовало быть, тихое положение настанет, все сёла новые по Сибири построим. Лесу много, знай топоры точи. Всем миром строить начнём, сообща. Упреждаю: поеду назад, проверка будет. Чтоб мошенства — ни-ни... Эй, Ермаков!

К ночи всё затихло. Месяц был бледный, над тайгой и над горами вставал туман.

Партизаны разбрелись по избам, многие остались у костров. Лошадей прикрыли потниками, ресницы, хвосты и гривы их на морозе поседелели.

Зыков с шестью товарищами ушёл на ночевую к крепкому мужику Филату.

— Чем же тебя побаловать? — спросил Филат. — Чай потребляешь?

— Грешен, пью. Плохой я, брат, кержак стал.

— Эй, баба! Становь самовар, да дай-ка щербы гостям. Такие ли добрые муксуны попались, объяденье.

Щербу ели с аппетитом. Выпили по стакану водки. Как ни просил хозяин повторить — нельзя.

— Мой сын, — сказал Филат, — в дизентирах. Ну, он желает записаться к тебе. Гараська, выходи! Чего схоронился?

Вышел высокий, толстогубый, с покатыми плечами, парень, и заскрёб в затылке:

— Жалаим... Постараться для тебя, — сказал он, стыдливо покашливая в горсть.

— Пошто для меня? Для ради народа, — поправил Зыков. — Ну, что ж. Рад. Конь есть?

— Двух даём, — сказал отец. — И винтовка у него добрая. Мериканка. И вся амуниция. С фронта упорол.

И, пока пили чай, ещё записалось четверо, с винтовками и лошадьми.

— Мы не будем убивать, так нас убьют, — сказал поощрительно какой-то дядя от дверей.

Крестьян набилось в избу много. Были и женщины. Зыков крупно сидел за столом среди своих и хозяев, на голову выше всех. Чёрные, в скобку подрубленные волосы гладко причёсаны. Поверх чёрной рубахи шла из-под густой чёрной боро-

---

ды серебряная с часами цепь. Бабы не спускали с него глаз. Акулька, маленькая дочь Филата, выгибаясь и потягиваясь, стояла у печки. Раненая гвоздём рука её была замотана тряпкой.

Акулька всё посматривала на чёрного большого дяденьку и что-то шептала. Потом кривобоко засеменила к своей укладке, вытащила заветную конфетку с кисточкой и, сунув её в горсть Зыкову, нырнула, сверкая пятками, в толпу баб и девок. Все захохотали.

Зыков растерянно повертел конфетку, качнул головой и тоже улыбнулся:

— Спасибо, девахы... Раста, жениха найду, — сказал он, пряча подарок в карман.

Акулька, подобрав рубашонку, голозадо шмыгнула по ступкам на печку, к бабушке.

Когда укладывались спать, хозяин спросил:

— Много ли у тебя, Зыков, народу-то?

— К двум тысячам подходит.

— Поди, твои кержаки больше?

— Всякие. Чалдонов много да беглых солдат. Каторжан да всякой шпаны — тоже прилично. А кержаков не вовся много.

— А с Плотбища есть кержаки у тя?

— С Плотбища? Кажись, нет. А где это? Чего-то не слышал.

— Весной откуда-то прибегли, разорили, вишь, их там. В глухом логу живут... Нонче пашню запахивали быдто. Верстов с пятнадцать отсель.

— Надо навестить, — сказал Зыков и стал одеваться.

— Куда ты? Что ты, ночь... Спи!

— Ничего. Я там переночую. Скажи-ка парню своему, чтоб двух коней мигом заседлал. Он знает дорогу-то?

Зыкову хотелось спать, глаза не слушались, но он враз пересилил себя. Горела лампадка у старых икон. Шестеро товарищей его спали вповалочку на полу. Он притворил за хозяином дверь и поднял за плечи рыжеголового.

— Слушай-ка, Срамных. Ну, прочухивайся скорей, чего шары-то выпучил! Это я. Вот что... — Зыков задумался. — Завтра до солнца айда в город. По пути смени коня и дальше. Чтоб к вечеру туда поспеть. Вынюхай, понимаешь, всё. Койкого поприметь. Умненько.

Потом поднял корявого и низенького, в чёрной бороде с проседью; тот сразу вскочил и коренасто, как кряж, стоял на шубе, раскорячив ноги. Волосы шапкой висли на глаза.

— Слушай, Жук. Завтра отряд ты поведёшь. Понял? Ты. А я нагоню.

---

Жук почтительно встряхивал головой.

— Кони готовы! — весёлым голосом крикнул Гараська, входя к ним. — Винтовку надо?

— Захвати.

Было одиннадцать часов. Месяц высоко вздыбился. Скрипучие ворота выпустили двух всадников.

Они проехали вдоль села. У костров, в тулупах и пимах, взад-вперёд, чтоб не уснуть, ходили с винтовками часовые. У дальних за селом ворот, в поскотине, возле покрытых лесом скал, тоже горел костёр. Четверо спали около жаркого пламени, пятый, часовой с винтовкой, скорчившись, сидел на брошенном у костра седле и храпел. Зыков, проезжая, сгрёб его за шиворот, приподнял, бросил в сугроб и, не оглядываясь, поехал дальше. Гараська захохотал:

— Вскочил... Хы-хы-хы... Опять кувырнулся... Целит!..

Жихнула пуля мимо самой зыковской головы, и горласто, среди гор, грохнул выстрел. Зыков карьером подскакал к костру. Все у костра вскочили:

— В кого стрелял? — гневно крикнул он.

Часовой, раскосый парень, отряхивая снег, сердито скосил на Зыкова глаза:

— В чёрта!.. В того самого, что в сугроб людей швыряет.

Зыков вынул пистолет и выстрелом в лоб уложил часового на месте.

От села, в тумане взвихренного снега, с гиканьем мчались марш-маршем всадники.

— Сменить часового! — крепко сказал Зыков и поехал вперёд.

Гараська весь трясся, зубы его стучали.

Ещё ковш Сохатого не повис отвесно над землёй, как всадники, миновав звериные горные тропы и лога, подъехали к кержацкой заимке. Заимка, притаившись, плотно сидела в ущельи, как в пазухе блоха.

— Тпру, — остановил Гараська. — Здесь.

Из конур, из-под амбара, с лаем выскочили собаки. Трусливый Гараська поймал жердину. Зыков, подойдя к двери, постучал. Гараська, взмахивая жердиной, робко пятился от разъярённой собачьей своры. Зыков цыкнул и пошёл на собак. Вся свора врассыпную. Гараська сказал:

— Однако, Зыков, ты колдун...

За дверью раздался голос, в избе вспыхнул огонёк.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — сказал Зыков.

---

— Аминь.

Дверь отворилась, перед ними стоял высокий сухой бородач.

— Милости просим... Кто такие, гостеньки?

Маленькая изба, построенная на спешку, битком набита спящими. Было жарко. От разбросанных на полу подушек отрывались встрёпанные головы, мигали сонными глазами и валялись вновь.

## Глава IV

С утра Жук повёл отряд дальше. Их путь был среди гор, в стороне от большака, напрямки, по ущельям, падам и узеньким долинам горных речушек. Древние засельники этого края, инородцы, частью были перебиты в гражданской склоке, частью бежали куда глаза глядят, а иные притаились поблизости, в недоступных потайных местах.

И расстилались по пути горы, тайга, сугробы, вольный ветер и безлюдье. Редко-редко, в стороне — заимка, деревня или село.

В это же утро оповещённые по заимкам кержаки собирались в избу. Уж нечем было дышать, и Зыков предложил пойти на воздух.

Румяные, весёлые лица баб и девок улыбочиво проводили кержаков. Бабы стряпали, топили печи, звонко перекликались.

Гараська остался в избе. Сидит, врёт. Бабьё смеётся.

— Овса, что ли, припереть? Сена? Пойдём кто-нибудь, покажь.

Всё тело Гараськи горело, играла кровь. Но старуха, дьявол, зла, как чёрт. И глаза у неё по ложке.

В глухом сосняке, где заготавливали лес, народ расселся на поваленных деревьях. Для сугрева, для весёлости, развели костёр. Зыков — в длиннополом, чёрного сукна, на лисьем меху, кафтане. Позднее зимнее солнце всходило из-за цепи гор. Зарумянились сосны, зарумянились бородатые и безбородые крепкие лица кержаков. Красный кушак на Зыкове стал ярким, как кровяной огонь.

— Пошто, отцы и братья, ни единого человека из вас не было у меня на заимке? — спросил Зыков. — Давайте, сотворим беседу.

— Скрытничаем мы. Вот и сидим, боимся.

---

— Бежали, ягодка, сюда, бежали, — молодым голосом сказал белый старик на пне. Нос у него тонкий, горбатый, на серебряном сухом лице два чёрных глаза. — наших мальцов Колчак воевать тянул, в солдаты. А с кем воевать-то, чью кровь-то лить, спрошу тебя? Свою же. Сие от диавола суть.

Старик порывисто запахнул зипун и, оглянувшись на народ, подозрительно уставился в лицо гостя.

Зыков крякнул, поправил пушистую шапку. Раскачиваясь и чуть согнувшись, он ходил взад-вперёд меж костром и народом.

— Мы бы пришли к тебе, да перечат старики, — выкрикнул с каким-то надрывом молодой парень и сплюнул в снег.

— Попридержи язык! — Белый дед гневно ударил костылём по сосне и погрозил в сторону примолкшей молодёжи. — Словоблуды! Табашниками скоро заделаетесь.

— Парень дело говорит, — сказал Зыков и остановился. — Так ли, сяк ли, а вы явственно должны мне ответить, кто вы суть. Я только сего ради сюда и завернул. Истинно, не вру.

Он сложил на груди руки, и спрашивающие глаза его перебежали от лица к лицу.

— Помощи от вас я не требую: народ у меня есть, и ещё идут. А вот ответьте, без лисьих хвостов, по совести: со мной ли вы, друзьями, враги ли мои лютые, или же ни в тех, ни в сех? Я мыслю — не враги вы мне. — В его голосе была и ласка, и угроза.

Помолчали. Белый дед смущённо постукивал костылём по пню. Все смотрели на него, ждали, что скажет.

Дед поднял голову, положил подбородок на костыль и, надменно потряхивая головою, спросил:

— Ты вопрошаешь, сыне, кто мы тебе: во Христе ли или во диаволе? А по первоначалу ты сам ответь: какое оправданье дашь делам своим? Дела же твои, сыне, зело скудельны. — Глаза старика злые, чёрные, и острые, как шилья.

Зыков вздохнул и качнулся всем телом:

— Ты, старец Семион, вижу, в одну дудку с отцом дудишь, с моим родителем. По-небесному вы, может, и зрячи, а по-земному — слепые кроты. Где ты бывал? что видел? тайгу, горы, пни гнилые. А я везде бывал. Руки мои в крови, говоришь? Верно. Зато сердце моё за народ кипит.

Кержаки закричали, зашевелились. Как чёрная молния, со свистом рассекая морозный воздух, прорвался за добычей ястребок.

Зыков длиннополо взмахнул кафтаном и вскочил на пень:

— Эй, слушай все!

---

Молодёжь прихлынула к самому пню и, раздувая ноздри, дышала в мороз огнём.

— Кто гонитель нашей веры древней? Царь, архиерей, попы, начальство разное, чиновники, купцы. Так или не так?

— Так, так... Истинно.

— Добре. А посему — изничтожай их, режь и капища ихние жги. Настало время. Вся земля в огне. Откройте глаза и уши. Кто крепок, иди за мной. Чрез огонь, чрез меч мы возродим веру нашу в Святом Духе, Господе истинном. Кто слаб, зарывайся, как червь, в землю. На врага же своего пойду грудь к груди. Ну, говори, Семион, чего трясешь бородой-то!

Дед ткнул в воздух костылём, ткнул в лицо Зыкова шилем своих глаз, крикнул:

— Семя антихристово! Антихрист!.. Дело ли сыну нашей древлей матери-церкви с топором гулять?!

— А ты забыл Соловецкое сиденье при Алексее при царе? — подбоченился Зыков и перегнулся с пня, длинная цепь на чёрной рубахе повисла дугой. — Нешто иноки старой веры не били царских слуг, не лили крови? Вспомни, старик, сколько и нашей крови в то время пролито. Вспомни страданья протопопа Аввакума.

— Семя антихристово! Много вас, предтечев, развелось. Но и сам антихрист уже близ есть. Мозгуй! Голова пустая! По числу еже о нём — шестьсот шестьдесят шесть — узнаешь его, число же человеческое есть антихристово.

— Кому нужны твои старые слова? — запальчиво, но сдерживаясь, проговорил Зыков. — О каком числе речь? Много раз предрекалось число сие, даже с незапамятных времён древних. Какое твоё число, старче?

— Лето грядущее: едина тысяща девятьсот двадцать.

Старик заметил яд улыбки в густых усах и бороде Зыкова и голосом, звенящим, как соколиный крик, рванул ему в лицо:

— Демон ты или человек?! Пошто харю корчишь?.. Во исполнение лет числа зри книгу о вере правой.

— Не чтец я твоих заплесневелых книг!! — загремел, как камни с гор, голос Зыкова, и все кержаки, даже сосны, поднялись на цыпочки, а старик разинул рот: — Оглянись, какие времена из земли восстали?! Ослеп — надень очки. Книга моя — топор, число зверя — винтовка да аркан!

— Уходи, Зыков, уходи! — весь затрясся старик. — Не друг ты нам, всех верных сынов наших отвратил от пути истины... Горе тебе, соблазнителью... Знаю дела твои... Уходи! — неистово закричал старик, и его костыль угрожающе поднялся.

---

— Уходи, Зыков!! — вмиг выросли в руках бородатых кержаков дубинки. С треском, ломая поваленные сосны, толпа метнулась к Зыкову:

— Хриstopродавец!.. Прочь от нас!!

Но молодёжь вдруг повернулась грудью к своим отцам.

С злорадной улыбкой Зыков соскочил с пня и пошёл, не то-ропясь, к займке, затягивая на ходу кушак.

И толкались, лезли в его уши, в мозг, в сердце: крики, гвалт, стоны, матерщина кержаков.

Ехали медленно. Гараська то был мрачен: вздыхал и оглядывался назад, то лицо его, круглое, как тыква, и румяное, вдруг всё расцветало в сладкой улыбке. Гараська облизывался и пускал слюну.

«А ловко мы с Матрёшкой околпачили бабку-то. На-ка, старая карга, видала?» — Гараська мысленно наставил кукиш, захохотал и стегнул коня.

Зыков, прищуриль глаза и опустив голову, всматривался в свою покачнувшуюся душу, читал будущее, хотел прочесть всё, до конца, но в душе мрак и на дне чёрный сгусток злобы. И лишь ближайшее будущее, завтрашний день, было для него ясно и чётко.

«Этот старец Семион — ого-го...»

Зыков видит: злобный старик седлает коня, берёт двух своих сынов и едет к его отцу, старцу Варфоломею.

«Две ехидны... Ежели камень преградил твой путь на тропе горной, — столкни его в пропасть...»

И Гараська думает, улыбчиво облизывая толстые от поцелуев губы:

«Баба ли, девка ли — и не понял ни хрена... Ну до чего скусны эти самые кержачки!»

Кони захрапели. Зыков вдруг вскинул голову. У подножия горы, с которой они спускались в долину речки, ждали три всадника.

Зыков остановил коня. Гараська снял с плеча винтовку. Ствол, как застывшая чёрная змея, сверкнул на солнце.

— Зыков! Это мы, свои... Зыков... — И навстречу им, из-под горы, отделился всадник.

— Мирные, без оружия, — сказал Зыков.

— Эх, жалко, — ответил Гараська. — Давно не стреливал.

Когда съехались все вместе, три молодых парня-кержака сказали:

— А мы надумали к тебе, хозяин... Возьмёшь? Только у нас вооруженья нету. Убегли в чём есть... После неприятности.

---

— Вот, даже мне глаз могли подбить, — показывая на затёкший глаз, ухмыльнулся длиннолицый парень с чуть пробившейся белой бородкой.

— Ладно, — сказал Зыков. — Спасибо, детки.

— Куда, на заимку к тебе, али в город?

— На заимку. Вернусь, — к присяге приведу. С Богом.

Дорогой, посматривая на широкие плечища Зыкова, Гараська спросил:

— А правда ли, Зыков, что тебя и пуля не берёт?

— Правда. Ни штык, ни пуля, ни топор.

— Кто же тебя, ведун заговорил?

— Сам. Я ведь сам ведун.

Гараська захохотал:

— Ты скажешь... А пошто же хрест у тя? Сам ночесь видал, спали вместе.

Тот молчал.

— Быдто тебя летом окружили чехо-собаки, в избе быдто, а ты взял в ковш воды, сел в лодочку да и уплыл. Старухи сказывали.

— Врут. Это другие разбойники так дельвали: Стенька да Пугач.

— А ты, Зыков, нешто разбойник?

— Разбойник.

— О-ой. Врёшь! Те — атаманы. А ты нешто атаман?

— Атаман.

— Нет, ты воин, — сказал Гараська. — Ты за народ. У тебя войско. Ты войной можешь итти... Ты как генерал какой... Тебя народ шибко уважает. Про тебя даже песня сложена.

— Спой.

Гараська засмеялся и сказал:

— Да я не умею... Чижолый голос очень, нескладный... Ежели заору, у коня и у того со смеху кишка вылезет.

Долина всё сужалась. Жёлтые, скалистые берега были изрыты балками и, как зубастые челюсти, всё ближе и ближе сходились, закрывая пасть. На обрывах лес стоял стеной. Солнце ярко било в снег. Следы зверей и зверушек чертили рыхлые сугробы. Небо бледное, спокойное, наполненное светом и тишиной. Мороз старается щипнуть лицо. Очень тихо. Скрипучий снег задирчиво отвечает некованным копытам. Две вороны, по горло утонув в снегу, повёртывают головы на всадников. Сорока волнообразно пересекла долину и с вершины ёлки задразнилась. Взлягивая, прожелтел бесхвостый заяц. Сел. Уши, как ножи, стригут.

---

— А ты, Зыков, уважаешь с бабами греться? — Гараська смешливо разинул рот, повернул голову и насторожил припухшее, укушенное морозом ухо.

— Когда уважаю, а когда и нет...

— А я всегда уважаю... — облизнулся Гараська и в волнении задышал.

— У меня на этот счёт строго. — И, обернувшись, погрозил парню. — Имей в виду.

— Гы-гы-гы... Имею...

Они повернули от Плотбища в горелый лес.

В это время соборный колокол в городке заблаговестил к молебну.

## Глава V

Небольшой собор битком набит народом. Людской пласт так недвижим и плотен, что с хор, где певчие, кажется бурой мостовой, вымощенной людскими головами.

Редкая цепь солдат, сзади — мостовая, впереди — начальство и почётные горожане.

Все головы ровень, лишь одна выше всех, торчком торчит, — рыжая, стриженная в скобку.

Служба торжественная, от зажжённого паникадила чад, сияют ризы духовенства, сияют золотые погоны коменданта крепости поручика Сафьянова, и пуговицы на чиновничьих мундирах глазасто серебрятся.

Весь чиновный люд, лишь третьегодняшней ночью освобождённый из тюрьмы, усердно молится, но радости на лицах нет: ряды их неполны: кой-кто убит, кой-кто бежал, и что будет завтра — неизвестно.

У двух купцов гильдейских, Шитикова и Перепреева, и прочих людей торговых в глазах жуткая оторопь: чуют нюхом — воздух пахнет кровью, и напыщенная проповедь сегодчасного протоиерея для них звучит, как последнее слово над покойником.

Лицо сухого, но крепкого протоиерея Наумова дышало небесной благодатью. Он начал так:

— Возлюбим друг друга, како завеща Христос.

А кончил призывом нелицемерно стать под стяг верховного правителя и, не щадя живота своего, с крестом в сердце, с оружием в руках, обрушиться дружно на красные полчища,

---

на это отребье человеческого рода, ведомое богоотступниками на путь сатаны.

— Ибо не мир принёс Я вам, а меч, сказал Христос! — воскликнул пастырь, голос его утонул в противоречии, лицо вспыхнуло румянцем лжи, и глаза заволоклись жёлчью.

Рыжеголовый тщетно пытался вытащить руку из сплюсщенной гущи тела, потом кивком головы он освободил ухо от шапки волос и, разинув рот, весь насторожился.

По случаю избавления града сего от бунта изуверов и крамольников престарелый дьякон, выпятив живот, возгласил многолетие верховному правителю, победоносному воинству, верным во Христе иноплеменным союзникам, начальствующим лицам и всем богопасомым гражданам. А погибшим и умученным — вечная память.

После службы, под колокольный трезвон, народ повалил в городское управление.

— Будут речи говорить... Митинг...

— Митинги запрещены.

— А сегодня особый день... Разрешено. Шагай проворней!

Рыжий, весь взмокший, жадно глотал ядрёный морозный воздух. Он тоже шагал с другими, выпытывал:

— А это чей домок, фасонистый такой? А-а, Шитикова? Что, дюже богат? Обманывает? Сволочь. А чего смотрите-то на него?

Таня Перепреева шла из собора домой с младшей сестрёнкой своей, Верочкой.

Верочке весело, Верочка по-детски смеётся, указывая рукой на рыжего верзилу:

— Таня, Таня, гляди-ка.

Но Таня ничего не слышит и не видит возле. Её большие серые глаза устремлены вперёд и ввысь, её нет здесь.

Рыжий облизнулся на девушку:

— Вот так товарец... Чьих это?

Митинг прошёл тревожно. Председательствовал внебрачный сын монаха, чиновник Горицвет. Говорило начальство, представители правых партий, служилый люд и духовенство, даже седовласый протоиерей Наумов.

Настроение было подавленное, всех охватил заячий какой-то трепет, речи были тревожны и смутны: город отрезан, солдат горсточка, солдаты ненадёжны, продуктов и хлеба мало, на военную помощь правительства рассчитывать нельзя, красные же полчища с боем продвигаются вперёд. Спокойствие, спокойствие!.. Кто-то слышал от самого

---

коменданта, кто-то видел телеграмму, что сюда двинут отряд поляков, что этот отряд ещё вчера должен был прийти сюда... Долой! Враки! Довольно слухов! Тут предлагают слухи, а между тем — ха-ха! — всюду мужичьи бунты, грабежи, пожары, по стране рыщет партизанская рвань. Разбойник Зыков мутит народ, грабит храмы, режет власть имущих и богачей. Горе стране, где нет хозяина. На кого же уповать, где найти защиту? Единая надежда — Бог. Но для сего надо подготовить себя постом, покаянием, добрыми делами и, главное, возлюбить ближнего, как самого себя. А вся ли крамола арестована? Справку! Пожалуйста, справку о последнем крамольном мятеже. Убито и ранено граждан и солдат четырнадцать человек, двое пропали без вести. Со стороны же большевистской сволочи убито и изувечено семьдесят девять человек. А сколько красной сволочи ранено? Раненых нет. Bravo! Bravo!

С задних рядов поднялся костлявый, в чёрных очках, в измызганной шубёнке человек, и чахоточным голосом крикнул:

— А кто возвестил: любите врагов ваших? Кто?!

— А вот кто! — и кулак мясника ударил чахоточного по лицу. Очки погнулись, правое стёклышко упало на пол.

— Это портняга! Пьяница!..

— Он всегда за красных.

— Бей его!

— Сицыли-и-ист..

Но страсти постепенно утихали. Возле стенки, вытирая шубой штукатурку, продирался чахоточный, лицо его жёлто, костляво, безволосо, как у скопца, свободный глаз горел огнём, и жалко темнело сиротливое стеколышко.

— Иди, покуда цел, — тянул его за рукав милицейский, и сзади какой-то дядя в фартуке толкал его в загривок.

— Благодарим, граждане! Спасибо!.. — крикнул из дверей чахоточный и сплюнул кровью. — Убийцы вы!

— Вон, вон, вон!

Звонок.

— К порядку!

Взъершавшийся народ опускал перья, остывал, но ноздри всё ещё раздувались, и судорожно ходили пальцы на руках.

— Граждане, православные христиане!..

И в низком, сумеречном зале зашипело:

— Шитиков... Шитиков... Сам Шитиков.

Купец сбросил енотку, и на тугом животе его засияла золотая с брелоками цепь. Загривок и подбородок его хомутом

---

лежали на покатых плечах. Лысая, овальная, как яйцо, голова открыла безусый, безбородый рот и облизнулась.

— Граждане, — заквакал он, как весенняя лягушка, и большие лягушачьи глаза его застыли на вспотевшем лбу. — Кто приведёт мне христопродавца Зыкова — тому жертвую три тыщи серебром...

— Я приведу!.. Самолично, — раздался лесовой хриплый голос. Шитиков и сидевшие за столом быстро оглянулись. Из полутёмного угла шагнул рыжий верзила в полушубке, он выбросил широкую ладонь и прохрипел: — Давай, купец, деньги!.. Живьём приведу.

Шитиков пугливо откачнулся:

— Ты кто таков?

Рыжий исподлобья медленно взглянул на него:

— Я — неизвестно кто. А берусь... Давай деньги!.. Я каторжанин... И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьём... Давай деньги!

— А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий!.. Говорят, сюда идёт?! — закричали в народе.

— Зыков убит в горах.

— Нет, не убит... Идёт... Сюда идёт.

— Враки! — густо, по-медвежьи рявкнул рыжий. — Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу. Берусь!

Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:

— Ага, голубчики! — и тяжёлым шагом двинулся к дверям.

Народ в испуге поднялся с места. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стёкла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрошено лезли в дом свист и крики.

— В чём дело? Сядьте, успокойтесь!.. — отчаянным, дрожащим голосом взывал председатель. — В чём дело?.. Стой!.. Куда! — и сам был готов сорваться и бежать.

— Назад! Назад! — вкатывалась в дверь обратная волна. — Назад!.. Это два офицера, чехо-словаки, что ли... Поляки, поляки!.. И отряд... Десять человек... Двадцать... Сотня... Целый полк!

И с треском в зале, через гром аплодисментов:

— Ура! Ура!..

Два поляка-офицера при саблях, — тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой, — в синих венгерках, в длинных, чёсаного енота, сапогах, тоже кричали ура, тоже хлопали в ладони.

---

Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было...

Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Чёрт с ним, с митингом, он беспартийный, чёрт побери всех красных, белых и зелёных, он просто труженик, ему надо обязательно к пятнадцатому числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был, царю служил; Колчак пришёл — Колчаку; большевики власть возьмут — верой и правдой будет большевикам служить, чёрт их задави.

Отец Пётр тоже не ходил в собор. Счастливый отец Пётр!

Отца Петра крестьянин из соседней деревни на потребу к себе увёз, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливый отец Пётр, уехал!

А чиновник Фёдор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счётах щёлкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.

Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В этикие, прости Господи, времена живём. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томление, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко наособицу.

Не это ли самое томленье их почувял сердцем отец Пётр и упорно отказывался на потребу ехать? А всё-таки поехал. Судьба. Счастливый отец Пётр, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!

Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, учёный скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадья. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горячей печки дремлет.

— Ужасно всё-таки народ стал вольный, — сказала матушка и положила Фёдору Петровичу в чай со сливок пенку. — О девицах и говорить нечего, но даже женщины.

— Наши дни подобны военной будке: белый, красный, чёрный, — ответил слегка подвыпивший Фёдор Петрович. — А женский пол поступает хорошо.

— Чего же тут хорошего? — спросила матушка, улыбаясь.

— А что же тут предвидится плохого? — озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой её полную ногу. — Тут ничего плохого нет.

---

— Ах, как это нет! — вспыхнула матушка и задвигала стулом.

— Веяние времени, — смиренномудро заметил гость и ещё ласковей тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела коленки и быстро их сомкнула, сказав:

— От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!

— При чём же тут рука?

Глаза чиновника горели. Он оправил вицмундир, оправил бороду и стал закручивать усы.

— Одна девка другой сказала, — проговорил он, — а ты любись, чего жалеешь... Чёрту на колпак, что ли? — и захихикал.

Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Фёдор Петрович в волнении прошёлся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив её за полную грудь, наильно поцеловал в губы.

— Что вы делаете?.. Что вы делаете? Ой! — вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Фёдора Петровича за шею.

В дверь кто-то стукнул.

— Это Васютка.

Десятилетний попович Вася — большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлёбываясь словами, торопился:

— Дай-ка чайку... Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-олстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я ура кричал, а другие, дураки, свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провёз. Дай-ка хлебца. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..

И мальчик, хлопнув дверью, убежал.

Из окна видно серое небо, серый день и край городишка, а там, дальше, в каменных берегах — река. По белой её глади вьётся, убегая за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой серёдке вода прососала большую полынью. Чёрная вода её обставлена редкими вешками.

Артамонов отошёл от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Черт дёрнул того дьяволёнка не вовремя прийти!

— Я бы желал выпить водки, — сказал он.

Марина Львовна, покачивая бёдрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.

---

— Не Марина ты, а Малина! — пришлёпнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Фёдор Петрович...

...Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на живую скрипучую кровать, идёт к двери и мяукает. Бьёт шесть часов.

И опять кто-то нетерпеливо задёргал скобку двери.

— Васютка, — сказал Артамонов и стал зажигать лампу.

Суетливо оправляя причёску и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:

— Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Фёдор Петрович, злодей ты...

— Да-а-а, — неопределённо протянул тот, — седьмой час уж. — Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду вицмундира свиным ухом, стал действовать им наподобие ерша.

Как угорелый влетел Вася.

— Столбы врывают! Три виселицы! Вешать будут! У собора!

— Кого, кого?

— Изменщиков!

— Слава Богу, — перекрестилась матушка.

— Когда? — спросил гость.

— Завтра. Объявления расклеены... Пойдём читать. Красные скоро придут... Триста вёрст до красных... Офицеры сказывали на площади... Народу-у... страсть. Пойдём!

За окнами падал снег. И что делалось на реке, там, у полыньи, никак нельзя было разглядеть. Полынья чернела. Сумерки сгущались. В окнах хибарок зажелтели огоньки.

Рыжий похаживал среди народа, выпрашивал, выпытывал, проводил хохотом двух пьяных проехавших домой купцов. Пробрался в крепость. Ворота были празднично открыты. Закроют ровно в девять. На земляном валу у ворот серели часовые.

Внутри крепости, впритык к валу, стояли наскоро выстроенные ещё летом дощатые конюшни. Лошади у кормушек хрупали овёс.

Сквозь густо падавший снег рыжий вплотную подошёл к поляку, чистившему своего коня.

— Эй, братяга, — тихо и озираючись проговорил рыжий в самое лицо солдата. — Передай своим, чтоб ночью не зевали... Да ты лопочешь по-хрещёному-то?

---

— Ну. Знай маленько, — и солдат чуть попятился от сутулого верзилы.

— Возьми уши в зубы, коли так. Завтра, потемну, партизаны придут. Слышал? Тыщи две. В случае — лататы. На конях в лес всем отрядом дуй... Поперёк реки... По дороге вдоль не надо, а то в лапы партизанам угодишь, до единого всех вырежут, секим башка. Так и толкуй своим по-русски... Чуешь? Поперёк реки...

— Ты кто есть? Провокатор? — словно проснувшись, прокричал солдат. — Эй, мужик, мужик, стой!..

Но рыжий быстро скрылся в мутной мгле.

Солдат поднял тревогу. Искали на конях, бегали с фонарями. Рыжий — как сквозь землю.

Поляки решили не спать всю ночь. Два их офицера после купеческого угощения были навеселе. Они отдали приказ: завтра же разыскать бродягу и повесить, а потом заказали привести для услады свеженьких девчонок.

Дом поповский на горе. Отца Петра всё ещё нету.

Артамонов подходит к окну.

— Что это такое?

Сквозь белый мрак мутнеют на реке огни. Их много. Огромная дуга огней примкнула концами к городскому берегу и в середине прервалась. Тут полынья, должно быть. Наверное, рыбаки добывают рыбу. Должно быть, так.

На душе Фёдора Петровича противно, тошно и смертельная тоска.

Матушка укладывает Васю.

— А вы оставайтесь, в лото поиграем до отца Петра.

Артамонов молчит. Сердце невыносимо ноет. Хочется застонать протяжно и громко.

— Покойной ночи, — говорит он и, чиркая на ходу спички, спускается к себе вниз.

Возле купеческого крыльца по привычке дремлет карасьный. Он видит страшный сон, мычит и охает.

На соборной колокольне сторож пробил девять.

Весь город спит. Фёдору Петровичу не спится.

## Глава VI

Вдруг, словно по команде, на сонных улицах, на реке, в лесу и всюду загрохотали выстрелы. На всех колокольнях враз ударили набат. Через соборную площадь, через взор и слух про-

---

снувшегося караульного, с гиканьем и свистом промчались в снежной мгле гривастые и чёрные, как черти, тени.

— Господи Суси, Господи... — закрестился караульный, и его колотушка покатила в снег.

Фёдор Петрович Артамонов вскочил с кровати, на босую ногу надел пимы, накинул барнаулку-шубу и, весь дрожа, вышел за ворота. Было тихо, только снег крутил, и он подумал, что всё это ему пригрезилось.

Но нет. Вскоре где-то на яру, у крепости, вновь затрещали выстрелы, ударил набат, и колыхнулось из-за крыш зарево.

«Однако красные пришли»... — мелькнуло в его испуганном уме.

Ржаво поскрипывали калитки. Слышались робкие, прерывавшиеся шаги и голоса. Перекликались соседи:

— Эй, Назаров! Ты?

— Я.

— Это что такое?

— Не знаю...

Из метели вынырнул и дальше пробежал мальчишка. На бегу звенел на всю метель:

— Полякам шубы перешивают!..

— Кто?

— Не знай кто!.. Не видно... Чу, палят..

— Эй, мальчик! — крикнул и Артамонов.

Но калитки резко захлопали. С выстрелами проскакали два всадника, за ними ещё, и целый отряд, что-то лопоча, жутко выкрикивая и стреляя в муть. А сзади с гиканьем, со свистом, с матерщиной, завихоривали на храпевших конях люди:

— В проулки не пушшай! Гони к реке! К реке-е!!

Чиновник Артамонов тоже нырнул в калитку.

Поляков гнали прямо на костры. Но там — народ. Поляки заметались. Они попали в огненный охват костров.

Тот, которого предупреждал рыжий, кричал товарищам, чтоб мчали поперёк реки «до лясу». И вот ошалело ринулись в тьму, в то место, где разорвалась дуга огней.

— Ребята, стой! — медной глоткой рывкнул Зыков партизанам и, рванув уздой, враз вздыбил своего коня.

Все осадили лошадей.

— Готово. Влопались...

Спроклятьем, с воплем, наседая друг на друга, враги стремглав ухнули в ловушку-попыню, сразу вылетев из сёдел.

Тут было не глубоко — коню по шею — но вода быстро неслась, многих утянуло под лёд, иные хватались за конские

---

хвосты, отчаянно хлюпались в ледяной воде, но, выбившись из сил, тонули с страшным визгом.

Всхрапывали, гоготали лошади, забрасывая передние ноги на закрайки, но тонкий лёд, звеня, сдавал.

— Вылазют! Вылазют! — вскричали партизаны, их зоркие глаза увидели в темноте двух вылезших людей. — Прикончить надо...

— Пускай на морозе греются. Сами сдохнут, — сказал Зыков. — А впрочем... добудьте-ка сюда одного.

Он повернул коня, и все шагом поехали к кострам.

Месяц прогрыз подтянувшиеся к небу тучи, и в мутном свете видно было, как трёпаным дымом проплывали облака.

— К утру вывездет, — проговорил рыжий. — Ишь, казачье солнце ладит рыло показать, — и махнул рукавицей на луну.

— Слушай, Срамных, — обратился к нему Зыков. — Город заперт?

— Так точно... Кругом дозоры. Офицерьё схвачено. Крепостной начальник схвачен... Пушку я досмотрел старинную, у церкви валялась, в крепости, велел своим ребятам на вал втащить... Вдарить можно. Опять же встреча тебе будет: трезвон и леменация... Приказ мной даден.

Приволокли поляка. Бритая, без шапки, голова, большие усы закорючкой вниз. Глаза на толстощёком лице прыгали, как у помешанного. Весь взмок и едва держался на ногах.

— Пане... Змилуйся, пане!.. — дрожая и стуча зубами, упал он пред Зыковым в снег лицом.

«Сейчас пытатъ начнёт», — сладостно подумал Гараська, пьянея звериным чувством.

— Встань. Какой веры?

— Католик, пане... Католик.

— Римской, что ли? О, сволочь... Разорвать бы...

— Дозволь мне, Степан, — хрипло загнусил сзади широкоплечий горбун с свирепой мордой и сверкнул огромным топором.

— Нет, мне, Зыков, мне... — И Гараська соскочил с коня.

— Ну, ладно. Живи, — милостиво сказал Зыков. — Эй, дайте-ка ему сухую лопотину... Раздеть... Вишь, у молодца руки зашлись.

Когда поляк был одет в тёплый полушубок, Зыков сказал ему:

— Коня тебе не дам. Беги за нами бегом, грейся. Посмотришь, как Зыков царствует, и своим перескажешь. Ежели твоя планида допустит тебя домой вернуться, и там всем

---

расскажи про Зыкова. Я так полагаю, что спас тебя не зря. Ты кто? Ты враг мой, а я тебя возлюбил. И я мекаю, что много грехов тяжких за это мне сбросится с костей. А теперича...

— Скачут, скачут! — закричали голоса.

Зыков обернулся к городу. В неокрепшем лунном свете мчались четверо.

— Передались!.. Без кроволитья! — орали издали.

— Тпру... Товарищ Зыков, — сказал запыхавшийся солдат. Белый конь его мотал головой и фыркал. — Так что на митинге единогласно все тридцать пять человек постановили присоединиться к вам, товарищи... Долой Колчака, да здравствует Красная армия и красные партизаны с товарищем Зыковым во главе... Ура!.. — солдат замахал шапкой, конь его закрутился, все закричали ура.

— Добро, — сказал Зыков. — Вы решили, ребята, помному. И нам работы меньше, и ваши головы останутся на плечах торчать. Спасибо. Ну, готово, что ль? Дай-ка огня.

Десяток выхваченных из костра горящих головней мигом, как в сказке, осветили Зыкова. Он вынул из-за пазухи часы:

— Эвона, одиннадцать скоро. Горнист! Играй сбор!

Медный зов трубы звучно и резко прокатился над рекой. Лес и горы, тотчас отозвавшись, пробредили во сне. У многочисленных костров закопошились партизаны, и вот, как на крыльях, стали слетаться к месту сбора всадники.

Зыков махнул рукой. Горнист сыграл «повзводно, стройся». Две сотни живо встали головами к городу.

— Вот, братцы! — прокричал Зыков, указывая на стоявшего рядом поляка. — Это наш враг был, теперича друг и брательник. Я его крестил в реке, в Ердани. Имя ему теперича дадено Андрон, а фамиль — Ерданский. — Бороды враз взмотнулись, и над головами лошадей прокатился шершавый смех.

— Ну, теперича на гулевань!..

Зыков вымахнул вперёд отряда, за ним — сподручные. Развернули знамя. Рожечники наскоро продули берестяные рожки, дудари испробовали дудки, пикульщики — пикульки.

— Айда за мной!

Ударил барабан, горласто задудили многочисленные рожки и дудки, два парня бухали колотушками в медные тазы, в которых только что варили хлёбово, свистуны в такт барабану оглушительно высвистывали.

Музыка стонала, выла, скорготала, хрюкала. Партизан от этой музыки сразу затошнило, у всех заскучали животы. Гараська заткнул уши пальцами и скривил рот: ужасно хотелось взвыть собакой.

---

Даже Зыков густо сплюнул и сказал в бороду:

— Вот сволочи... Аж мороз по коже...

Как только вступили в город, рыжий верзила Срамных сделал выстрел, тогда на всех колокольнях раздался торжественный трезвон. Глаза Зыкова чуть улыгнулись. Он ласково оглянулся на Срамных.

Все улицы по пути были освещены кострами. В переулках у костров выгнанные из домов и хибарок горожане, и в каждой кучке — зыковский всадник.

Народ по приказу кричал ура, махали шапками, платками, флагами, особенно усердствовали мальчишки.

Собаки разъярённо кидались на рожечников, стараясь вцепиться в глотки лошадей. Крайний всадник снял с плеча вилы, ловко воткнул их в захрипевшего пса и перебросил через забор.

Зыков, гордо откинувшись, ехал на коне царём. Он совершенно не отвечал на восторженные крики. Только изредка подымал нагайку и выразительно грозил толпе.

Лишь показались ворота крепости, с вала пыхнул огонь и вместе с пламенем тарарахнул взрыв, как гром. Кони шарахнулись и заплясали. Бежавшая за отрядом толпа метнулась врассыпную, многие упали, опять вскочили, в ближних домах вылетели стёкла.

Зыков с подручными рысью въехал в крепость.

На валу, около того места, где разорвало пушку, хрипя, полз на карачках бородатый, в поддёвке, человек. У самых ног зыковского коня он протяжно охнул, перевалился на спину и вытянулся, закатив глаза. На откосе неподвижно лежал ещё один, зарывшись головой и руками в снег.

— Чурбаны неотёсанные, — раздражённо сказал Зыков. — Из пушки палить не могут.

— Я им говорил, — замахал руками прибежавший, бледный весь, как полотно, солдат. — Пушка незнакомая, старинная, чёрт её ведаёт, что за пушка... А они до самых краёв, почитай, набили порохом... Вот и... Трое твоих орудовали, двое тут-ка, эвот они... А третьего не знай куда фукнуло, поди, где ни-то на крыше. Я от греха убёг.

Ещё подходили солдаты, тряслись, как осинник.

— Есть другая пушка? — спросил Зыков. — Ну-ка, давай сюда. И пороху сколько хочешь? Ладно.

Дружно тянули от церкви заарканенную ржавую тушу пушки. Подтащили к откосу. Кричали, подёргивая концы аркана:

---

Раз-два! Ещё разок!  
Раз-два! Матка идёт!  
Раз-два! Подаётся!

Но пушка подавалась туго. Она лениво вползала вверх, как стопудовая черепаха.

— Дубинушку надо! — крикнул красавец Ванька-Птаха, и заливисто запел:

Наш начальник Зыков  
Чо-о-рный!..  
Он отчаянный,  
Задо-о-рный!..  
Да, э-е-е-ей, дуби-и-нушка, ухнем...  
Да, э-е...

— А ну! — Зыков соскочил на землю и впрягся в аркан. Все надулись, сразу запахло редькой, и пушка, злобно ощерив рот, ходом поползла наверх.

— Миклухин! — крикнул Зыков. — Орудуй... Ты бомбардиром был. Греми раз двадцать... Надобно на людишек трепет навести. А где ж красные правители? Большевики?

— В тюрьме... А главные перебиты были. Кой-кто остался.

— Всех на свободу.

— И жуликов?

— Всех. Моим именем. Большевики пусть спокойно по домам идут. Когда надо, покличу. Да пускай смирно сидят, а то... — Он ткнул кулаком в грудь и гордо крикнул: — Я здесь власть! — Лицо его было сурово. — Эй, Гусак! Объяви нашим, чтоб разъезжались по домам. Чинно-благородно чтоб... моим приказом, строгим. Обид никаких. А то башки, как кочни, полетят! Гулять же будем по окончании делов. Срамных! Указывай фатеру.

## Глава VII

Луна разогнала все тучи. От звёздного неба шёл голубоватый зыбкий свет.

Деревянный двухэтажный дом купца Шитикова, с колоннами и резьбой, выходил на соборную площадь. Стёкла отливали голубым блеском, как на солнце тёмно-синий шёлк. Внутри, одинокий, пугливо светился огонёк. У ворот, по углам и во дворе стояли вооружённые партизаны.

---

— Двери, — сказал Зыков, влезая на крыльцо.

Сверкнула сталь двух грузных ломов, дерево затрещало, и Зыков с рыжим поднялись наверх.

Зыков двинул плечом запертую дверь, и оба пошли в заднюю комнату на огонёк. Их шаги в пимах были тяжелы и мягки. В спальне горела лампа, у образов две лампадки. Хозяин и хозяйка стояли под лампадками, лицом к дверям, умоляюще скрестив на груди руки. Страх перекошил, исковеркал их лица.

— Здорово, ваше почтение, — прохрипел Срамных. — Давай деньги!.. Три тыщи! Видишь, сдержал слово, самолично Зыкова привёл. Вот он — он! Давай деньги! — и захохотал. Хохот был хищный, злорадный. У хозяев остановилось сердце, враз похолодела кровь.

— Всё возьмите... Батюшки мои, отцы родные... — и оба повалились на колени.

— Богачество можешь оставить при себе, — сквозь зубы сказал Зыков, горой шагая на них. В глазах Зыкова Шитиков мгновенно увидел свою смерть. Кособоко откатнулся и, прикрыв голый, как яйцо, череп ладонями, пронзительно завизжал. Зыков резко два раза взмахнул чугунным безменом, и всё смолкло.

— Приплод есть? — спросил Зыков.

— Нету. Бездетные они. — Всё лицо и глаза Срамных были в слюнявой и подлой улыбке.

— А там кто охает? — Зыков пошёл с лампой в соседнюю комнату.

— А это ейная мать, больная...

— Выбросить в окно. С кроватью вместе.

Рыжий с двумя партизанами подняли кровать:

— Побеспокоить, бабушка, придётся.

Старуха онемела: ворочала глазами и, как рыба, открывала ввалившийся рот. Поднесли к венецианскому окну и раскачали. Вместе с двойной рамой всё кувырнулось на мороз.

Выбросили и те два трупа.

— Эх, дураки... Холоду напустили, — сказал Зыков.

— Законопатить можно. Эвот сколько ковров, — ответил рыжий. — Эй, пошукай-ка, братцы, гвоздочков.

Зажгли все лампы.

— А внизу кто? — спросил Зыков.

— Приказчики да Мавра, стряпуха ихняя.

— Позвать стряпуху. — И сел на кресло.

Мавра была слегка подвыпивши. У самой двери она брякнулась на колени и поползла к Зыкову, голоса басом:

---

— Ой ты, свет ты наш, ты ясен месяц... Батюшка, кормилец, не погуби... Разбойничек ангельский...

— Дура! Ты купчиха, что ли? Встань...

— Верная раба твоя... Ой, батюшка, милый разбойничек... — и заревела в голос.

Зыков нахмурился, подхватил её под пазухи:

— Жирная, а дура, — и посадил рядом с собой.

— Ой, ой, — скосоротилась она и засморкалась. — Ничегошеньки я знать не знаю, ведать не ведаю... Хошь режь, хошь жги... А только что...

— Слушай...

— Не буду у них, у проклятых буржуев, жить.

— Да слушай же...

— Знать не знаю, ведать не ведаю... Разбойничек ты мой хороший...

— Молчи, халява!.. — внезапно вскочив, затряс Зыков под самым её носом кулаками. — Срамных! Растолкуй ей, чтоб на двадцать ртов ужин сготовила... Да повкусней... А баня готова? Фу-у чёрт, дура баба. Разбо-о-ойничек...

Третий раз грохнула пушка. Стёкла и висюльки на лампе взикнули.

— Скажи тому обормоту, как его... Миклухину, — достаточно палить. Завтра... — проговорил Зыков и пошёл в баню.

Ему светил фонарём приказчик Половиков, нёс веник с мылом, простыню и хозяйское бельё.

Баня — в самом конце густого сада. Весь сад в пушистом инее, как черёмуха в цвету. И всё морозно голубело. На пуховом снегу лежали холодные мёртвые тени от деревьев.

— Прикажете пособить? — спросил приказчик, приподымая шапку и почтительно клюнув длинным носом воздух.

— Нет. Уважаю один.

— Не потребуется ли вашей милости девочка или мадам? Можно интеллигентную... — приказчик осклабился и выжидательно стал крутить на пальце бородёнку.

Зыков быстро повернулся к нему, задышал в лицо, строго сказал:

— Не грешу, отстань... — и вошёл в баню.

Зажёг две свечи, начал раздеваться.

Когда стаскивал с левой ноги пим, рука его попала в какую-то противную, холодную, как лягушка, слизь. Он отдёнул руку. От голых пяток до боднувшей головы его всего резко передёрнуло, лицо сжалось в гримасу, во рту, в пищеводе змей ей шевельнулось отвращенье:

— Тьфу! Мозги...

---

Он шагнул из бани и далеко забросил оба пима в сугроб.

От голубеющей ночи, со двора, пробирались к бане три всадника.

Зыков закрутил дверь, взял винтовку, китайский пистолет, нож и веник, и нагишом вошёл в парное отделение.

Когда он залез на полку и с азартом захвостался веником, пушка грохнула в четвёртый и последний раз.

Продрогшие за длинный переход партизаны набились по тёплым городским углам, кто где.

У молодой бабочки Настасьи пятеро. Маленькая, шустрая, она, как на крыльях, порхала от печки к столу, в чулан, в кладовку.

— Да ты ложись спать... Мы сами... Зыков не велел беспокоить зря. А Зыков скажет — отпечатает.

— Как это можно, — звонко и посмеиваясь возражала та.

На столе самовар, яичница, рыба, калачи — бабочка на продажу калачи пекла.

Четверо были на одно лицо, словно братья, волосы и бороды — как лён. Только у пятого, Гараськи, обветренное толсторожее лицо голо и кирпично-красно, как медный начищенный котёл.

— А у ты хозяин-то, муж-то есть? — зашлёпал он влажными мясистыми губами.

— Нету, сударик, нету... Воюет он... При Колчаке.

— При Колчаке? — протянул Гараська, прожёвывая хлеб со сметаной. — Зыков дознается — он те вздрючит.

— По билизации, сударик... Не своей волей, — слёзно проговорила бабочка, и её сердце ёкнуло.

— По билизации ничего, — сказал мужик в красных уланских штанах. — Ежели по билизации, он не виноват.

Настасья успокоилась. Быстрые глаза её уставились в бороды чавкающих мужиков.

— Кого же вы бить-то пришли? Большачишек, что ли?

— Кого Зыков велит, — сказал крайний мужик в овчинной жилетке с офицерскими погонами и крепкими зубами щёлкнул сахар.

— Нам кого ни бить, так бить, — весело сказал Гараська и, обварившись чаем, отдёргнул губы от стакана.

— А ты нешто убивывал? — спросила бабочка.

— Убивывал. Я на приисках работал, там народ отпетый... Убивывал...

Глаза Настасьи испугались.

---

— Гы-гы-гы, — загоготал Гараська. — Вру, вру... А вот я бабёнок уважаю чикотать, — он квакнул по-лягушачьи и боднул хозяйку в мягкий бок:

— А зыковский наказ забыл, паря? Оглобля!.. Чёрт... — окрысились на Гараську мужики.

— Так тебе Зыков и узнал, — с притворной заносчивостью сказал Гараська, подмигивая мужикам.

Все плотно наелись и рыгали. Молодые мужики, раздувая ноздри, примеривались к хозяйке глазом: бабочка круглая. Вот только что Бог ростом обделил. Однако, не хватит на всю артель.

— Ну, братцы, дрыхнуть.

Настасья улеглась за занавеской на кровати, партизаны в соседней комнатухе на полу, разбросив шубы.

Старший, Сидор, задал лошадям овса, помолился Богу, снял красные штаны и бесхитростно до утра завалился спать.

Почти по всему городку партизаны крепко спали. Только выходы на окраинах караулили зоркие глаза, да разъезды, тихо переговариваясь, рыскали по улицам.

А вот за крашеными воротами драка, гвалт: два партизана, голоусик с бородатым, пьяные, вырывали друг у друга деревянную шкатулку.

— Моя! — кричал голоусик.

— Врёшь! Я первый увидал.

И оба залепили друг другу по затрещине.

Разъезд загрохотал в калитку и въехал во двор:

— Язви вас! Вы драться?!

Партизаны крепко спали, и пушка сомкнула своё хайло, только обывателей мучила бессонница. Воля в каждом померкла, покривилась, всяк почувствовал себя беззащитным, жалким, как заключённый в тюрьму острожник. Люди были, как в параличе, словно кролики, когда в их клетку вползает удав. Озадаченные обыватели то здесь, то там чуть приоткрывали дверь на улицу и прислушивались к голубой морозной ночи. Но ночь тиха.

И это обманное безмолвие ещё больше гнетёт их. Каждый предвидел, что завтрашний день будет страшен: сам Зыков здесь.

Трепетали купцы и все, у кого достаток, трепетали чиновники и духовенство. Мастеровые, мещане и просто беднота тоже вздыхали и тряслись: Зыкову как взглянется, и хорошая, и дурная про него идёт молва.

---

Ой, не даром нагайкой Зыков погрозил, когда въезжал в их город. А кто у костров стоял? Простой народ. Вот ввязались позавчера в бунтишко... Эх, чёрт толкнул, попы подбили с богатеями... Эх, эх... Пускай бы правили городом большевики, тогда б и Зыков ни при чём.

Фортки, двери закрывались, и долго в домах, в хибарках шуршал тревожный разговор иль шёпот.

Весь город был в параличе.

Зыков, горячий, как огонь, выскочил из бани, — на красном исхвостанном веником теле чернеет широкий кержацкий крест, — кувырнулся в сугроб и запурхался в снегу.

— Стережёте, ребята?

У всадников блестели под луной винтовки.

— Парься спокойно. Стерегём.

Кому же спится в эту ночь? Непробудно спят на морозе Шитиков со старухой и женой, да ещё в мёртвом свете почивает утыканное крестами кладбище. Между могил стремглав несётся ослепший от страха заяц, за ним, взметая снег, — голодная собака или волк.

Об убийстве Шитиковых в доме купца Перепреева никто не знает.

Сам Перепреев, плотный старик с подстриженной круглой бородой ходит из угла в угол и зловеще ползает за ним его большая тень.

— Папаша, что же нам делать? Папашечка, — хнычет его младшая дочь Верочка, подросток. Она умоляюще смотрит на отца. Отец молчит.

Таня в тёмном углу возле окна, в кресле, поджала ноги под себя. Она видимо спокойна. Но душа её колышется и плещет в берега, как зеркальный пруд, в который брошен камень.

Таня знает: ночь за окном темна, ночь сказочна, грохочет пушка, луна прогрызла тучи, и кто-то пришёл в их жалкий городишко из мрачных гор. Кто он? Русский ли витязь сказочный, иль стоголавое чудище — Таня этого не знает. И кто ответит ей? Отец, сестра, мать?

— Папашечка, послали бы вы на улицу приказчика — разузнать. Напишите письмо начальнику в крепость, — говорит Верочка.

Отец бессильно, с горечью машет рукой, вновь залезает на окно, и выглядывает в форточку.

На тумбе, возле дома, торчит штык, чернеет борода:

— Эй, милый!

---

Но милый отворачивается и сплёвывает в снег.

На диване, крепко перетянув голову полотенцем, охает хозяйка. Верочка подходит к ней, долго смотрит на неё, потом с чувством целует:

— Мамашенька...

Отец, как маятник, опять ходит из угла в угол, опустив голову. Ноги его начинают дрожать и гнуться.

— Растудыт твою туды. Надо к Перепрееву сходить, погреться, — шамкает промёрзший в двух шубах караульщик. Он ударил в колотушку, вытаращил глаза на прочерневший разъезд, пробормотал:

— Тоже... ездют... Пёс их не видал, — и, открыв калитку, заковылял в купеческий двор.

— Куда лезешь? Пошёл вон!

Караульщик остановился:

— Иду, иду, иду, — повернул назад, бубня в седую бороду: — Растудыт твою туды. Застрелют ещё, анафемы... И управы на них нету. К кому пойдёшь?.. Тоже... правители... Тоже прозывается Толчак. Чтоб те здохнуть, Толчаку... А убьют купца... Ох, Господи... Пойду спать, домой... Чёрт с ними и с амбарами его... Всё равно убьют... Потому — сам Зыков.

Зыков парился очень долго и пришёл из бани босиком.

Весь шитиковский дом был освещён.

За длинным столом шумели. Стол, как войсками плац, уставлен бутылками, рюмками, стаканами. Прислуживают приказчики и два подручных, в красных рубахах, мальчика. Головы у мальчишек взъерошены. Один, раскосый, дёрнул украдкой сладкого вина, и ему в соседней комнате приказчик нарвал уши.

Партизанов по выбору приглашал Срамных. Девять человек молодёжи, крестьянских парней — все они верные, испытанные слуги Зыкова, сотники, десятники; остальные, человек пятнадцать, всех мастей бородачи, кержаки и крестьяне. Это самые близкие Зыкову люди, его свита, правая рука. Среди них два седовласых деда: бывший с золотых приисков старатель и ещё — бобыль-мужик.

Хохот, разговор. Несколько бутылок выпито, много закусок съедено. Но ужин ещё не готов; Мавра и одноглазый повар-грек, приготовлявший днём обед в честь польских офицеров, загигают невиданные расстегаи, варят пельмени, жарят баранину и кур.

— Зыков!

Все за столом поднялись, как пред игуменом монахи:

---

— С лёгким паром, Степан Варфоломеич!.. С лёгким паром... Пожалуйте... много лет здравствовать!

Спиныгнулись усердно, низко, и свисшие космы шлёпали по воздуху.

Зыков молча сел в серёдку. Справа от него, подложив под сиденье огромный свой топор, каким рубят головы быкам, мрачно восседал беглый каторжник, горбун. Он кривоногий раскоряка, ростом карапузик, но могуч в плечах. Лоб у него низок, череп мал, челюсти огромны. Оплывшая книзу рожа его вся истыкана глубокими тёмными оспинами, словно прострелена картечью. Поэтому прозвище его — Напёрсток. Большие белёсые глаза красны, полоумны. Возле виска зарубцевавшийся широкий шрам. Напёрсток говорит: медведь так обработал. Молва говорит: в разбойных делах мету получил.

Он весь во власти Зыкова, трепещет его и полон ненависти к нему. — «Эх, скovyрнуть бы Стёпку да на его место встать!» — Зыков тоже тяготится им, хочет от него отделаться, но кровь крепко спаяла их судьбу.

А вот и ужин, пельмени.

— Ну, братаны, теперя можно погулять, — говорит Зыков, но шумливый стол не слышит. — Эй, я говорю! — И в тишине, раздельно: — Гуляй, да дело не забывай. Довольно, посидели мы в тайге, в горах. Сегодня жив, а завтра нету. Гуляй, ребята... Нажрётесь — спать здесь. На улку срама не выносить. В упреждение соблазна. И чтобы тихо.

— Степан! — прервал его Напёрсток. — Я на топоре сижу, — он засмеялся, как закашлял, тряся горбом, вросшая в искривлённую грудь плешивая башка его повернулась к Зыкову и ехидно ослабила гнилые зубы.

Зыков ожёг его взглядом и сказал:

— Одноверы! В грехе не сомневайтесь: время наше — война. Кончим — правую веру свою вспомним, очистим воздух, станем жить по преданию отец и праотец. Кто трусит — грехи в мою голову. Я — единая власть вам, и я в ответе!

Кержаки — их четверо — кивали головами, чавкали еду, запивали вином. Парни друг перед другом рассыпались в самохвальстве, вино пили как воду и всё покашивались на Зыкова. Он глотал пельмени быстро, обжигался, хмуро молчал.

В левое ухо говорил ему Срамных. Пред рыжим на столе каракулями исписанный лист бумаги. Здесь перечислены все, которых завтра ждёт расправа. Зыков слушает молча, но брови его хмурятся, и на глаза набегают тени.

— Эй, служащий!.. Ослеп? Наливай, чёрт, рыжа маковка! — кричат то здесь, то там.

---

Приказчик кожилится, штопором вытаскивая пробки. Свету много. В золочёной раме «Король-Жених». В простенке — овальное зеркало. Зыков поднял голову и, прищурившись, долго смотрит на себя.

В горке, за стеклом, блестит хрусталь и серебро. Пьяные глаза гуляк блестят, косясь на горку. Круглые часы пробили два. Зыков мрачен. Он выпил всего лишь два стакана вина, поднялся, внушительно сказал Напёрстку:

— Наточи топор, — и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Ему хотелось уснуть, забыться. Разделся и лёг на диван, покрывшись лисьим своим кафтаном. Но сон не шёл. Думы, как бегущая вода в камнях, плескались в голове, сменяя одна другую и переплетаясь. Вот бы кликнуть клич, набрать миллионы войска и завладеть, очистить всю страну. А большевики? Во что они веруют, за что идут? За народ? А вот уж посмотрим... Друзья или враги?.. Ещё отец...

«Отец, неужели и ты враг мне?»

Вот Зыкова призвали сюда. Надо начинать большое дело. А с чего начать? И как укрепиться? Известно, страхом, кровью. А дальше? Где такие ещё есть, Зыковы? Эй, вы, старатели!.. Подходи сюда, соединишься!

Нет, надо спать, спать.

Но там шумят, ругаются. Громче всех орёт Напёрсток. А в окно бьёт своим светом луна.

Череп и всё скуластое лицо Фёдора Петровича под луной, как у покойника. Он ещё не раздевался и не зажигал огня. Сидит у окна, нещадно курит. За окном луна и тишь.

— Федя, — в третий раз спускается по внутренней лестнице матушка.

— Ах, это слишком, — раздражается Фёдор Петрович. — Пожалуйста, прошу вас подняться вверх.

— Я беспокоюсь за отца Петра.

— А я беспокоюсь о судьбе города. Знаете, в чьей он власти?

За рыжебородым Павлухой к Настасье прошёл Лука, за Лукой — едва не лопнувший от похоти Куприян. Настасья ничего. В Настасьино окно тоже бьёт луна, и кустик герани на окне тихо дремлет. Гараська весь изворочался, испыхтелся, притворяясь спящим, как и те, а сам клял Куприяна: «Вот, дьявол, долго как». Гараська новичок, надо же старшим уваженье оказать.

---

Когда пробило на купеческих часах три, гуляки помаленьку-помаленьку распоясались, сначала песни завели, потом и пляс. Напёрсток, сидя, подбоченился, тряхнул горбом, и гнусавым своим голосом крикнул плясунам:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

В это время и Гараська, сменив Куприяна, самохвально заявил Настасье:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

И до самого до утра забрался под её ситцевое одеяло. Настасья ничего. Настасья целый год жила, как монашка.

От пляса, грохотанья в пол пятками дрожала печь, и бутылки на столе качались.

— Ух-ух-ух-ух!!

Все были на ногах, хлопали в ладони, орали кто во что горазд. Только Напёрсток сидел на топоре, как припаялся:

— А Зыков эвот у меня где!.. Попробуй-ка, убей меня... Я те убью. Эй вы, кержацки морды! — гнусил пьяный Напёрсток. — Все вы анафемы... Все вы прокляты, кобельё!.. Эй, сволочи! Идите ко мне в шайку. Я — атаман... Топор эвот! Грабить, ребята, будем. Девок портить, вино пить... — Он схватил бутылку и, ухнув, пустил её в зазвеневшие стёкла горки. — Нна!.. Забирай, ребята, по карманам серебро да золото. Зыков жаднюга, сволочь. Не даст... Эй, бери, в мою голову!.. А на Зыкова гостинец — вво! — Он вытащил из-под сиденья топор и вдруг, взвизгнув, высоко повис в воздухе.

Мимо смолкших, застывших плясунов, как корабль мимо ладей, прошёл в одной рубахе и портах грузный Зыков. В вытянутой вперёд его руке дрыгал пятками, крутился и хрипел горбун. Зыков, скосив к переносице глаза, неторопливо прошёл в крайнюю комнату, сорвал с разбитого окна ковёр и выбросил горбуна на улицу.

Когда возвращался, в столовой и соседних комнатах притворно похрапывали, валяясь на полу, гуляки.

## Глава VIII

— Кутью сюда, долгогривых, — низким, твёрдым голосом бросил Зыков, входя в собор.

За ним шла ватага. На его голове новая лисья, с бархатным верхом, шапка. На лоб из-под шапки свешивались чёрные, подрубленные волосы.

---

— Надеть шапки! — сказал он, обернувшись. — Чего сняли? Нешто это Господня церковь? Это так себе... Обман.

Постороннего народу никого, одни мальчишки. Поповский Васютка тоже здесь.

Весь народ у лавок, у магазинов, у лабазов. Ещё утром трубари трубили во всех концах: именем Зыкова, его веленьем будет раздаваться народу купецкое добро.

В городе никакой власти нет, кроме власти Зыкова, единой, страшной. На высокой качели, вчера приспособленной поляками для казни, висят с утра четверо мещан, две бабы и мальчишка. Толпа вздумала громить лавчонку. Этих поймали. Зыков отдал приказ — вздёрнуть.

Все приказчики мобилизованы, но главная раздача идёт через руки партизан. Мелькают аршины, крепким кряком рвётся калёный на морозе ситец, ножницы стригут куски сукна.

— Эй, тётка! Сколько семьи? Получай... Пять аршин кумачу, десять аршин ланкорту, три платка, восемь аршин твину. Пачпорт! — И карандаш резкую делает кривуль-отметку. — Следующий!..

Снуют по площади, по улицам нагруженные мукой, горохом, кумачами, обутками людишки. Румяная деваха радостно улыбается морозному солнечному дню: поскрипывая новыми полусапожками, она тащит нежданную получку и под мышкой банку с паточным вареньем.

Вылетел из лавки мальчик, бежит, машет связкой баранок, рад. Остановился у виселицы, взглянул на трупы и, печальный, тихо поплёлся домой.

В крепости партизаны принимают от солдат оружие. Деловито, не торопясь и с толком. По богатым дворам забирают лошадей.

Зыков задал всем работу. Он в соборе, но он везде: и всякий из партизан, на какой бы работе ни был, видит строгие глаза его, слышит его голос. Зыков здесь.

А между тем солнце склонялось к закату, подрумяненными столбами валил густой дым из труб, и в соборе зажгли паникадило.

Зыков сидел на амвоне перед открытыми царскими вратами. На кресле положена архиерейская подушка, а под ноги брошены орлецы. По обе стороны его зажжены в высоких подсвечниках большие свечи — так распорядился для торжественности Срамных. От двойного свету сверху и с боков на бледно-матовом лице Зыкова играют тени, и серебрятся редкие седины в густой чёрной бороде. Лицо его грозно, забываемо.

---

В церкви очень тихо, даже Напёрсток присмирел, и его невиданной величины топор опущен вниз.

Тихо, все ждут знака. И по знаку выхватили с левого клироса старого протопопа. Парализованная, на левом клиросе стояла кучка духовенства, начальства и чиновников в кольце вооружённых партизан.

— Кто ты? — твёрдо спросил Зыков старика.

— Я Божий протоиерей. А ты кто, еретик? — также твёрдым, но тонким, по-молодому звенящим голосом ответил священник.

Зыков нахмурился, закинул нога на ногу, спросил:

— А знаешь про протопопа Аввакума, про лютую смерть его слышал? От чьей руки?

— Не от моей ли?

— От вашей, антихристовы дети, от вас, богоотступники, табашники, никонианцы. Кто глава вашей распутной церкви был? Царь. Кому служили? Богатым, властным, мамоне своей. А на чернь, на бедноту вам наплевать. Так ли, братаны, я говорю?

— Так, так...

— С кем идёшь: с Колчаком или с народом? Отвечай!

— Сними шапку. Здесь храм Божий! — и седая голова протопопа затряслась.

— На храме твоём не крест, а крыж.

Священник вскинул руку и, загрозив Зыкову перстом, крикнул:

— Слово моё будет судить тебя, злодей, в день Судный!

Зыков вскочил, в бешенстве потряс кулаками и снова сел:

— Отрубить попу руку, — кивнул он Напёрстку. — Пусть напредки ведаёт, как Зыкову грозить.

Напёрсток распялил рот до ушей, и реденькая татарская бородёнка его на широких скулах расщеперилась.

— Стой, — остановил его Зыков и спросил сидевшего в кресле напротив него Срамных: — Эй, судья! Одобряешь моё постановление?

— Одобряю, одобряю, — захрипел, заперхал рыжий верзила. — Он, окаянный, возлюбим друг дружку по первоначалу на митинге говорил... А опосля того — кровь, говорит, за кровь... Вот он какая, язвы его, кутья...

— Народ одобряет? — на всю церковь, и в купол, и в стены прогремел Зыков.

— Одобряем, одобряем... Долой кутью!

Протопоп побелел и затрясся. Зыков махнул рукой. Напёрсток, раскачивая топор как кадило, коротконогий зашагал к попу.

---

Весь дрожа и защищаясь руками, тот в ужасе попятился.

— Погодь, куда!

Вмиг священник растянулся на полу, сверкнул топор, и правая кисть, сжимая пальцы, отлетела. Кто-то захохотал, кто-то сплюнул, кто-то исступлённо крикнул.

— Дозволь! — мигнул Напёрсток Зыкову и занёс над поповской головой топор.

— Подними, — приказал Зыков.

— Вставай, язва! — Напёрсток, расшарашив кривые ноги, быстро поставил обомлевшего священника дубом.

— Стой, не падай.

Из толпы, со смехом:

— Держись, кутья, за бороду!

— Здравствуй батя... ручку! — сорвался Срамных с места и протянул ему свою лапищу. — Батя, благослови!..

— Ну, здоровкайся, чего ж ты, — прогнусил Напёрсток.

А Срамных крикнул:

— Возлюбим друг дружку, батя! — и наотмашь ударил старика по голове.

— Срамных! — и Зыков свирепо топнул.

Пламя свечей колыхалось и чадило, капал воск. Иконостас переливался золотом, и пророки вверху шевелили бегущими ногами.

На паперти хлопали двери. С ружьями входили партизаны, они снимали шапки и крестились, но, оглядевшись, вновь накрывали головы и с сопеньем протискивались вперёд. В тёмном углу молодой парень-партизан снял серебряную лампадку, попробовал на зуб и сунул её в мешок. Потом перекрестился и встал в сторонке, цепко присматриваясь к сияющим образам.

Священник был бледен, глаза его лихорадочно горели, побелевшие губы прыгали от возбуждения. Он не чувствовал никакой боли, но инстинктивно зажал в горсть разруб изувеченной руки. Сквозь крепко сжатые онемевшие пальцы бежала кровь.

— А теперича у нас с тобой, попишка, другой разговор пойдёт, — сказал Зыков. — Не зря я тебе оттяпал руку, гонитель веры нашей святой. Знаю вас, знаю ваши поповские доносы... Погромы учинять, народ на народ, как собак, науськивать?!

— По-о-ехал, — нетерпеливо прогнусил Напёрсток и поправил на башке остроконечную шапку из собачины.

— Знаешь ли, кто я есть, кутья?

— Злодей ты! Вот ты кто. — Священник рванулся вперёд, и густой свирепый плевок шлёпнулся Зыкову в ноги.

---

— Поп!! — И Зыков вздыбил. — Я громом пройду по земле!.. Я всю землю залью поповской!..

— Проклинаю!.. Трижды проклинаю... Анафема! — Священник вскинул кровавые руки и затряс ими в воздухе. Из обсеченной руки поливала кровь. — Анафема! Убивай скорей. Убивай... — Голос его вдруг ослаб, в груди захрипело, он со стоном медленно опустился на пол. — Больно, больно. Рученька моя...

Зыков язвительно захохотал и враз оборвал хохот.

— Зри Вторую книгу Царств, — торжественно сказал он, шагнул к попу и пнул его ногой: — Чуешь? «И люди сущие в нем положи на пилы». Чуешь, поп: на пилы! «И на трезубы железны и секиры железны, и тако сотвори сынам града нечестивого». Читывал, ай не? — Зыков выпрямился и повелительно кивнул головой: — А ну, ребята, по Писанию, распиливай напололам.

Напёрсток пал на колени:

— Эй, подсобляй. Рработай!..

Священник распостёрся вниз лицом. Длинная пила, как рыбина, заколыхалась и хищно звякнула, рванув одежду на сухой спине старца.

Парень с мешком просунулся было вперёд, но вмиг отпрянул прочь, и, по стенке, — торопливо к выходу. Весь содрогаясь, он выхватил из мешка трясущимися руками лампадку, сунул её на окно и покаянно перекрестился. Ему вдруг показалось, что пила врезывается зубами в его тело, от резкой боли он весь переломился, обхватил руками живот и с полумёртвым диким взглядом выбежал на улицу.

— Следующего сюда! — приказал Зыков и опустился на парчовую подушку.

У сухого, лысого, в рясе, человека со страху отнялись ноги. Его приволокли. Он повалился перед Зыковым лицом вниз и, ударя лбом в половицы, выл.

— Кто ты?

— Дьякон, батюшка, дьякон... Спаси, помилуй!..

— Какой церкви?

— Богоявленской, батюшка, Богоявленской... Начальник ты наш...

— Народ не обижал?

— Никак нет... Опрсите любого... Я человек маленький, подначальный.

— Вздёрнуть на колокольне. Следующего сюда!..

Дьякона поволокли вон и на смену притащили толстого рыжего попа.

---

— Этот — самая дрянь, погромщик, — сказал Срамных.

— Чалпан долой.

Напёрсток намотал на левую руку поповскую косу и, крикнув, оттяпал голову.

— Следующий! — мотнул бородою Зыков.

## Глава IX

Солнце село за побуревшей цепью каменных отрогов. Над городом кровянилось в небе облако, и наплывал голубой вечерний час. Виселица и трупы на ней молча грозили городу.

Напёрсток вышел последним.

— Ишь ты, принародно желает, сволочь... — бормотал он самому себе. — А по мне наплевать... Только бы топорю жратва была.

Душа его набухла кровью, и взмокшие от крови валенки печатали по голубоватому снегу тёмные следы. Пошатываясь, он враскорячку нёс свой искривлённый горб, и звериный взгляд его — взгляд рыси, упившейся крови до бешенства.

Через площадь, молча и бесцельно, двигаются конные, пешие партизаны, беднота.

Виселица замахнулась на всех. В пролётах колоколен, в воротах церковных оград тоже висят свежие трупы.

Три всадника на трёх верёвках водят по улицам коменданта крепости и двух польских офицеров. Средний всадник — Андрон Ерданский. На конце его верёвки толстый штабс-ротмистр пан Палацкий. Когда всадники едут рысью, пану очень трудно поспевать, он падает и, взрывая снег, с проклятиями волочится по дороге, как куль сена. Бегущие сзади толпой мальчишки смеются, кричат, швыряют застывшим конским калом. Прохожие останавливаются, из калиток выглядывают головы в платочках, в шапках и, как по приказу, деланно хохочут.

Черноусое лицо Андрона Ерданского болезненно-скорбно, озноб трясёт его, и голова горит — бросить бы аркан, удариться бы в переулок и спать, спать... Но задний всадник не спускает с него глаз.

Весь город в красных флагах, купеческого кумачу Зыков не жалел. Флаги густо облепили дом купца Шитикова, и на балконе огромное красное, издавшее виды знамя: «Эй, все к Зыкову. Зыков за простой люд. Айда».

Гараська с Куприяном украли утром корчагу рассыпчатого мёду.

---

— Надо водой развести, по крайности, похлебаем. Навроде пива, — сказал Гараська. Он вывалил в пустую шайку мёд и опружил туда два ведра из колодца.

— Что ты, толсто рыло, делаешь!.. Пошто добро-то портишь? — выхватила у него ведро прибежавшая с рынка Настасья. В руке у неё только что полученные подарки: женская кофта, шаль, пимы. — Выливай вон. Надо кипятком... Ужо я брагу вам сварю...

Она вбежала в домишко и заперхала взад-вперёд как угорелая. За ночь её лицо осунулось, и голубые глаза были в тёмных, бессонных тенях.

Гараська взял винтовку и пошёл на улицу.

— Эх, когда же по-настоящему гулевать-то станем...

Темнело. На блёклом небе бледными точками замерцали звёзды.

Возле дома Шитикова горели костры, толпились люди.

Гараська направился к толпе, напряжённо стоявшей у пылавшего костра. И, когда он пробирался вперёд, взмахнул широкий топор Напёрстка, сталь хряснула, покатила голова.

А какая-то румяная, в красном платочке тётя сладострастно взвизгнула, нырнула в толпу, но опять вылезла и уставилась разгоревшимися глазами на окровавленный топор. И вновь тёмная лапа выхватила трясущегося в серой поддёвке старика.

— Зыков, спаси... Зыков, помилуй... Всё возьми... — монотонно, как долгий стон, и очень жалобно молил он, упав на колени и подняв взгляд к балкону.

Но руки вцепились в него, как клещи, блеснул топор. Красноголовая тётя взвизгнула, нырнула в толпу, но любопытство взяло верх — снова вылезла. Она проделала так вот уже двадцать раз, два воза трупов лежали на санях, и плаха покривилась; от обильной крови под ней подтаял снег. В толпе приговорённых, оцепленных стражей людей, всё время раздавались плач, стон, вопли.

Гараська как во сне. Он только теперь вспомнил про Зыкова и перевёл взгляд вверх: на возвышенном балконе стоял в чёрной поддевке, в красном кушаке, рыжей шапке чернорабочий, саженого роста великан.

Напёрсток гекнул: «гек!» — и вся толпа гекнула, — топор хряснул, покатила голова.

— Злódий! злódий!.. — болезненно выкрикнул Андрон Ерданский и заметался по балкону. Ему вдруг захотелось броситься на горбуна и вгрызться ему зубами в горло. — Пан, пусти. Дуже неможется...

---

Возле Зыкова стояли люди. Срамных, Андрон Ерданский и другие, ещё два парня с винтовками — стража.

— Веди сюда! — крикнул Зыков.

И к балкону подтащили коменданта крепости, поручика Сафьянова.

Лицо Зыкова в напряжённом каменном спокойствии, он собрал в себе всю силу, чтобы не поддаться слабости, но пролитая кровь уже начала томить его. Напёрсток подошёл и ждал. Зыков с гадливостью взглянул в сумасшедшие вывороченные, с красными веками глаза каторжника...

— Довольно крови!.. — прозвучало из тьмы в толпе.

И в другом месте, далеко:

— Довольно крови!

Плач, стон, вопли среди приговорённых стали отчаянней, крепче.

— Пане... Змилуйся!.. — и Андрон Ерданский повалился в ноги Зыкову, — Ой, крев, крев...

Тот быстро вошёл через открытые двери в дом, жадно выпил третий стакан вина, отёр рукавом усы и на мгновение задумался.

— Господи Боже, укрепи длань карающую, — промолвил он, крепко крестясь двуперстием, и вновь вышел к народу, весь из чугуна.

— Судьи правильные, рать моя и весь всечестной люд! — зычно прорезало всю площадь.

Гараська глуповато разинул рот и огляделся. Направо от него, на двух длинных брёвнах, сидели судьи: бородатые мужики, молодёжь, горожане и три солдата-колчаковца.

— Отпустить коменданта, ненавистного врага нашего, иль казнить?

— Казнить!.. Казнить!! — закричали голоса. — Чего, Зыков, спрашиваешь, сам знаешь...

— Казнить!.. Он нас поборами замучил... Окопы то и дело рой ему. Дрова поставляй... Трёх солдат повесил... Девушке одной брюхо сделал... Удавилась... Они, эти офицерики-то с Колчаком, царя хотят!

— Вздор, вздор! Не слушайте, товарищ Зыков!.. — Поручик Сафьянов, комендант, был с рыженькими бачками, с редкими волосами на непокрытой голове, в офицерской, с золотыми погонами, растерзанной шинели. Он весь дрожал, то скрючиваясь, то выпрямляясь по-военному, во фронт. — Дайте мне слово сказать... Прошу слова!

— Ну?!

---

— Я принимал присягу. Служил верой и правдой... — Голос офицера был то глух и непонятен, то звенел отчаянием. — А теперь я верю в вашу силу, товарищ Зыков... Я прозрел...

— Отрекаешься?

— Отрекаюсь, товарищ Зыков.

— Может, ко мне желаешь передаться?

— Желаю, от всей души... верой и правдой вашему партизанскому отряду послужить... Я всегда, товарищ Зыков, я и раньше восхищался...

— Тьфу! Гадина... — плюнул Зыков и подал знак Напёрстку, но тотчас же крикнул: — Стой! — уцепился руками за балконную решётку, и его медный голос загудел по площади:

— Эй, слушай все!.. Зыков говорит.. Власть моя тверда, как скала, и кровава во имя Божие. Где проходит Зыков, там — смерть народным врагам. Нога его топчет всех змей. Долой попов! Они заперли правую веру от народа, царям продались. Новую веру от антихриста царя Петра, от нечестивца Никола на народу подсунили, а правую нашу веру загнали в леса, в скиты, в камень... Смерть попам, смерть чиновникам, купцам, разному начальству. Пускай одна голь-беднота остаётся. Трудись, беднота, гуляй, беднота, царствуй, беднота!.. Зыков за вас. Эй, Напёрсток, руби барину башку!

Но вдруг с зыковского балкона грянул выстрел. Напёрсток схватился за шапку, любопытная тётя, взмахнув руками, навеки нырнула красным платком в толпу.

Судьи мигом с брёвен к террасе:

— Не тебя ли, Зыков? Кто это?

Подбежал Напёрсток с топором:

— В меня, в меня стрелил... в шапку!..

На полу, у ног Зыкова, катались клубком Андрон Ерданский и обезоруженный им парень-часовой.

— Отдай! Добром отдай! — вырывал свою винтовку парень.

Безумный Ерданский грыз парню руки, стараясь ещё раз выстрелить в толпу, в Напёрстка-палача. Все люди казались ему проклятыми горбунами, измазанными кровью уродами, всюду блестящие топоры, и, как птицы, табунились отрубленные головы.

— Эх, тварь!.. Не мог кого следует убить-то! — И молниеносный взор Зыкова скользнул от неостывшей винтовки к вспотевшему лбу Напёрстка. — Мало ж ты погулял, щенок... — Он приподнял Ерданского за шиворот и, перебросив через перила, сказал: — Вздёрнуть!

---

Но Напёрсток, рыча и взлаивая, стал кромсать его топором.  
— Миллионеров убивают! — кричала на бегу толпа ребятишек.

Возле здания суда огненным ворохом горел архив. Пропахшие плесенью, обгаженные мышами бумаги и дела сгорали неохотно.

— Айда, робёнки, карасину... Ну, живей!

И в ленивое пламя бросили двух колчаковских милицевских. Они были полумёртвые, истерзанные, и не кричали.

— Придерживай! А то соскочут... Ишь, корячатся. Легче, легче, не проткни!.. Пускай живьём... Вот так.

В десять рук — штыками, вилами, загоравшимися жердями — прижали милицевских, как налимов острой.

— Лей, не жалея... Вали-и-и!... — и керосин, воспламеняясь в воздухе, фукнул в оживившийся костёр.

Работая плечами, локтями, Гараська протискивался вперёд. Его глаза наполнились удивлённым ужасом: два рослых человека на костре в медленной корче втягивали в себя ноги, руки, головы, и на глазах толпы превращались в два дымившихся небольших обрубка...

— Ой ты... — зашептались ребятишки. — Глянь, глянь, маленькие какие сделались...

Широконосый, с маленькими чёрными глазками мальчик вдруг перекрестился и заплакал.

Толпа ревела пьяным рёвом, приправленным свистом, матерщиной, безумным хохотом. Гараськино лицо задрожало, нос смок, подступали слёзы. Но что-то хрустнуло в его душе, Гараська тоже заржал вместе с толпой, подскочил к костру и поддел рваным сапогом, как лопатой, горящий ворох.

## Глава X

— Мужики! Зыков город грабит, а вы, гладкорожие, всё возле баб да на печи валяетесь! — ещё с утра корили бабы своих мужей в ближней деревне Сазонихе.

И в другой деревне, Крутых Ярах, колченогий бездельник, снохач Охарчин, переходя из избы в избы, мутил народ:

— Айда, паря! Закладывай, благословясь, кошёвки... Зыков в городу орудует... Знай подхватывай!..

И в третьей деревне бывший вахмистр царской службы Алёхин, сбежавший из колчаковской армии, говорил крепстьянам:

---

— Нет, братцы, довольно. Кто самосильный — айда к Зыкову!.. Народищу у него, как грязи. Вон, поспрошайте-ка: в лесу, при дороге, его бекетчики стоят. Поди, мне какой-никакой отрядишка доверит же он. Пускай-ка тогда колчаковская шпана, пятнай их в сердце, грабить нас придёт, али нагайками...

И на многочисленных заимках зашевелился сибирский люд. Это было утром.

А теперь, когда луна взошла, и Гараська с ватагой рыщут по улицам...

Взошла луна — и городок опять заголубел.

Где-то далеко, на окраинах, постукивали выстрелы. Зыков слышит, Зыков отлично знает, что это за выстрелы, и спокойно продолжает дело.

Настасье хочется на улку погулять, но у ней ключом кипит брага, топится печь, она одна.

И отец Пётр вместе с другими мужиками подошёл к костру, там, на окраине. Он переоделся, как мужик: пимы, барловая, вверх шерстью, яга, мохнатая с ушами шапка.

В голубом тумане, на реке, по утыканной вешками дороге, чернели подводы мужиков.

— Допустите, кормильцы... Чего ж вы?

— Нельзя, нельзя! Поворачивай назад!

Пять партизан загородили им дорогу.

— Допустите, хрещёные... Мне хошь пешочком... — мужичьим голосом стал просить отец Пётр-мужик.

— Здря, что ли, мы эстолько вёрст пёрлись... Сами-то, небось, грабите, а нам так... — сгрудились, запыхтели мужики. — Пусти добром! — У кого нож в руках, у кого топор.

Пять партизанских самопалов грохнули в небо залп. Мужики самокатом по откосу — к лошадям.

К противоположному концу городка другая дорога прибежала с гор. Там тоже стоял обоз, рвались в город мужики. И колченогий снохач Охарчин тоже здесь:

— Достаток у нас малой. Толчак навовся разорил... Желательно купечество пощупать.

Залп в воздух. Но не все мужики убежали. Осталось с десяток «вершних», на конях.

Вахмистр царской службы Алёхин подъехал к самому костру. Низенькая и толстобокая, как бочка, кобылёнка его заржала.

— Мне к хозяину лично, — сказал он, — к Зыкову.

— По какому экстренному случаю? — спросил партизан, тоже бывший вахмистр. Из башлыка торчала вся в ледяных сосульках борода и нос.

---

— Вот, товарищей привёл... Желательно влиться в ваш отряд, — сказал Алёхин. — Завтра ещё подъедут.

— Езжай один. Скажешь, что Кравчук впустил. А вы оставайтесь до распоряженья. Слезайте с коней... Табачок, кавалеры, есть?

Ещё где-то погромыхивали выстрелы, то здесь, то там, близко и подальше. Зыков знает, что это за выстрелы: разъезды расстреливают на месте грабителей и хулиганов.

Но Гараська хитрый: Гараська смыслит, в какие лазы надо пролезать. Мешок его набит всяким добром туго, по карманам, за пазухой, под шапкой — везде добро. И ружьишко на верёвке трясётся за плечом, как ненужный груз.

Он идёт задами, огородами, по пояс пурхаясь в сугробах:

— Отворяй, распроязви!.. С обыском!.. — и грохает прикладом в дверь.

Генеральша старая. Гараська выстрелил в потолок, взломал сундук. Эх, добра-то!

Гараська ткнул в мешок отрез сукна, — не лезет. Выбросил из мешка чугунную латку, а вот как жаль: хорошая; выбросил медную кострюлю, опять туго набил мешок.

На столе фигурчатая из фарфора с бронзой лампа.

— Такие лампы я уважаю, — пробурчал Гараська. — О, язвиге! Стеклянная, — и грохнул в пол.

В доме было тихо. Лишь из соседней комнаты прорывались истерические повизгиванья. Гараська сгрёб стул и ударил в шкаф с посудой. Движенья его неуклюжи, но порывисты и озорны.

На шкафу большой круглый пирог с вареньем, Гараська отхватил лапами кусок и затолкнул в рот. «Эх, хорош самоварчик, аккуратный, — пристреливался Гараська глазом. — Не унести... Другой раз... А сгодился бы... Чёрта с два, чтоб я стал Зыкову служить... Нашёл Ваньку. Приду домой, оженюсь, богато заживу». Жрал, перхал, давился, вытягивая шею, как ворона. «Эх, недосуг». Он поставил блюдо с пирогом на пол, расстегнулся, присел и, гогоча, напакостил, как животное, в самую серёдку пирога.

Костры возле шитикова дома горят ярко, — охапками швыряют в них дрова, — пламя лопочет, колышется, вплетаясь в голубую ночь.

— Вот ты, Зыков, наших попов кончил, другие — которые хорошие... Это не дело, Зыков. А самую сволоту оставил! — кричали в толпе.

— Кого? — спросил тот.

— Отца Петра. Самый попишка жидомор...

---

И в разных местах:

— Нету его! Нету, уж бегали... Третьёводнись на потребу уехал.

— На кого ещё можете указать? — крикнул Зыков. — Не было ли обид от кого?

Народ только этого и ждал. Как ушат помой — доносы, кляузы, предательство. Из домов и домишек выхватывались люди. Звериное судьбище, плевки, матерщина, крики, гвалт. Петька Руль у Пахомова в третьем году хомут украл, Иванов о Пасхе жену Степанова гулящей девкой обложил, тот колчаковцам лесу для виселиц дарма возил, этот худым словом Зыкова облаял.

— Врёшь, паскуда, врешь!.. Ты мне два ста должен. Смерть накликаешь на меня?! Дёшево хочешь отделаться, варнак. Да ты за груди-то не хватай, жиган такой! А не ты ли в зыковских солдат выстрел дал? Нуте-ка, опросите Лукерью Хвастунову...

— Эй, Лукерья!.. Где она? Бегите за Лукерьей Хвастуновой.

— Здесь она... Лукерья, толкуй!

Гвалт, крики, слёзы, ругань. Ничего не пившая толпа была пьяна. Мещане, мастеровые, гольтёпа — все распоясались, у всех закачался рассудок.

Напёрсток пощупал ногтем, не затупился ли топор. Выстрелы, костры, кровь, где-то ревели хором хмельную песню, и на площади — как в кабаке: кровавый хмель.

— Чиновник Артамонов ты будешь?

Фёдор Петрович подытоживал на счётах ведомость, всё не выходило, врал. Поднял голову. У двери стоял Вася, а перед Фёдором Петровичем — солдат и бородач.

— Зыков приказал тебе придти к нему.

— Зачем это? — Его лысый череп, лицо и комната были зелены. Зелёный колпак на лампе дребезжал, и прыгали орластые пуговицы на потёртом вицмундире.

— Зачем?

— Неизвестно. Велено.

Артамонов, облокотившись на стол, дрожал крупной дрожью. «Знаю, зачем. Убить».

— Пошлите его к чёрту! — крикнул он, и словно не он крикнул, а кто-то сидевший в нём. — Мне некогда. Ведомость... Я в политике не замешан, колчаковцам и разной твари пятки не лижу... А ежели надо, пускай сам сюда идёт...

— Ну, смотри, ваше благородье.

— К чёрту!..

Оба повернулись и, хихикая, вышли вон. Погоня коня, бородач сквозь смех говорил солдату:

---

— Что-то Зыков скажет? Антиречно...

Зыков удивился:

— Ну? Неужто так-таки к чёрту и послал? — нахмурил лоб, подумал и сказал, улыбаясь: — Молодец. Не трогать.

— Он хороший человек!.. Спасибо! Не трог его... Только выпить любит... — кричали в толпе.

Зыкову наскучило, ушёл в дом, хватил вина и устало повалился на диван.

— Аж голова во круги идёт... Фу-у-у...

— Фу-у-у, язви тя! Видала, Настюха, что добра-то? — ввалился потный, весь в снегу, запыхавшийся Гараська. — В деревне сгодится... Женюсь... Думаешь, Зыкову буду служить? Хы, нашёл Ваньку. Ну и натешился я... Только женски всё сухопарые подвёртывались, а я уважаю толстомясых... Ого, бражка! Давай, давай... А где же наши? — Гараська выхлестал два ковша браги, спрятал под лавку мешок: — Ежели хошь иголка пропадёт, убью... — взял другой мешок, пустой, пошлёпал Настасью по заду и удрал.

Кой-где по улицам, по переулкам, возле домов и домишек с выбитыми стёклами валялись не то пьяные, не то расстрелянные солдаты, выпущенные из острога в серых бушлатах арестанты и прочий сброд. Улицы безлюдны, разъездов не попадалось, с площади доносился неясный гул.

Зыков задремал.

А внизу Мавра, повар и приказчики пекли блины. Блинов целая гора. Блинный дух повис над площадью, над долиной реки, над тёмным лесом.

А там, за лесистыми горами, в недоступных взору горизонтах, притаились сёла, города, столицы, белые и красные. На восток, по стальным, бездушным лентам, спешат грохочущие поезда, набитые вшивым тифом, страхом, отчаянием. Это люди бегут от людей же, бегут, как звери, по узкой звериной тропе вражды. И, как звери, они безжалостны, трусливы и жестоки. Люди, как звери, одни бегут, другие нагоняют. Вот настигли. Горе, горе слепому человеку! Даже луна в звёздных небесах грустно скосила глаза свои на землю, а над всей землёй стояла голубая ночь. Над землёй стояла ночь, но красные знамена приближались.

Гараська поднялся по лестнице и твёрдо ударил прикладом в дверь:

— Кто тут?

— Свои.

---

Гараська выбросил Васютку на крыльцо и запер двери.

— Товарищ, вам кого?.. Мы ж бедные... Товарищ!.. — схватившись за сердце и пятясь, вся задрожала Марина Львовна.

— Гы-гы... Тебя, толстущечка, тебя!.. — Гараська бросил мешок, сорвал с своих вздыбившихся плеч полушубок. — Такая нам давно желательна... Ложись, а то убью.

Гараська сразу оглох от резкого крика попадьи.

Вихрем взлетел снизу Фёдор Петрович:

— Это что? Вот я тебя сейчас из револьвера, чёрт! Ах ты!!

Гараська грохнул его на пол, давнул за горло и орангутангом бросился на попадью, с треском и гоготом разрывая ей одежду:

— Титьки-та... Титьки-та!..

## Глава XI

Блины готовы, топор ослаб, и кровь на площади остановилась.

Всех недобитых отвели в деревянную церковь и заперли под караул. Зыков знает, как с ними рассчитаться.

А возле шитиковских хором затевается штука, ой, да и занятная история!

Пред самой террасой очистили от народа площадь. Караульщик в двух тулупах пришёл с лопатой, но толпа так утоптала снег, что гладко. Ковёр за ковром тащут подвыпившие партизаны и кладут на снег рядами, плотно, ковёр к коврику. Выносят мебель. Вот выплыла на террасу из распахнутых дверей, как ладья из ущелья, чёрная грудь рояля.

— Сады! Тащи сады! — командует Срамных.

Шитиковский дом богатый, первый дом, и «садов» в этом доме много. Пальмы, фикусы, пахучие туи выкатывались в кадushках на мороз и выстраивались в ряд по грани дорогих ковров.

Шитиковский дом самый богатый, но, пожалуй, и перепре-евский дом ему подстать.

— Тпру! — чернородый чугунный Зыков соскочил с чёрного коня и бросил поводья стоявшей страже.

В широкую спину его поглядели большие жёлтые глаза, и один бородач сказал другому:

— Видно, сам прикончить пожелал.

Зыков вошёл в перепреевские покои, как в свой дом, один.

---

Фёдор Петрович пошевелился и застонал. Гараська наскоро выпил второй стакан водки и вильнул в его сторону мокрым глазом:

— Вот что, попадья, — прогнусил он Марине Львовне, расстрёпанно сидевшей на полу. — По присяге я тебя должен час зарезать, язви-те... Потому как всей кутье секим башка...

Матушка захлюпала и замолилась.

— Не вой, — и Гараська улыбнулся. Его глаза и улыбка были слюнявые и липкие, как грязь. — Потому как ты очень примечательна, я тебя не потрогаю... А надевай ты, матка, штаны, шапку да тулуп и беги скорей к знакомым... А то придут наши — смерть... Ох, и скусна ты, матка, язви-те...

Огарок на столе чадил, Гараськина головастая тень пьяно елозила по белёным стенам, в окно косо смотрела луна, а под луной, по улицам разъезжали партизаны: пикульщики пикали на пикульках, дудильщики дудили в дуды, бил барабан и раздавались крики:

Эй, попы, купцы, дворяне,  
Чиновники и поселяне,  
И вы все, мелкие людишки,  
Пискари, караси, ершишки!..  
Зыков всех зовёт на блины-ы!!  
Представленьё смотреть, веселиться,  
Всем чертям молиться..  
На блины-ы!..

И под луной же, там, на крепостном валу, искусник-пушкарь Миклухин задувает в пушку тугой заряд. А Настя управилась с делами, обрядилась во всё новое и, беспечально поскрипывая по снегу новыми полсапожками, шла под луной на пикульки голоса и крик.

Может быть, от этого крика, или потому, что в комнату вдруг вошёл огромного роста человек, Таня вскочила с дивана, оторвав от заплаканных глаз платок.

— Мне не по нраву, когда в горнице темно... Дайте огня.

Таня бросилась в ближайшую дверь, и, переполошный, замирал-удалялся её голос:

— Зыков, Зыков...

Огня не подавали. Он твёрдо пошёл вслед за Таней. В крайней, ярко освещённой комнате, сбившись в кучу у стены, тряслись три женщины. Когда Зыков вошёл, они подняли визг и заметались.

Таня с криком вскочила на кровать и, схватив подушку, прижалась с нею в угол.

---

В этот миг ахнула с крепости пушка. Дом вздрогнул, а Настасья сунулась носом в снег и захохотала. Гараська бежал огородами с тугим мешком домой. Тоже упал, поднялся и пьяно проговорил:

— Ух, язви-те!.. Как подходяво вдарило...

— Я все купецкие семейства убиваю. Вам же бояться нечего... Это говорю я, Зыков. Ребята караулят ваш дом надёжные... Не пужайтесь, — и он кивнул головой на девушку. — Молите Бога вот за неё, за эту.

У Тани вдруг расширились глаза, от страха, или от чего другого, и тонкие губы раскрылись.

— Танюха, поди сюда! Брось подушку.

— Зыков, отец родной... Ой, голубчик... — и мать упала на колени.

Он сдвинул брови и упёр железный взгляд в большие оставившиеся глаза девушки:

— Ну!

Татьяна соскользнула на пол и послушно стала подходить к нему, высокая, упругая, не понимая сама, что с ней. Он шагнул навстречу и грузной рукой погладил ей голову. Чёрные девичьи косы туго падали на спину, и Зыкову показалось, что всё лицо её — два больших серых глаза под пушистыми бровями и маленький алый рот.

— Вот, к разбойнику подошла... Вся в чёрном, как черника... — ласково сказал он.

Девушка крикнула:

— Ах! — внезапно вскинула руки на плечи Зыкова и застонала: — Ой-ой, зачем вы папочку убили?.. Папочку...

— Так надо, — сказал он, тяжело задышав, и подхватил повалившуюся на пол девушку: — Ну, зашла, сердешная...

У Тани глаза закрыты, улыбка на побелевшем лице и скорбь. Понёс её на кровать. Руки девушки повисли, как у мёртвой, и повисли две чёрные косы её.

Когда нёс, мать и Верочка бросились к Тане. Верочка затряслась, затопала, отталкивая его кулаками:

— Уходи, убийца!.. Прочь!.. Ты папашеньку убил... За что? Он хороший был... Он честный был... А ты дрянь, мерзавец!.. — и злобная слюна летела во все стороны.

Он выхватил из графина пробку и быстро смочил водой полотенце. Таня открыла глаза.

— Испужалась? А ты не бойся, — сказал он, улыбаясь. — Эх ты, дочурка... А я в гости тебя звать пришёл, на гулеванье... Чу!

Опять грохнула пушка.

---

— Ну, отлёживайся... Ужинать к тебе приду... — Он взглянул на свои часы. — Ого, первый. Ну, не бойтесь. Будете целы.

Снег взвивался из-под копыт его лошади, а там, на окраинах, снег мирно блестел и в окна домов и домишек била луна.

В лунном свете и свете огарка, как лунатик, поднялся с полу Фёдор Петрович. Сипло закашлялся, покосился на какого-то человека в тулупе и шапке, хотел крикнуть, хотел выгнать вон, но, повёртывая посиневшую больную шею, робко и крадучись стал спускаться вниз, к себе.

Незнакомый дядя в тулупе и шапке торопливо выгребал всё ценное из комодов, сундуков, ларчиков и вязал в большой узел, в простыню.

Это была матушка, Марина Львовна, попадьё.

Зыков захохотал.

Перед ним за огромным столом, на мягких шёлковых креслах, сидели гости: купечество, бары, белая кость. Наряд их богат и пышен. Шляпки — чудо: с перьями, с птичками, с цветами — одни нахлобучены каравайчиками до самых бровей, другие сидели на затылке. У носатой дамы, что в серёдке, с веером, шляпа прикреплена атласной лентой; лента процвела сиренью по ушам, по волосатым скулам, и под огромной, жёлтой, как сноп, бородицей — великолепный бант. Дамы донельзя напудрены и нарумьнены, но многие из них страшно бородаты, и на лицах свободного от шерсти места почти нет — белеют и краснеют лишь носы и лбы. Груды у дам, как у кормилиц. Купчиха Шитикова, чьи наряды красовались на гостях, была женщина тучная, крупная: гостям как раз, только у троих лопнули кофты.

Пегобородый Помазков с огромным турнюром и в кружевном белоснежном чепчике, толстозадый Опарчук в бабушкиной рубаше, очках и красной шляпе, а Митька Жаба в одних панталонах с кружевами и корсете. Курмы, душегреи, капоты, холодаи горят разными цветами. Дамы разговаривают очень тонкими голосами, курят трубки, сипло отхаркиваясь и сплёвывая через плечо. Мужчины в сюртуках, пиджаках, поддёвках, халатах.

Зыков смеялся, всматривался из-под ладони в лица, с трудом узнавал своих.

— Залазь, Зыков, гостем будешь!

Сряду же после третьей пушки в соборе и других церквях ударил малиновый пасхальный трезвон. Толпа горожан, что густо окружала ковровую площадку, враз повернула головы.

---

А трезвон летел в ночи, весёлый и нарядный, гулко бухали тяжёлые колокола, и в трезвоне, в лунном свете чинно двигался из собора крестный ход. Где-то там, всё приближаясь, колыхались церковные напевы, и следом вразноголосицу звенело звонкое «ура» ребятишек.

Толпа расступилась, изумлённо разинула рты, пропуская незнакомое духовенство. Ирмосы священники пели в двадцать ядрёных голосов, многие из граждан сдёрнули шапки, закрестились, но, прислушавшись к словам распевов, раскатисто захохотали и напялили шапки до самых переносиц, а некоторые с плевками и руганью пошли прочь.

Лишь только духовенство, сияя ризами, вступило на ковры, гости бросились под благословение к долгобородому архиерею. Тот благословлял всех наотмашь, приговаривая:

— Изрядно хорошо, — и совал для лобызанья кукиш.

Возле архиерея лебезили, потирая руки и кланяясь в пояс, осанистый купец в енотке и его жена, долгобородая купчиха со шлейфом и под зонтиком — хозяйева.

— Пожалуйте, ваше просвященство, к самоварчику. Отцы крутопопы, отцы дьяволы... Ваши окаянства! Милости просим от трудов наших праведных...

Когда архиерей, благословив блины и питание, стал садиться, из-под него выдернули стул. Митра покатилась, архиерей кувырнулся, задрал вверх ноги, и заругался матерно.

Настя смеялась, колокола трезвонили всюю, огромные костры весело пылали, распространяя тепло и свет, а трупы удушенных смотрели с виселиц обледенелыми глазами.

Настя побежала домой — не ограбили бы хулиганы, а когда вернулась — горы блинов были съедены, вино выпито, и вынесенная на улицу купеческая гостиная, вся в цветах, коврах, мебели, оглашалась дружным рёвом: духовенство соборное служило молебн.

На рояли стояло кресло, в кресле высоко восседал в ризах пьяный поп, держащий под пазухой четверть водки. Лохматый протодьякон выхватил изо рта трубку и по-медвежьи взвыл:

— Завой-ка глас шесты-ы-ый!..

Архиерей, воздев руки и, с трепетом взирая на сидящего угодника, елейно залился:

— Приподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с...

Четыре дьякона возжёнными кадильницами чинно кадили угоднику, гостям, толпе зевак. Гости крестились кукишами, некоторые стояли на коленях, в толпе плевались, слышались недружелюбные выкрики и ругань.

---

Но всё это тонуло в ответном благочестивом рёве глоток:

— Приподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с!..

Срамных сидел за роялем, как лесовик, он со всей силы брякал в клавиши двумя пятернями враз и дико орал какую-то разбойничью. Рояль гудел и грохотал, дико ревели гости и кадьницы, мерно позвякивая, курили фимиам.

Насте хотелось хохотать и оскорблённо плакать.

— Проклятые!.. Чтоб вас громом разразило... — сквозь слёзы твердила она и заливалась хохотом.

В стороне за столом, совершенно один, всеми забытый и всё забывший, сидел, пригорюнившись, Зыков. Он подпёр голову рукой и о чём-то думал.

Настя хотела идти домой, но в это время:

— Благочестивые братие и сестры! — козлом проблеял архиерей и замахал руками. — По синодскому приказу сейчас начнётся кандибобер!

Он круто повернулся, поправил митру:

— Работай!..

И всё духовенство — скуфьи, камилавки, парчевые ризы — с азартом, разом накинулось на бородатых купчих. Купчихи, разыгрывая роль, визгливо кричали, бегали вокруг столов, опрокидывали стулья. Попы сладострастно схватывали их, валили на диваны, кровати, ковры и при всём народе делали вид свального греха.

Тогда сам Зыков плюнул, встал:

— Довольно!!

Всё быстро прекратилось. Только вблизи и подальше озлобленный гудел народ.

И в общем гуле колюче вырывалось:

— Святые иконы! Архиереев!.. Попов! Церкви!.. Тьфу! И не стыдно, Зыков?!

А из толпы выделился сгорбленный, в измызганной нагольной шубе человек, тот самый чахоточный мастеровой, портняга.

Он остановился пред чугунным великаном, как пред кедром сухая жердь:

— Сволочь ты, Зыков! Чума ты!.. Холера ты!.. — сквозь кашель скрипел он надтреснуто и звонко, втянутые щёки вспыхнули румянцем, воспалённые глаза, сверкая, запрыгали.

— В чём дело? — с наружным спокойствием, смутившись, спросил Зыков.

— Как в чём дело?! — и палка человека с силой ударила в ковёр. — Зачем ты сюда пришёл? Грабить, убивать да жечь?

---

Толпа ответно зашумела, пыхтящей волной вкатилась на ковры, кой-кто из партизан опасно схватился за винтовки, и сквозь шум сухая жердина больно секла чугунный кедр:

— Нешто за этим тебя, убивца, звали? Все испугались, все присмирели, а вот я не боюсь тебя, чёрта... Руби, бросай в костёр! Мне всё равно подышать скоро. А правду я тебе, сатане, скажу... Прямо в твои бельма бесстыжие... Нна!

— Чего зря ума бормочешь?.. Чего ты смыслишь?..

— Молчи, убивец, сатана! Какой ты к чертям правитель?.. Живорез ты... Погляди, что делают разбойники твои: грабят, увечат народ. Эвот винный склад разбивают, да водку жрут.

— Ка-ак?! — и у Зыкова запрыгали щёки.

— А тебя лают, как собаку... Пра-а-а-а-витель!..

Зыков крикнул и утёр полой взмокшее лицо.

— Это Напёрсток мутит, — сказал Срамных. — Под тебя подковыривается.

— Знаю, — ответил тот, и грозно зарычал: — Эй, горнист!.. Играй тревогу, сбор!.. Я им покажу, какой я есть правитель.

Гараська с тугим мешком ходко бежал прямо по дороге, за ним с руганью гнался косматый шерстобит, за шерстобитом — его дочь, девушка, крича и плача. У шерстобита в руках здоровый кол, и бежит он по морозу в одной рубахе и без шапки.

— Убью дьявола, убью!..

Гараська бросил мешок и, подобрав полы, помчался, как наскипидаренная лошадь.

В это время, словно медный бич, резко стегнул над городом медный крик трубы.

— Язви-те! Вот так раз... Тревога!.. — задыхаясь, крикнул Гараська и приурезал к площади.

По переулкам, из дворов, с реки бежали и скакали на конях партизаны.

— Айда скорей!.. Тревога... — перекидывались выкрики.

Одни сидели в сёдлах бодро, прямо, другие слегка мотались от подпития, третьи загребали ухом снег.

Труба сзывала, тревожно летели звуки, и навстречу звукам...

— Товарищ Зыков!.. Я здесь, прибёг... — Гараська кинулся к толпе, где строились широким кругом партизаны.

А перед Зыковым бросилась на колени растрёпанная девушка:

— Заступись!.. Твой парень... ой, батюшки...

Молодое лицо её рдело, волосы рассыпались по вспотевшему лбу, и глаза метались, как птицы в силке.

---

— Дочь моя... Дочь... варнак хотел изнасиловать, — потрясая колом, орал лохматый шерстобит. — Подай его, убью!

Зыков быстро поднял женщину.

— Спасибо, что доверилась Зыкову, — сказал он. — Зыков защиту даст... Вот, ищи... Все мои ребята здесь. Только, девка, смотри: ежели не сыщешь — вздёрну. Знай! — и, погрозив безменом, он пошёл по кругу вместе с ней.

— Вот он, вот! — ткнула она в Гараську и в страхе схватилась за Зыкова.

Гараська побелел и забожился.

— Стервец! — крикнул Зыков, сразу поверив девушке.

Гараська бросился на колени, но безмен взмахнул, и занесённую руку Зыкова не остановишь.

И уже Зыков на коне. Конь скачет, пляшет, из ноздрей валит дым, из-под копыт — пламя, из-за крыш, и здесь, и там, тоже вдруг вырвались дым и пламя.

— Пожар! Пожар!..

Это загорелись три церкви. По приказу Зыкова церкви с обеда были набиты соломой и дровами.

— Пожар, пожар!.. — зеваки-горожане бросились туда.

Четвёртая церковь деревянная. Ещё маленько, и она запыляет ярче всех.

В ней пятьдесят три человека крамольных горожан ждут своего конца. Они все связаны общей верёвкой.

А в алтаре, на ободранном грабительской рукой престоле, лежали прикрученные арканом богачи Акуловы, муж, жена и дети. Муж, маленького роста бородатый человек, шептал молитвы и мысленно клал кресты туго привязанной рукой. Он был в религиозном исступлении, дрожавшее жёлтое лицо его сияло, взор устремлён на лик Христа, в незримое Христово царство, где он чаял получить венец мученика. Он ждал смерти в радостном терпении. Его жена, большая и тучная, лежала лицом вверх на престоле, с угла на угол. Рыжеволосая, с густыми растрёпанными косами голова её, запрокинувшись, свесилась с престола, и веснушчатое, окаменелое лицо набухло кровью. Одна нога — в шёлковом чулке и лакированном ботинке с высоким каблуком; другая, голая, подкорочена, вся в волдырях от калёного железа. Чулок, туфля и обрубленные пальцы рук, на которых несколько часов тому блистали кольца, валялись на полу, вместе с разодранным Евангелием, иконами и ветхим церковным облачением. Она хрипло стонала и отплёвывалась.

---

Пусть радуются кости протоппа Аввакума! В его честь и славу пятьдесят три человека и семейство богачей Акуловых будут сожжены велением Зыкова, и двое поджигателей уже вбежали с огненными головнями в церковь.

Из открытых дверей повалили струйки дыма, послышались глухие стоны, плач, мольба. Вот кругло, густо закрутился жёлтый дым, и вместе с дымом выскочили из церкви поджигатели, затесавшаяся в храм приبلудная корова и два козла...

— Сволочи! Чего не подождали?.. — прохрипел только что вбежавший с улицы страшный, опьянённый кровью, Напёрсток.

— Куда ты, назад!.. Сгоришь... — схватили каторжника поджигательские руки.

Но тот, заготовив, с высоко занесённым топором бросился сквозь дым в церковь.

— Кайся, кто первый зачинал! — гремел на весь круг Зыков, и конь его плясал. — Помни клятву, не врать мне ни в чём... Говори правду. Хотели винищем обожраться да колчакцам в лапы угодить?!

Было выдано восемь партизанов, да два солдата, да ещё поймано семеро мещан.

— Чалпан долой!

Напёрстка не было, и головы саблей рубил Срамных.

Зыков с коня бросал ему:

— Монопольку сжечь. Немедленно... Пьяных расстреливать на месте... Я буду там...

Лишь десятая голова слетела с плеч, Зыков взмахнул нагайкой, конь взвился, обдав всех снегом, загудела земля, и всадник скрылся.

Напёрсток с обгорелыми волосами выкатился враскорячку из церкви, с его топора, лица и рук текла кровь. Он бросил топор и пал на снег. Рыча и безумно взвизгивая, он грыз свои руки, разрывал одежду, выл, катался по земле, как вывороченный с корнями пень.

Потом бросился к реке, падая и вскакивая.

— Кровь... Кровь... — завывал он. — Зарежу, давай топор!..

И не было для него голубой ночи, простора, звёзд: всюду кровь, горячая, липкая, опрокидывающая:

— Смерть... Смертынька...

Добежав до середины реки, он припал к краю проруби и, ляская зубами, стал жадно лакать холодную воду, словно угревший пёс.

---

Чёрный, как чёрт, гривастый конь на всём скаку остановился. Чугунный Зыков сгрёб Напёрстка за ноги и с силой сунул его башкой под лёд:

— Прохладись.

Потом радостно, всем телом выдохнул: — У-ух! — двуперстно перекрестился, вскочил в седло и галопом — вдоль сторожевых костров.

## Глава XII

Дома и церкви горели, как костры.

На площадь волокли изнасилованных девушек, бедных и богатых, живых и полумёртвых. Их втыкали торчмя головой вокруг горевшего собора в глубокие сугробы и издевательски кричали:

— Это Богу свечи.

В толпе горожан и пригородных мужиков, видевших все гнусности, росло и крепло возмущение. То здесь, то там раздавались смелые озлобленные выкрики:

— Разбойники! Мучители!.. Вас самих нужно резать: таких анафемов, как вы, не надо на племя пускать... Где ваша правда?

Но в пьяные уши озверевшей шайки не влетали эти речи.

— В каждом домочке по человечку, кроме самых бедных, — секретно и тайком от Зыкова внушал Срамных койкому из партизан. — Это за красных им... за большевиков... Пускай знают... По приказу Зыкова. А что получше, тоже забирай.

Горели купеческие, чиновничьи и поповские дома. Разворачивалась, коверкалась, горела крепость. Жгли винный склад. По всему городу вплетались в ночь густые клубы дыма, вопли, выстрелы, песня, отборная ругань, хохот.

Месяц уходит спать, ночь кончается, а разгул в обречённом городишке крепнет.

— Караул, караул!..

— Душегубы... Душе...

Песня, и кровь, и хохот. Эй, кто может, убегай! А где же Зыков? Срамных носится на коне из конца в конец — Зыкова нет.

Семья доктора — десятилетний Ваня, шестилетняя Сонечка и жена Анна Павловна — сгрудились в кухне. Их собствен-

---

ный одноэтажный дом на виду у всех. В этот вечер приветливые окна его темны, он мёртв и тих, как склеп, лишь в кухне смятенная в трепете и ожиданьях жизнь.

Доктор весь в лихорадочном волнении. Серые глаза мучительно блестят, губы сжаты, и напряжён каждый мускул сухого строгого лица его. Одиноким, он взад-вперёд ходит по тёмному, выходящему окнами на площадь залу — в зале играют отблески начавшихся пожаров. Портрет его жены следит за ним любовными глазами, но доктор — руки назад, голову вниз — ничего не видит, ничего не замечает: он движется по кладбищу, среди могил, его сердце, его мозг залиты кровью, и ночь кругом темна.

За окнами грозный погром, анархия, всё нарастающие вопли

— Да, да, — печально произносит доктор. — Исхода нет... *Memento mori*\*... — И это говорит не он, говорит судьба его, и доктору становится тяжело. Он ощупью подходит к этажерке красного дерева, достаёт любимую статуэтку-сакс, дар жены-невесты, целует её и с размаху об пол. Сдерживая нестерпимую боль в душе, он повалился в кресло и холодной, как у мертвеца, ладонью сжал горячие виски. Детский, осторожный в темноте бег и дрожащий голос Сони:

— Папочка, что это упало?

— Так, ничего... Иди к маме, я сейчас, — чрез силу говорит он спокойно.

Девочка чувствует настроение отца, не верит его спокойному голосу, она дышит из тьмы сбивчиво и громко, потом уходит на цыпочках.

Мимо окон промчались два всадника, бежит толпа.

— Давай лекаря!.. Время...

— Дай срок... Сначала пристава пощупаем...

Доктор достал из буфета графин вишнёвой наливки и понёс в кабинет. Порылся в письменном столе, отыскал баночку с белым порошком. Взял лист бумаги, стал писать:

«Я, городской врач, Прокопий Иванович Ногин, чтобы избежать мучительных...» — рука судорожно скакала, вместо слов — караули. Он швырнул перо и разодрал написанное:

— К чёрту...

Бежать с семьёй — невысказано. Дурак, слепец! И понесла ж его нелегкая к роженице, лабазнице Первухиной. Пока делал операцию, пока спасал чужих две жизни, внезапно налетевшая ватага уже рыскала по городу. И у ворот его дома...

---

\* Надо: *memento mori*, — помни о смерти (*лат.*).

---

— Чу, громят...

Доктор проворно вышел в парадное и немного приоткрыл запертую на цепь дверь. В соседнем доме в ворота бухало бревно, и, как бы переругиваясь, раздражённо дзикали выбиваемые стёкла.

— Отпирай!! — и с улицы, в дверную щель, чья-то мохнатая морда уставила на доктора пьяные, вспотевшие глаза.

Доктор рванул, захлопнул створку, запер все пять дверей от парадного до кухни и вошёл к своим. Мускулы побелевшего лица его обвисли, но глаза из-под густых бровей сверкали решимостью. Жена взглянула на него и сразу всё поняла. Лицо её дрогнуло, бледный лоб покрылся мгновенным потом, она что-то хотела вымолвить и не могла. А рёв толпы и грохот всё ближе, всё страшней.

— Не беспокойтесь... Это соседей громят, — твёрдо сказал доктор. — Человек прибежал, предупредил, что нас не тронут. Сейчас подадут лошадей. Ну, выпьем на радостях... *Memento viveri!*\*

Дети поверили, радостно закричали:

— Поедем... Сейчас поедем!

Мать, застонав, улыбнулась им. И с мучительным молчаливым криком, всё так же улыбаясь, кивнула мужу.

Затем настал и пронёсся быстрый туманный сон: родные голоса, родные люди, жесты — всё по-неживому чернело, ломалось, прыгало в холодной пелене тумана. И тёмная рука с графином продрожала в тумане, разливая в стаканы красное, последнее вино. Туман стоял стеной. А на том берегу жизни — грохот густо надвигался, креп.

— Папочка, папа... Сюда идут...

— Пейте! Лошади поданы... Сейчас уедем.

Дети выпили. Прокофий Иванович поцеловал жену в губы:

— Аня... Прощай.

Сон кончился, туман исчез, лошади умчались.

Когда догорали колокольни, сюда добрался бородатый, с отрубленным ухом раскоряка. Он суетливо, вперевалку, обежал все комнаты, выискивая гноящимися заплывшими глазами, что поценней, поярче. Но всё в доме предано грабежу и разрушению. Он в кухню. Кухня — склеп. В ней покой и промозглый холод. Электрическая лампочка — как лампада на погосте.

— Ишь, нажрались, — прогнусил бородатый раскоряка и отплюнулся. На полу, на скамьях валялись, сидели, при-

---

\* Надо: *memento viveri*, — помни о жизни (лат.).

---

слонившись к стене, люди. — Наших трое... Эй вы, пьяницы! Стёпка!.. Ананьев!.. Мокрецов!.. Спят, дьяволы. И хозяйева нажравшись. Вставайте, что ли?

Но никому больше не подняться, никто не встал.

— Всё вылакали, обормоты... На доньшке... — погнузил безухий, по кудлатой бороде его текли слюни. Он сбросил с плеч волочившуюся по полу богатую ильковую шубу и жадно допил из графина красное, последнее вино.

Крякнул, упал и захрипел.

Было тихо, безветренно.

Вот глухо ударило во все концы и загудело: это на колокольне оборвался грузный колокол, прошиб кирпичный свод.

— Колокол... Колокол упал...

Собаки тоже разгульны, веселы и пьяны. Одноухая рыженькая сучка с удовольствием вылизывает в снегу Гараськин мозг.

Трупы удушенных мороз превратил в камень. В неверном свете зарева они покачиваются, пересмеваются, что-то говорят. Обезглавленные трупы тоже заоченели, валяются кучей и в одиночку тут и там. Головы их в шапках и без шапок чернеют на огненном снегу, скаля зубы. Их некому убрать: всяк живой по горло утонул в своей гульбе, в своём трепете и жутком страхе.

Ночь и весь воздух здесь в дыму, крови и похоти, и только там, ближе к звёздам, к месяцу — безгрешная голубая тишина.

Но почему же этот самый, перепреувский?.. Впрочем, и в нём зазвенели стёкла: гуляки хватили по раме колом и, смяв стражу, с криками ворвались в покои.

— Бей купецкое отродье!.. Режь!.. — и, вбежав в комнату, где яркий свет, враз остановились:

— Зыков!!

Кучей, как бараны, бросились назад, давя друг друга и скачываясь с лестницы.

— Зыков... Зыков...

Но один из них, красавец Ванька Птаха, уже на улице вдруг круто обернулся, словно его что-то ударило в затылок, и обратно побежал вверх по лестнице.

— Ты, Зыков, кликал меня?

Зыков поставил серебряный кубок с вином и оглянулся:

— Нет. В мыслях имел тебя.

— А мне почудилось — кликал.

— Садись... Тебя-то нам и надо... Снимай армяк.

---

Ванька Птаха живо распоясался, неуклюже поклонился Тане:

— Здорово живёшь, госпожа барышня, — и, откинув скобку белых и мягких, как шёлк, волос, застенчиво сел на краешек дивана.

Таня взмахнула густыми ресницами и уставилась в молодое, весёлое лицо парня. Семь белых пуговок на высоком вороте его зелёной рубахи плотно жались друг к другу, как горох в стручке. На груди же была вышита райская птица и крупная надпись: «Ваня Птаха». Девушка грустно улыбнулась, по монашьему бледному лицу, на чёрную монашью кофту скатилась слеза.

— Ну, Птаха голосистая, развесели, — сказал Зыков. — Сударыня-то моя чего-то куксится.

— Это мы можем, конечно...

Зыков тронул ладонью пугливое Танино плечо:

— А ты не куксись, брось.

— Странно даже с твоей стороны требовать, — и горько, и ласково ответила Таня.

— Э-эх!.. — и Зыков заерошил свои волосы.

А там, возле горящей колокольни, возле отгудевшего колокола, тоже раздалось многогрудно:

— Эх...

Там, на колокольне, жарились четыре трупа, и когда верёвки перетлели, раздавленные, один за другим, дымясь и потрескивая, радостно прыгнули в пламя.

И каждый раз толпа вскрикивала:

— Э-эх...

— Это, должно быть, колокол упал? Блякнуло... — спросил Зыков.

— Стало быть, колокол, — ответил Ванька Птаха.

Зыков дышал отрывисто и часто. Хмель гулял в голове, и кровь в жилах, как огонь.

— А вот я им уже покажу, чертям. Кажись, шибко разгулялись. Дьяволы.

— Гуляют подходяво, — сказал красавец-парень, и его взгляд встретился со взглядом девушки.

Зыков, чуть спотыкаясь, подошёл к окну.

Парень разглядывал девушку, и ему вспомнилась грудастая Груня, невеста его, там, за лесами, в горах, в сугробах. И уж он не мог оторвать от Тани взгляда. Такого лица, таких глаз он не видал даже и во сне.

«Чисто Богородица, — подумал он, и ему вдруг захотелось упасть пред нею на колени: — Ах ты, Богородица моя...».

---

А по соседству, за прикрытой расписной дверью, пред образом настоящей Богородицы молилась на коленях женщина, мать Тани, и слёзно просила о заступничестве Мать Христа.

Зыков загрохотал в двойную раму:

— Эй, вы, черти! — грозно закричал он сквозь стёкла в огневую ночь. «Эх, маху дал... Не унять теперя...» — злясь на себя, мрачно подумал Зыков.

Ванька выпил большую чару вина.

— Пей ещё, — Зыков подошёл к столу. Не остывший взгляд его ещё раз метнулся грозой сквозь стёкла в ночь. «Однако пойду угомоню щенков». Но оставить этот дом не хватало сил.

Ванька выпил. У Ваньки лицо тонкое, нос с горбинкой, и большие синие глаза.

— Пой.

Ванька поднялся, высокий, статный, одёрнул рубаху и отошёл к простенку под зеркало. Штаны у него необычайные. Он был в штанах, как в юбке с кринолином. Ярко-красные, в крупных огурцах, цветах и птицах, их сшила вчера старуха-прачка из трёх украденных Ванькой драпировок. Таня опять сквозь слёзы улыбнулась. Зыков заставил её выпить вторую чару, и глаза её стали безумны.

Ванька Птаха сложил на груди руки, потрянул головой и, покачиваясь, медленно, с чувством, с горем великим и тоской, запел:

Не бушуйте вы, ветры буйные,  
Не шумите вы, леса тёмные...

Голос его был густой, печальный, свежий. У Тани защемило сердце. Зыков откинулся на диване и смотрел Ваньке в рот. Скрипнула, чуть приоткрылась, дверь, чьё-то ухо припало к щели, и замерли в комнате все огоньки.

Ты не плачь, не плачь, красна девица,  
Не слези лицо прекрасное...

Таня вдруг заломила руки и со стоном повалилась головой на стол. Зыков встал, нагнулся над Таней:

— Дочурочка... Дочурочка... Эх!.. — и целовал её в висок, в белый пробор на затылке меж чёрных кос.

Таня вся задрожала:

— Пусти меня, пусти... — и подняла на Зыкова своё покрытое слезами лицо, как солнце в тучах.

---

У Зыкова дрогнуло, колыхнулось всё тело.

— Красота ангельская, неповинная... Дочурочка! — он опустился пред ней на колени и ласково ухватил похолодевшие девичьи руки. — Не кручинься, брось... Поедем со мной в наши скиты. У нас в горах озёра, быстры реченьки, сосны гудят...

— Зыков, миленький... Зыков...

— У тебя, Степан Варфоломеич, баба есть... Чего мутишь девку, — раздалось от зеркала. — А вот отдай мне...

— Молчи! Я её в дочурки зову... Дурак! Тебе!.. — из глаз Зыкова брызнули чёрные искры.

Лицо парня вдруг стало бледным и потерянным.

— Врёшь, Зыков! Я её возьму!..

Луна давно померкла. Улица затихла. Предрассветное небо серо, как предрассветный сон. Колокола не благовестили к заутрени: колокола онемели, и кто ж будет служить в разрушенных церквах? Только бездомный отец Пётр остался жив.

Отец Пётр в одежде мужика разыскивает по городу свою жену и сына, да кой-кто из окрестных крестьян, нахрапом прорвавшись в город, благополучно возвращается домой, поскрипывая санями и озираясь.

Дом отца Петра догорает. В огне погребло всё. Погибли и сводные ведомости коллежского секретаря Фёдора Петровича Артамонова.

А сам Артамонов, видимо, пьян или сошёл с ума. Он забился в отхожее место на базаре, сидит там скрючившись, надтреснуто поёт: «Царствуй на страх врагам, царь правосла-а-а...», хохочет и всех проходящих ругает последней бранью.

Колокола не звонят к заутрени, но старец Варфоломей поднялся с своего одра, зажёл свечи у икон своей кельи, умылся, поцеловал крест на крышке гроба и встал на молитву.

— Сон мракостудный изми, Боже, из души мояя...

Губы шептали горячо, рука крестилась усердно, но в груди был лёд и мрак, глаза же горели яростно и дерзко.

Сегодня он должен образумить своих единоверов, ставших на разбойничью стезю. Должен, должен! Без того не умрёт... И да будет проклят его сын, отступник...

А его сын, отступник, облокотился на бархатную скатерть круглого стола, стиснул руками свою голову, слушает Ваньку Птаху, и душа его рвётся из силков.

У Тани слёзы на глазах, и в голосе Ваньки Птахы слёзы:

У залётного ясна сокола  
Подопрело его право крылышко,

---

У заезжего добра молодца  
Что щемит его ретиво сердце.

Зыков мотает головой и горько крикает. А Ванька Птаха, поводя плечами, ещё страстней выводит седую песню. Он, как замороженный, ничего не видит, кроме колдовских девичьих глаз, и больше ничего ему не надо.

— Ах ты! Ах... — дико, страшно вскрикнул Зыков, он вцепился в свои волосы и застонал, глаза его налились тоской, как осенним чёрным ветром. — Будет тебе, дьявол!.. Эх... Давайте пить. Давайте гулять... Эх, Танюха, сердце моё... Пей!..

И все, как в угаре, и всё — угар.

Таня пляшет и поёт, и плачет. В дверь высовывается голова матери. С воем летит в дверь, в косяк, бутылка, и — вдребезги, как соль.

— Эй, веселую! — кричит Зыков.

Ванька ударил ладонь в ладонь, прыгнул на середину комнаты и грянул плясовую.

Весел я, весел  
Сегодняшний день,  
Радостен, радостен  
Теперешний час.

Ванька пляшет, топчет, свистит, бьёт каблуками в пол. Зыков пляшет, ухает, вскидывает руки и, когда бросается вприсядку, дом дрожит и лезет в землю. Ванька притопывает, гикает, кружит тонкую былинку Таню:

Видел я, видел  
Надежду свою,  
Что ходит, гуляет  
В зелёном саду.

Таня, изгибаясь, притворно вырывается от парня, как от солнца день, вот подбоченилась, вот чуть приподнимает то справа, то слева край платья, и маленькие лёгкие ноги её в весёлом беге.

Зыков хлопает в ладоши, как стреляет, и в два голоса с Ванькой:

Щиплет, ломает  
Зелен виноград,  
Коренья бросает  
Ко мне на кровать.

---

Таня вся в угаре, вся в вихре: кружится, вьётся, пляшет, и две косы, как тугие плети, взмахивают, плещут по воздуху. Таня хохочет, вскрикивает, хохочет, и слёзы градом.

— Зачем заставляешь?.. Зыков!.. Мне больно, мне тяжело... Отца убил... Зыков, не мучь...

Таня кричит и хохочет, проклиная себя, проклиная всех, кричит: «Мамаша!». А может, и не кричит, может, смиренно сидит возле ярко горящей печки, а кричит за окном народ. И чуть-чуть слышно откуда-то сверху, откуда-то снизу из печки, из огня:

Спишь ли, мой милый,  
Или ты не спишь?..

И ей хочется обнять его, и ей страшно, она шепчет:

— Ваня, не целуй меня... Ваня...

А когда народ закричал громче и грозней, Зыков вывел её на балкон, махнул рукой, и площадь смолкла.

— Вот жена моя! — крикнул Зыков. — Что, любя?

И площадь взорвалась, рассыпалась радостным криком, полетели вверх шапки, зазвонили колокола, загремели трубы, барабаны. Кони ржали, крутятся и вздымаясь на дыбы, и жаркое небо — всё в цветах, всё в птицах, в радугах. А сердце Тани ноет, сердце разрывается. На Зыкове золотой кафтан, отороченный соболем. Солнце бьёт в кафтан, больно взору, Зыков могуч и радостен, как солнце, и сердце Тани пуце разрывается. Таня вся в солнце, в жемчуге, в парче.

— Танечка моя милая, доченька... — Папаша подошёл, папаша в длинном сюртуке, поздравляет её, целует и целует Зыкова. И все целуют её, родные и знакомые. Таня тоже хочет перекреститься, хочет поцеловать крест, что в руках у седого протопопа, но Ванька говорит:

— А как же я-то?

Тогда Зыков сказал Тане:

— Мы с тобой ещё венцом не покрыты. Выбирай...

Таня взглянула на Ваньку, взглянула на Зыкова, взглянула в своё сердце и, прижавшись к Зыкову, сказала:

— Ты.

Но это был лишь мимолётный, милый, сладкий сон.

Таня открыла глаза и растерянно огляделась. Ваньки не было, валялся изломанный дубовый стул, уплывала в дверях чугунная спина Зыкова, уплывала чья-то рыжая взлохмаченная голова, и кто-то хрипел в углу.

К Тане на цыпочках подходили полумёртвыми тенями сестра и мать.

---

— Моли Бога, что сердце у меня обмякло, — раздражённо бросил через плечо Зыков рыжему верзиле, — а то башку бы тебе за парня снёс.

— А он не лезь, куда не способно, — оправдывал себя Срамных.

— Что ж ты людей-то распустил?! Нешто порядок это?

— Поди уйми... Они, собаки, чисто сбесились от вина...

Зыкову нужно было освежиться. И чрез утренний рассвет, чрез поседевший воздух, он помчался от костра к костру, туда, за десятки вёрст вперёд.

Впереди, далеко за горами, уже вставала красная заря, и среди белых, вдруг порозовевших равнин и гор зарождались новые партизанские отряды.

И чудилось в морозном утре: развевается красное знамя, тысячи копыт бьют в землю, ревёт и грохочет медь и сталь.

А назади, в горах, тоже вставало утро, и тусветный старец грозную ведёт беседу с кучкой оставшихся на заимке кержаков.

Зыков и про это чует.

Старец Варфоломей стоит на крыльце, перед толпой. Он еле держится на ногах, высокий, согнувшийся, белобородый. Синий, из дабы, ватный халат его подпоясан верёвкой койкак, наспех. Лысый череп открыт морозу. Тусветный старец весь, как мертвец, жёлтый, сухой, только в глазах, тёмных и зорких, светит жизнь, и седые лохматые брови — как крылья белого голубя. Трудно дышать, не хватает в Божьем мире воздуха. Передохнул тяжело, ударил длинным посохом в широкие плахи крыльца и закончил так:

— Колькраты говорю вам, возлюбленные: расходитесь по домам. Все дела ваши — тлен и грех неотмолимый. Кровь на вас на всех и кровь на моём сыне-отступнике. Бежите же его, чадца мои! Вам ли заниматься разбойным делом? Наш Господь Иус Христос — Бог любви есть. Мой сын-отступник сомустил вас, дураков: «бей богачей, спасай бедных!». Лжец он и христопродавец. Убивающий других — себя убивает. И загробное место ваше — геенна. В огонь вас, в смолу! К червям присноядущим и николи же сыту бывающим! Знайте, дураки!.. И паки говорю: во исполнение лет числа зри книгу о правой вере. Какой год грядет на нас? Едина тысяща девятьсот двадцатый. Начертай и вникни. Изми два и один из девяти — шесть. Совекупи один, девять, два — двенадцать. Расчлени на два — шесть и шесть. Еже есть вкупе — шестьсот шестьдесят шесть, число зверино.

---

— Истинно, истинно! — кто-то крикнул из толпы. — Старец Семион со скрытной заимки такожде объяснял.

В груди у старца Варфоломея свистело и булькало. Он говорил то крикливо и резко, то с назябшей дрожью в голосе. Кержаки, на морозе, от напряжения потели, сердца их бились подавленно и глухо. Чтоб не проронить грозного, но сладкого гласа старца, они к ушам своим наставляли согнутые ладони. Тусветный старец вновь тяжело передохнул, взмахнул рукой и пошатнулся:

— И ой вы, детушки! Грядет антихрист, сын погибели с числом звериным. И ой вы, возлюбленные чадца мои! Идите по домам, блюдите строгий пост, святую молитву, велие покаяние во Святом Духе, Господе истинном.

Взошедшее солнце ударило в тёмные загоревшиеся глаза старца Варфоломея, и, разрывая это солнечное утро, вихрем мчался по речному льду к опозоренному, обиженному городишке Зыков. Мозг его на морозе посвежел, но и посвежевший мозг не знал, что под чугунными копытами коня, под толстым льдом, упираясь мёртвой головищей в лёд, застрял в мелком месте мертвец, горбун, палач, Напёрсток. А может, и не застрял мертвец, — вода не приняла; может — вынырнул в соседнюю прорубь и точит на Зыкова булатный нож.

Зыкову и не надо это знать, Зыков знает другое.

Он ясно видит, ясно чувствует все последние дела свои, и в его сознание едучим туманом заползает страх: а так ли, верно ли, что скажут про его расправу красные? Гульба была большая, крови пролито много, а дело где, настоящее?

— А что мне красные! — хочет крикнуть Зыков и не может.

В душе пусто, горячее сердце остыло, как жарко натопленная печь, в которой открыли на мороз все трубы. Ха! Красные...

А тут ещё эта купецкая дочь, монашка. Эх, зачем у неё такие глаза и косы, зачем голубиный голос, и вся она, как молодая рябина в цвету!

— Будя! Дурак! Баба... — и нагайка, жихая, бьёт по взмыленным бокам коня.

Конь мчится, пламя из ноздрей, мчится дальше, прочь от адова соблазна, но с маху — стой! — как влип у крыльца переувоевского дома.

— Дьявол!!

Милое, заветное крыльцо. Такое недавнее, только вчерашнее, а лютое сердце не может оторваться от него. Зыков рад

---

задушить себя, рад проткнуть предательское сердце своё ножом. — Дьявол, куда ведёшь!.. — но, в ярости стиснув зубы, он, как покорная овца на поводу, зашагал вверх, давя скрипучие ступени.

В городе открыты были главные купеческие лабазы и склады, жителям объявлено: бери, сколько можешь унести. Объявлено партизанам: бери, сколько можешь увезти.

И к полдню медным горлом горнист заиграл тревогу, сбор.

Приказ: Зыков грабить не позволяет. Склады сжечь со всем товаром, что не успели распределить. Казармы в крепости и всё добро сжечь. Идут красные, но их могут опередить и белые. Сжечь!

Снова ожила вся площадь. Срамных выстраивал и поверял людей.

Зыков прощался с Таней. Таня, больная, потрясённая, лежала в кровати.

Голос его рвался и дрожал.

— Вот опять разбойничек к тебе пришёл, Танюха, друг.. Разбойничек, говорю..

Он понял вмиг и навсегда, что эта девушка вся вместилась в его душу, без остатка. И если б можно было, он сейчас же убил бы её, но сердце не позволяло.

— Голубонька... Ах ты, моя голубонька... — Он нагнулся над ней, всё лицо его дёргалось от внутренней свирепой боли. — А пошла бы ты за разбойничка замуж?

— Зыков, миленький... Я никогда не забуду... Ты... ты... ты убил моего отца... Зыков...

— Я не убивал.

— Велел убить... И мать, и сестру... Зыков, золотой... Я поеду, полечу с тобой, с ним... на тройке... И кони крылатые, и ты на коне, с копьём... словно Победоносец Георгий, весь в золоте... Папашенька, милый, не плачь... Мама...

Мать плакала, брызгала дочь святой крещенской водой. Зыков выпрямился, передохнул, сказал:

— Занедужилась девчонка, бредит.

— Где доктор, где фельдшер? Убил!! — затряслась, закричала Верочка, замахнувшись на Зыкова маленьким кулачком, и не смела ударить его. — Разбойник!.. Изверг!.. Злодей!..

— Ну, ладно, — смутился Зыков и попятился. — Злодей ли я, узнаешь после, как вырастешь.

Труба за окном всё ещё сзывала. Многих недосчитывались. Не было Гараськи, не было Ваньки Птахи. Ванька давно перестал хрипеть, и песня его больше не всплеснётся.

---

Настя долго поджидала Гараську: вот за своим добром пожалует. Но парень не шёл, рыженькая сучка вылизала все мозги его в снегу.

А где ж палач Напёрсток? И Напёрстка нет. Всяк получил свою судьбу, никто не уйдёт от своей судьбы, каждому данной изначально.

Таня открыла глаза и по-новому, удивлённо, уставилась на Зыкова:

— Зыков, ты?

— Я, — сказал он. Глаза его были горячи и властны. — Поправишься, приедешь ко мне. Сама приедешь! Никогда не забудешь теперь Зыкова, и я тебя не забуду. Прощай! — Он ковал слова, как огнём палил.

— Ваня... Ваня... песню... — застонала, заметалась девушка.

А Зыков говорил её матери тихо, по-иному:

— Всамделе... Ежели плохое будет житьишко вам, приезжайте. Защиту дам.

Когда он вышел, яркое было солнце. Рожечники, пикульщики, знаменщики сияли в золоте и серебре. Двадцать бабьих рук всю ночь шили из церковных облачений штаны и камзолы. И вот блестит и пламенеет. На широких парчовых штанах, на сиденьях, на спинах — кресты и серафимы.

Барабанщик и знаменщик в золотых митрах, кто в скуфье, кто в камилавке. Многие в поповских ризах, в дьяконских стихарях, подпоясанных кусками шёлковой материи. Какой-то с провалившимся носом сифилитик едва держался на краденном коне. Он сильно пьян. Залихватски надетая на ухо митра блестела поддельными камнями, вместо шарфа вокруг шеи золотой орарь, под густую чёрную бороду подвязан, как фартук, парчовый набедренник. Весёлый сифилитик размахивал престольным крестом, орал на срамной лад молитвы и блевал дрянью на парчу, на лики краснощёких, крылатых херувимов. Лохматая собака издали с завистью наблюдала его, облизывалась и пускала слюни. Несколько кадильниц, покачиваясь в окровавленных руках, курились дымком. Передние держали в руках церковные фонари, хоругви и серебряные чаши для причастья. Кричали непроспавшимися голосами:

— А мы не боги, что ли!

Но когда показался Зыков, партизанская ватага заорала во всю глотку «ура», и три сотни шапок высоко прошили воздух.

— Ну, ребята! — загремел Зыков с коня. — Худо ли, хорошо ли, а дело сделано. Кто был повинен перед простым людом, тот брошен псам. А остальное... — он горько махнул рукой.

---

И никто не догадывался, что делалось у Зыкова в душе: горячий стыд и злоба бичевали душу. Кровь, всюду кровь и разрушенье. Глаза его были красны до крови, глаза были в едучих, проклятых слезах.

Он погрозил нагайкой несчастной толпе горожан, крикнул:

— А вы — сидеть смирно! Красные идут. Красным служить верно.

Он выехал вперёд и крикнул:

— Трога-ай!..

Коняги, кони, кобылёнки засемили ногами. И опять воздух содрогнулся от неистового стопа рожков, пиканья пикулек, рёва труб, грохота барабанов.

В хвосты, в бока вытянувшейся чрез городишко тысяченогой гусеницы полетели камни, палки, комья льда. Это, взвизгивая, свирепствовали ребятишки.

И голоса мужчин и женщин прорывались то здесь, то там:

— Церкви!.. Хриstopродавец... Тать кровожадная!.. Чтоб те... Церкви сжѣг..

— Смерть Зыкову!

— Молодец Зыков!.. Так и надо.

И на самом краю, когда хвост отряда спустился на реку, с чердака колченогого домишки шарахнул выстрел. Крайний всадник кувырнулся с коня в снег и смертельно застонал.

Быстро отделились пятеро, и через минуту растерзанный стрелец-мальчишка об одной руке и безголовый был сброшен с чердака.

### Глава XIII

Зыков сказал ехавшему с ним рядом Срамных:

— Дьявол ты!.. За кой прах показал мне ту девчонку.

— Шибко поглянулась?

Зыков молчал. Он был мрачен, глаза пустынные, холодны.

— Ежели поглянулась, брал бы... Жена не сдогадается. В горах места много. Всѣ равно достанется кому-нибудь. Девочка, дурак, жалеет.

Зыков молчал.

— А пошто ты так круто повернул? Надо бы какой ни на есть порядок завести в городе-то.

Зыков сказал сквозь усы:

— Много мы набедокурили. На душе чего-то тяжко. Эх, что же я!.. — И он зашарил глазами по рядам.

---

— Курица! — крикнул он рыжеусому, краснорожему в николаевской чёрной шинели с бобровым воротником и в сановной треуголке: — Живо кати в город и прикажи моим строгим приказом: Соборную площадь окрестить площадью Зыкова. Исполнить в точности. Дощечки перекрасить... Площадь Зыкова!.. Окончательно запомнил... Понял?

Не замечая сам того, Зыков очутился совсем один и одинокий в хвосте отряда. Ехал, низко опустив голову: может быть, спал, может, огрузла голова его от укорных дум.

Ночевать расположились в сугробах, на ровном берегу реки. Летом здесь цветистое густое большетравье, теперь поляна вся в стогах. Освещённые вечерними кострами высокие стога и весь партизанский табор казались стойбищем кочевников. Каких тут не было одежд! Сукно, шуршащий шёлк, парча, плис, бархат всех оттенков пестро и ярко расцветили шумливые группы партизан. Похрапывали, ржали кони, из лесу, с гиком, с песнями, весело волокли рухнувший наземь сухостой. Какой-то бездельник горланил песню и пиликал на гармошке. Лесная тишь заголосила.

— Смолья волоки! Смолья-а-а!..

У котлов кромсалось мясо и баранина. Толстобрюхий безносый бардадым, поправив налезавшую на глаза митру, с ожесточением вырывал из гуся требуху. Кольша по-озорному стащил с него митру:

— Дос-свиданица, анхирей Петрович! — и с хохотом козлом помчался по сугробам.

Бардадым ахнул, бросил гуся и нескладной копной покултыхал вдогонку:

— Отдай, варнак! Отдай! Душу вышибу!

Искры птицами летели во все стороны. Вот вспыхнул стог и запластал, пламя взмыло вверх. Яркий свет волнами заплясал над табором, а мрак кругом враз стал густым, лохматым по краям, как копоть. Лениво и задумчиво плыл сизо-багровый дым.

Ели жирно, до отвалу, солили круто, перцу во щи не жалели. Кольша жрал варенье из кадушки горстью — ох, вкусно до чего! — и вся харя его была, как после мордобоя.

Во сне, на ядрёном морозе, подняли сытую перестрелку, храп и трескотню, как в барабаны, ругались, бредили, а то вдруг хлестнёт поляну поросячий сонный визг. Часовые у костров громяхают в ответ ядрёным смехом.

— Ух, язви! Это бардадым, должно, вырабатывают... Вот так, паря, голосок...

---

Под утро, когда особенно яркие были звёзды и не погасли ещё костры, прискакали из города два всадника.

Они отвели Зыкова в сторону и рассказали, что творится у него дома: там многие покинули его стан, пусть Зыков спешит домой, будет медлить — все уйдут.

— Эх, Напёрстка нет, — хрипло, весь позеленев, сказал Зыков. Он долго взад-вперёд ходил возле костра и кусал усы. Потом разбудил рыжего и в страшном волнении зашептал:

— Срамных... Очухался?.. Вот что, Срамных. Ты, дьявол окаанный, раздражил моё сердце. Чуешь? Половина силы у меня вытекла. А ну-ка, сквитаемся давай!

Срамных испуганно тряс рыжей головой, весь дрожал от внезапно охватившей его жути. Глаза юлили и боялись бешеных глаз Зыкова. Это не Зыков... Это чёрт. Глаза горят зелёным огнём, рот то открывается, то закрывается, борода, как сажа, и в правой ручище безмен. Сейчас рыжему каюк!

— Батюшка, Зыков! Степан Варфоломеич...

Но Зыков не взмахнул безменом, а страшно и твёрдо, как по железу пилой, сказал:

— Седлай коня. Дуй во все лопатки. К нам. Делай, что прикажу сейчас.

Всю ночь до рассвета он ходил между костров, считал звёзды, читал по звёздам свою судьбу, но что будет впереди — не знал, всё впереди тонуло в зыбком мраке.

Всю ночь до рассвета не спали и в доме Перепреева, а с рассветом весь городок, всё погорелое место точило слёзы, слёз было много: дым вертел, выедал глаза, и разбойные звуки ещё не умерли в ушах.

Много было мертвецов и горького над ними плача, но отпевать их некому.

Убиенных и умученных увозили за город, в Поганный Лог, и там сваливали в яму. Ожидавшие в логу старатели и доброты из ватаги с остервенением крошили трупы саблями и топорами на мелкие куски. Семь сотен мертвецов — сплошное рубленое мясо, слякоть. Вороньё уносило добычу в гнёзда, подхваченные клювом неостывшие кишки вихлялись в морозном воздухе, как змеи.

Согнанные с окраин жители забрасывали яму с крошевом мёрзлой глиной, снегом. Привыкнув, говорили:

— Попервоначалу тошнота брала, жуть. Опосля стало не страшно!

---

Настя счастлива, беспечальна. Она с благодарностью вспоминает, Господи прости, ту первую ночь, троих мужиков и не насытного Гараську. Настя благочестива. Надо бы каяться, но попы убиты, церкви спалены. Настя смотрит на икону, крестится, вздыхает, надо бы удариться в покаянные слёзы, но где их взять, если стол и все лавки ломаются от награбленного Гараськой добра. Ежели сложил свою голову Гараська, вечный ему покой; ежели жив Гараська, — может, и вспомнит её и вернётся. Эх, парень, парень! До чего усладительно, Господи прости, вспоминать его.

Из перепреевского дома караульный в двух тулупах и шитиковские приказчики волокли труп Ваньки Птахи. Кухарка мыла с дресвой кровавый пол. Пришёл столяр, сторговался за починку двери.

Десяток оставшихся солдат и горожане рыли на погосте общую могилу и складывали туда ещё не погребённых мертвецов.

Дела всем много. Мороз сломился, хлопьями валил пушистый снег.

Сквозь снег серела виселица, и как виселицы — четыре обгорелых колокольни. Чёрные стояли обгорелые дома, и дотла сгоревшие развеялись по земле чёрным прахом. Чёрные печи грозили небу, как перстами, чёрными трубами.

В чёрных мыслях ехал Зыков на чёрном, как чёрт, коне. Но отряд его подвигался весело.

Опять разбрелись по горным тропинкам, кто где. Едут вольно, не торопясь, лишь бы к ночи собраться на условленное место.

Вот приедут на заимку, в стан, — Зыков, поди, даст отпуск. Добра везут много. Эх, скорей бы по домам, захватить покрепче золото да серебро. Погуляно, повоевано довольно!

Настины мужики вспоминают Настю. Ну, баба... Кубышка, а не баба. Эх, Гараську, дурака, жаль. Ужо Груняха-то... Эх!..

Серебряные церковные сосуды камнями сбивают у костров в комки. А вот там смазал один другому по зубам, там в драке сцепились четверо, не могут поделить.

А лес зелёный, тёмный, хлопьями валит снег, и зверючьи тропинки исчезают.

...Ночь, снег. Таня подошла к окну, к балкону, к тому самому... Таня приникла печальным и милым, как сказка, лицом к стеклу. За стеклом всё то же — ночь и снег. И нет ярких костров — темно, — нет криков и песни, нет чугунного всадни-

---

ка. Навсегда умчался сказочный всадник в новую страшную сказку, в быль...

Печальная, милая девушка из печальной русской сказки — оторвалась от сказки — оглянулась. Кто-то звал её, кто-то плакал. Но она замкнулась в самой себе и ничей голос до её сердца не доходит. Она вся горит, большие, серые глаза её в мечте и бесконечной тревоге, и сердце её дважды раздавлено, дважды осиротело. Что-то будет с ней завтра, послезавтра, на третий день?..

На третий день к вечеру подъехал к Зыковской заимке первый партизан, а в ночь — и остальные.

На заимке и в лесу народу много, но костры горят невесело, и все песни смолкли.

Ещё вчера, ранним — чуть зорька — утром откуда-то взялся Срамных, он поднял бучу, разбудил всех нехорошим голосом:

— Что ж вы, барсуки, дрыхнете! Ведь ваш старец Варфоломей приказал долго жить.

Срамных побежал будить и хозяйку, Анну Иннокентьевну. Впрочем, та уже бодрствовала: сотворив короткую молитву, принялась творить квашню с хлебами.

— Вошёл я от сынка, от Степана, поклон отдать, — заговорил Срамных, пряча глаза. — Чиркнул серянку, гляжу — старичок в гробу лежит, в колодине. Я окликнул: — Дедушка! — Лежит. Я погромче, я на колени припал к нему: ни вздыху, ни послушанья. Меня ажно откачнуло от него, как ветром. И лик у него тёмный, нехороший лик.

Хоронить старца Варфоломея собралось много кержаков. Мстительно шарились по лесу, по ущельям, искали Срамных, нигде не могли найти: куда-то удрал, неверный.

Из дальних заимок приехал парень. Он сообщил, что деда Семиона вчера нашли убитым в лесу.

— Ну?.. Старца Семиона? Зарезали?!

— Да, да... Голова напрочь...

Поджидали Зыкова, но он не появлялся. Вахмистр царской службы, которому он поручил команду, сказал, что сам Зыков свернул к Мулале-селу.

После похорон старца Варфоломея все кержаки — хоть и немного их было в ватаге — навсегда разбрелись по своим заимкам. Остались лишь преданные Зыкову, спянные с ним кровью. Но всё-таки отряд его рос и множился: по всем зверючим, пешим, конным тропам стекались сюда дезер-

---

тиры из белого стана, рабочие с рудников, лесорубы, гольтёпа, маленькие — в пять-шесть человек — партизанские отряды, бродяги, каторжане, сколько-то киргиз и калмыков-теленгитов, даже расстрига-дьякон с двумя спившимися с кругу семинарами.

Стекались все, кто знал о Зыкове, кто до конца возненавидел белых. Одних гнало сюда шкурничество, трусость. Других — геройство: борьба за угнетённый, раздавленный колчаковщиной сибирский свободолюбивый народ, — это молодёжь. Третьих — грабежи, лёгкая нажива, кровь, — это забулдыги, жулики, разбойники.

Но почти все негласно объединились на одном: из прутьев вяжи веник, силу сгруживай в кулак.

И всё покрывала тёмная заповедь, дочь мятежной бури: убивай, не то тебя убьют.

Надо было всё наладить, всем дать работу. Где же хозяин?

Зыков, правда, свернул к Мулале-селу, но внезапно свой путь прервал. Эх, не глядеть бы на белый свет, — и ночью постучал у ворот глухой заимки своего закадычного друга Терёхи Толстолобова.

— А-а, дружок, Степанушка! Каким это бураном, какой пургой?

## Глава XIV

Терёха Толстолобов мужик крепкий, медвежатник. Он русский крестьянин, сверстник Зыкову, не кержак, веры православной, поповской, имел двадцать две коровы, восемь лошадей, пять собак и двух жён — старую и молодую. Старую ругал и бил, молодую, Степаниду, ласкал, дарил дарами. Но всегда после ухода Зыкова молодой жене доставалась от Терёхи трёпка.

— Медведей-то добываешь?

— А кляп ли на них смотреть? Ныне четверых свалил. Медвежонка взял живьём. Не хошь ли полюбопытствовать? В бане он.

— А белых бьёшь? Чехов да полячишек?

— Этим не займуюсь. Они мне не душевредны. Кто меня в такой дыре найдёт?

Заимка его, верно, в непролазных горах — горы, как крепость, — в густом лесу, и дорога к нему — недоступные пута-

---

ные тропы диких маралов, горных козлов, медведей. Да ещё зыковский чёрный конь умел лазить по горам.

Зыков не в духе:

— Это, Толстолобов, не дело говоришь. А для миру нешто не хочешь поработать?

— Нет. Тьфу мне мир!..

...И тут уж не до сна.

С хозяйской широкой перины вскочила Степанида. Она в розовой короткой рубаше.

— Здорово, Степан Варфоломеич!.. — и белыми ногами по медвежьим шкурам промелькнула мимо гостя, прикрывая рукой колыхавшуюся грудь.

Зыков даже не взглянул. Он сидел за столом угрюмо. Слышно было, как за занавеской проворные руки Степаниды наливали самовар.

— Винца бы... — сказал Зыков. — Чаю не желательно.

— Винца?! — удивлённо переспросил хозяин и похлопал гостя по плечу. — Давно ли ты это? Ха-ха-ха...

— Недавно, брат.

Терёха Толстолобов с опаской и недоумением заглянул ему в глаза:

— Да что это с тобой стряслось? А?

Степанида без памяти любила Зыкова, он же никакой любви к ней не чувствовал. Степанида в прошлом году пыталась удавиться.

И вот теперь она вдруг поняла, угадала, чем занедужил Зыков:

— Ой, чтой-то с тобой и взаправду стряслось, Степан Варфоломеич?

Тот ответил не сразу. Рот его кривился, брови подёргивались.

— Так, пустяковина, — сказал он. — На душе чего-то не тово, на сердце.

В глубокой предутренней ночи все трое были пьяны.

Терёха повалился на постель и крепко, под грудь, облапил Степаниду двумя руками в замок, как в цепь. Зыков лежал в углу на медвежьих шкурах, глядел в потолок, вздыхал и тряс головой.

Лишь захрапел Терёха, Степанида, как нельма, выскользнула из пьяных клещей и подползла во тьме на коленках к Зыкову:

— Уйди, Степашка, — сказал он. — Не до тебя.

Она целовала его глаза, щёки, искала губы и пьяно твердила, навалившись грудью на его грудь:

---

— Господи Христе, грех-то какой, грех-то... Степанушка...

Зыков отбросил её. Она уползла прочь, к мужу, сидела скорчившись, сморкалась в розовую рубаху, плакала. Терёха храпел.

Пели петухи. В сенцах шаршилась первая жена хозяина, сорокалетняя забитая Лукерья. Она жила в другой половине, с двумя рябыми дочками, девками. Робко взошла, стала за-тапливать печь.

Утром была готова баня. Зыков взял четверть вина и ушёл париться. Баня была просторная, с предбанником — Терёха Толстолобов любил пожить.

В предбаннике большой медвежонок на цепи. Он сидел на лавке по-собачьи и по-собачьи же чесал задней лапой ухо. Заурчал, соскочил и забился под лавку. Зелёным поблёскивали из-под лавки сердитые таёжные его глаза. Зыков обрадовался, улыбнулся:

— Мишка! — он вытащил его из-под лавки, медвежонок больно ударил его лапой, плюнул, как кот, и оскалил зубы. Зыков снял с него цепь. Медвежонок весь оцетинился, опять юркнул под лавку. Зыков дал ему кусок хлеба, медвежонок отдёргнул морду, весь дрожал. Зыков смочил хлеб вином, зверь понюхал и съел.

Зыков разделся, взял веник, винтовку, безмен, пистолет, кинжал и вошёл внутрь. Хвостался веником немилосердно, выходил валяться в снегу, опять хвостался, но сердце не утихало.

Пил.

Медвежонок лизал его широкие, болонастые ступни, пролил вина. Пустой хлеб не жрал, с вином уплетал жадно, рывкал, крутил мордой и чихал, глаза улыбочиво блестели, как жёлтые пуговицы под солнцем.

— Эх, зверёныш ты мой, зверёныш... Милый мой... Хохо-чешь, поди, над Зыковым, над дураком бородатым? Хохо-чи, брат... Я сам хохочу... Оба мы с тобой звери одинаковые...

Так прошло три дня, три ночи.

Голубыми лунными ночами под окном стоял кто-то живой, вздыхал, просительно стучал в морозное стекло.

И каждый раз хрипло раздавалось на всю баню:

— Степашка, уходи!

Зыкову не до Степаниды. Он неотрывно думал о белом доме в городке, о сероглазой девушке, каких больше нет на свете.

И когда он пристально думал так, оперев воспалённый неверный взгляд в тёмный угол, вдруг в углу вставала Таня. Тогда медвежонок, оцетинившись, быстро полз под лавку.

---

— Зыков, миленький!..

И в этот самый миг там, в потухшем городке, возле тёплой девичьей кровати, заслоняя головой огонёк лампадки и весь мир, — выросал из полумрака Зыков:

— Танюха, голубица...

— Ах, зачем ты, мучитель, пришёл ко мне?

— Я с ума схожу. Я как живую вижу тебя. Ой, девка...

— Тогда убей, как отца убил...

Тут заскрипела с хрустальной ручкой дверь, вошла в Танину спальню мать, медвежонок рывкнул, Зыков тряпичной рукой схватился за тряпичное сердце и тяжело застонал.

На четвёртый день, рано поутру, он вышел из бани вновь бодрый, крепкий.

Наскоро поел капусты с луком, напился квасу и заседлал коня. Глаза его блестели решимостью.

— Прощай, Терёша, — сказал он. — В случае, спасаться к тебе приду. Не выдашь?

— Ещё бы те. Ха! Да лучше пускай башку с моих плеч снимут.

— Слушай, Терёша, дело к тебе. Ежели у тебя одну, вроде монашку, можно приютить?

— Об этом сомневаться тебе не приходится. Привози, — и Терёха подмигнул.

Зыков погрозил с коня пальцем и поехал.

Терёха кряду же дал Степаниде трёпку. Она бегала вокруг стола, вскакивала на лавки, кричала:

— Хошь печёнки из меня все вымотай, да изрежь — люблю Зыкова! люблю, люблю, люблю, корявый чёрт! — Чрез разодранную в клочья кофточку круглились голая грудь её и плечи.

— Поплёвывает он на тебя! Сучка...

Зыков меж тем вернулся домой. Кержацкий медный крест над воротами позеленел от ржавчины. И вся заимка показалась Зыкову чужой.

Могила его отца уже покрыта была сугробом. Он на могилу не пошёл, и со своей женой был жесток и груб.

Срамных боялся, что Зыков под горячую руку убьёт его, и действительно куда-то скрылся.

Зыков наводил порядок один. Он не слезал с коня, всюду попевал, объезжал заимки, звал кержаков и крестьян обратно, грозил чехо-словаками, мадьярами, белыми, красными, грозил красным петухом. Кой-кто из молодёжи снова потянулись к нему, но средняки крепко забились в свои норы: сло-

---

ва старца Варфоломея и внезапная смерть его сделали своё дело.

Народ в отряде был теперь наполовину новый, пёстрый по думам и по мозолям на душе. Нужны были крутые меры или разгульные набеги, иначе всё превратится в грязь.

Мысли Зыкова качались, как весы; то подавленные, угнетённые, то не в меру бурные, бешеные, как с гор вода.

Или вдруг взвизхит мечта; бросить всё и тайком умчаться в город, упасть на колени перед купечкой дочкой, вымолить прощенье и...

Как-то ночью, тайком, взошёл в моленную, зажёг свечу у образа Спасителя, подошёл к другому образу, зажёг. Первая свеча погасла, он снова зажёг. Погасла вторая. Зажёг. Угасли обе — и сразу тьма.

Зыков смутился, руки с огнивом и кремнем задрожали. В моленной плавал, дробясь и прерываясь, тихий-тихий перезвон колоколов, кто-то стонет, умоляет о пощаде, чьи-то хрустят кости, и два голоса еле слышно заливаются во тьме, Зыкова и Ваньки Птахи: «...ает зелен виноград, коренья бросает ко мне на кровать...». И ещё девий голос: «Зыков, Зыков, миленький»...

— Кха! — грозно и уверенно кашлянул Зыков. По моленной пошли гулы, всё смолкло, раскатилось, захохотало, загайкало, вновь смолкло.

Плечи, грудь, сердце Зыкова опять стали, как чугун.

Он живо высек огонь, шагнул к закапанному воском подсвечнику. Свет неокрепшего огня резко колыхнулся, лёг, словно кто дунул на него. У подсвечника стоял белый старик. Зыков вдруг отпрянул, упал на одно колено, вскочил и, вытянув вперёд руки, не помня себя, бросился к выходу.

Дверь настезь. В моленной крутили вихри. И вслед беглецу, сквозь мрак, чёрное, пугающее, как мрак, неслось:

— Христопродавец... Богоотступник... Проклинаю...

— Отец, отец... — весь содрогаясь, хрипел выбежавший во вьюжную ночь Зыков. Волосы его шевелились, плечи сводило назад, живот и грудь сразу стали пустыми, обледенелыми.

Ночь была вьюжная, беззвёздная. Гудели сосны, вихристый, взлохмаченный ветер выл и плакал, и нигде не видно сторожевых огней.

Зыков слёг.

В бреду вскакивал с постели, кричал, чтоб горнист играл сбор: красные соединились с белыми, идут сюда, брать Зыкова. Иннокентьевна сбилась с ног: натирала мужа речным соком, накидывала на голову древний плат от древнего Спасова образа.

---

В дом входили партизаны, шёпотом разговаривали с Иннокентьевной, качали головами, уходили, совещались у костров, как бы не умер Зыков, что делать тогда, куда идти?

На четвёртый день Зыков оправился. Он запер на замок моленную, ключ положил в карман и вечером, пред закатом солнца, пошёл на погост, постоял в раздумьи, без шапки, над могилой отца. Молиться не хотелось, могила казалась чужой, враждебной.

Солнце светило по-весеннему, снег слепил глаза, Зыков шурился, косясь на чёрные кресты погоста.

И, проезжая среди полуразрушенных улиц, дядя Тани, Афанасий Николаевич Перепреев, тоже косился на чёрные кресты обгорелых церквей и колоколен.

При встрече плакали радостно, жутко, сиротливо. Всем семейством ходили на кладбище, молились могиле под широким деревянным крестом с врезанной в серёдку иконой Николая Чудотворца. Отец Пётр служил панихиду. Неутешней всех была мать Тани: подкосились ноги, упала в снег.

Афанасий Николаевич сказал:

— Стратотерпец.

— Вот именно, — подхватил отец Пётр. — Иже во святых, надо полагать. А вот могила доктора с семьёй. Он отравил десятилетнего сына, дочь, жену и сам отравился... Убоялся в лапы к Зыкову попасть... Жуть, жуть...

Таня утирала слёзы белой муфтой. Верочка, закусив губы, смотрела в сторону, мускулы бледного её лица дрожали.

Сорока с хохотом перелетела с берёзы на берёзу, синим, с блёстками, дождём сыпался с сучьев снег.

— Все бегут на восток, — говорит дядя. — Войска, и за войсками — обыватели: торговцы, купечество, чиновники, ну, словом — буржуи, как теперь по-новому, и всякий люд. А что творится в вагонах... Битком... Не продохнёшь... Боже мой, Боже! Человек тут уж не человек. Звереет. Только себя знает. Вот, допустим, я. Человек я не злой, богобоязненный, а даже радовался, когда за окошко больных бросали. Ух ты, Боже! Вот закроешь глаза, вспомнишь, так и закачаешься. Видишь, поседел как.

Афанасий Николаевич походил на Танина отца. Она шла с ним под руку, ласково прижималась к нему.

— А вам всем надо утекать, — говорил дядя. — А то придут красные — по головке не поглядят вас.

Они были уже дома, раздевались.

— Куда ж бежать? — спросила Верочка.

---

— В Монголию. Выберемся на Чуйский тракт, а там чрез Кош-Агач, в Кобдо, в Улясутай.

— Дорогой убьют, — сказала мать.

В глазах Тани промелькнули огонь и дрожь.

— Мы поедем к Зыкову, — восторженно проговорила она. — Зыков даст нам охрану.

— Полно! — вскричала мать. — Опять Зыков? Постыдись...

— Да, да, Зыков! — выкрикивала Таня, и всё лицо её было, как пожар. — Зыков спаситель наш.

— Что?! Спаситель?! — вскипела мать. — Несчастливая дрянь!

Таня вздрогнула, перекинула на грудь косы, нервно затеребила их:

— Люблю Зыкова! Люблю, люблю... К нему уеду... Вот!

Мать и в ярь и в слёзы, мать пискливо кричала, топала каблуками в пол.

Таня заткнула уши, мотала головой и, потеряв над собой волю, твердила:

— Люблю, люблю, люблю...

— Ах ты, проклятая девчонка! — и мать звонкую влепила ей пощёчину, и вторую, и третью. — На! На, паршивка! На!

Дядя растерянно стоял, разинув рот.

— Вот, полюбуйся на племянницу! — пронзительно закричала мать. — Вот какие нынче девки-то! — и, застонав, побежала грузно и неловко в спальню.

А подросток Верочка плевала на сестру, подносила к её носу сухие кулачки:

— Разбойницей хочешь быть? Атаманшей?! Тьфу!

Вволю наплакавшись, Таня пошла на обрыв реки и долго глядела на скалистые, покрытые лесом берега, в ту сторону, куда скрылся чёрный всадник. Хоть бы ещё разок увидеть его. Зыков, Зыков! Но напрасно она в тоске ломала руки: чёрному всаднику заказан сюда путь.

Чёрный всадник собирается в глубь Алтайских гор. Там, в монастыре, за белыми стенами, крепко сидели белые — пыль, шлак, отбросы — последний на Алтае колчаковский пошатнувшийся оплот. Они будут уничтожены, раздавлены, как клопы в щели: Зыков идёт.

Таня видит его, Таня торопит родных с отъездом.

Перепреевы спешно распродали, раздарили мебель, посуду, а сундук с ценными вещами закопали ночью в саду — Афанасий Николаевич до поту работал две ночи.

---

Ночью же, когда небо было темно от туч, за ними приехал из деревни приятель; они перерядились во всё мужичье и, как мужики, выехали с мужиком из города.

Они ехали «по верёвочке», от верного человека к верному человеку, у бывших покупателей своих, дружков, загащивались по неделе.

На другой день их отъезда городок был занят красными. В весенних солнечных днях на высоких струганых флагштоках крепко, деловито заалел кумач. Власть тотчас же окунулась в дело, в жизнь. Но всё было разбито, разграблено, сожжено, жителям грозил неминуемый голод.

А ну-ка! Кто хозяйничал?..

## Глава XV

— Товарищ Васильев, приведите сюда того... как его... партизана, — распорядился начальник красного передового отряда Блохин.

Он был коренастый, черноусый, небольшого роста молодой человек, лицо сухое, нервное, утомлённое, в прищуренных глазах настороженность и недоверие. Американская новая кожаная куртка, за жёлтым ремнём револьвер, американские жёлтые, с гетрами, штиблеты.

Ввели партизана. До полусмерти изувеченный, он две недели просидел в тюрьме. Левый глаз его выбит, голова обмотана грязной тряпкой. Торчат рыжие усы.

За столом, рядом с Блохиным, пятеро молодёжи и один бородач, все в зимних шапках с ушами. Семь винтовок, дулом вперёд, лежат на столе. Чернильница, бумага. Тот самый зал, где был последний митинг. На знамени вышито: «Вся власть Советам». В зелёных хвоях портреты Ленина и Троцкого. В этом зале в чёрные зыковские дни славно поработала вагата: не только стены, но и потолок густо обрызганы кровью казнённых.

Входят с докладами и выходят красноармейцы. Двое с винтовками у дверей.

— Ваша фамилия, товарищ? — начинает Блохин допрос, обмакнув перо.

— Курицын Василий, по прозвищу Курица, извините, ваша честь, — поправляя грязную тряпицу на глазу, вяло ответил партизан.

— Вы из отряда Зыкова?

---

— Так точно. Из зыковского, правильно. Из его шайки.

— Какая была цель вашего прихода в город?

Курица хлопает правым глазом, трёт ладонью усы и говорит:

— Порядок наводить.

— И что же, товарищ, по-вашему? Вы порядок навели?

— Так точно.

Блохин, улыбаясь, переглянулся с улыбнувшимися товарищами, а Курица сказал:

— Ваше благородие. Я дубом не могу, в стоячку. Я лучше сяду... Дюже заслаб. Голодом морили меня, не жравши. Вот они какие варнаки, здешние жители. Избили всего... почём зря. Терплю... А всё чрез Зыкова... — он чвыкнул носом и, как слепой, пощупав руками стул, сел.

Бородач подошёл к партизану, отвернул полу барнаульского полушубка, сунул ему бутылку водки и кусок хлеба:

— Подкрепись.

Курица забулькал из горлышка, крикнул и стал чавкать, давась хлебом, как голодный пёс. Лицо его сразу повеселело.

— Почему ваш отряд разрушил крепость, сжёг имущество республики, склады, монополию, дома граждан? Товарищ Курица, я вас спрашиваю.

— Чего-с?

Блохин повторил.

— А по приказу Зыкова, — привстал, почесался и опять сел Курица. — Он, проклятый Зыков, чтоб его чрез сапог в пятку язвило. Бей, говорит, в мою голову, — я ответчик. Эвот я какой одежины через него мог лишиться: господска шуба с бобрячьим воротником. Вернул меня, Зыковскою площадь велел назвать... Вот я и назвал. Едва не укокошили. Очухался, гляжу — в тюрьме. А я уж думал, что померши. Вот как... хы!.. И глаз вышибли... — Голос его стал игривым.

— Где вы взяли шубу, товарищ?

— А так что нам Зыков дал.

— А вы кто? Чем занимались?

— То есть я? Мы займовались, известно дело, хрестьянством. Всю жизнь на земле сидим. Из самой я из бедноты, можно сказать, дрянь мужик, самый бедный, из села Сростков... Поди, слыхали? Село наше возле, значит..

— А ведь ты, Курица, с каторги сбежал, из Александровской каторжной тюрьмы. Ты лжец! — и глаза Блохина из узеньких вдруг превратились в большие и колючие.

Курица завозился на стуле:

— Кто, я? Кто тебе сказал?

---

— Твой товарищ. Тоже партизан.

Курица вдруг ошалел. Вытаращенный глаз его завертелся, и всё завертелось пред его взглядом: стол, комната, винтовки, серьёзные вытянутые лица красноармейцев, а чернильница подскакивала и опять шлёпалась на место.

— Какой такой товарищ? Врёт! Как кликать, кто?

— Это тебя не касается, — рубил Блохин, пристукивая торцом карандаша в столешницу. — Откуда у тебя взялись часы, трое золотых часов, — тоже Зыков подарил?

— Не было у меня часов.

— Гражданин Стукачев! — крикнул Блохин. — Позовите гражданина Стукачева.

Тощий, как жердь, портной вошёл, хрипло кашляя. Скопческое лицо его позеленело, сухие губы сердито жевали, поблёскивали тёмные очки:

— Я его, подлеца, от смерти спас... А понапрасну, не надо бы их, злодеев, жалеть. Часы — вот они... В штанах нашли у разбойника.

— Засохни, кляуза! — крикнул Курица и закачал с угрозой шершавым кулаком: — Вот Зыков придёт, он те... Да и прочих которых не помилует, всех под лёд спустит... хы! Начальнички тоже...

— Молчать! — прозвенело от стола.

Опрашивались ещё свидетели, вместе с отцом Петром Троицким.

Дыхание отца Петра короткое, речь путаная, сладкая, священник волновался. Он красную власть почитает, он всегда был сторонник силы и справедливости, так как лозунги советской власти, поскольку ему известно из газет и отрывочных слухов, всецело совпадают с заветами Евангелия. К белым же он совершенно равнодушен, ибо полное их неумение властвовать и воплощать в себе государственную силу привели к такому трагическому состоянию богохранимый град сей. А Зыков, что же про него сказать? Сектант, бывший острожник, изувер, человек жестокий, властный, якобы одержимый идеей восстановить на Руси древнее благочестие. Но отец Пётр этому не верит, ибо дела сего отщепенца не избличают в нём религиозного фанатика. Напротив, в нём нечто от Пугачёва. И ежели глубоко уважаемые товарищи изволят припомнить творение величайшего нашего поэта Александра Пушкина...

— Ну, положим... — иронически протянул Блохин и прищурился на покрасневшегося попика.

— Совершенно верно, совершенно верно! — поспешно воскликнул попик. — Я не про то... Я, так сказать, с историче-

---

ской точки зрения... Конечно же, Пушкин дворянских кровей и в наши дни был бы абсолютным белогвардейцем. И, конечно, понёс бы заслуженную кару... Яснее ясного.

Блохин, нагнувшись, писал. Красноармейцы зверски дымили махрой. За окнами уже серел вечер и чирикали воробьи. Курица икал, прикрывая ладонью рот, глаз его сонно слипался, подрёмывал.

— Гражданин Троицкий и вы, граждане, можете идти домой.

Подобострастный поклон отца Петра, торопливые шаги нескольких ног, независимые удары палкой в пол уходящего портного.

— Гражданин Курицын...

Одинокий партизан еле поднял пленённую сном голову и вытянул шею. Блохин что-то читал, голос его гудел в опустевшей зале. И когда с треском разорвалось:

— Расстрелять! — Курица крикнул:

— Кого? Меня?! — голова его быстро втянулась в плечи, опять выпрыгнула, и он повалился на колени. — Братцы, голубчики!.. Начальнички миленькие... — тряпка сползла с головы, глазная впадина безобразно зияла.

— Но, принимая во внимание...

Курица хныкал и слюнявил пол, подшитые валенки его, густо окрашенные человеческой кровью, задниками глядели в потолок. Когда его подняли и повели к столу, он утирал кулаком слёзы и от сильной дрожи корчился.

— Курица и есть, — сказал бородач. — А ещё водкой его угостил...

Курице сунули в руки запечатанный конверт, что-то приказывали, грозили под самым носом пальцем. Весь изогнувшийся, привставший Блохин тряс револьвером, кричал:

— Понял?!

— Понял... Так-так... Так-так... — такал Курица, ничего не видя, ничего не понимая.

Его увела стража.

— Приведите этого... как его... Товарищ Васильев! Приведите другого зыковского партизана, горбуна.

В комнату, враскорячку и сопя, ввалился безобразный человек.

Блохин исподлобья взглянул на него, брезгливо сморщился и звеняще крикнул:

— Имя!

---

Отец же Пётр, кушая с квасом толокно, говорил жене:

— Пока что обращенье вежливое... Надо, в порядке дисциплины, предложить свой труд по гражданской части. Интеллигенции совсем не стало, — и громыхнул басом на Васю, сынишку своего: — Жри, сукин сын! Жулик...

Вася, худой, как лисёнок, давится слезами, тычет ложкой в миску, давится толокном, чрез силу ест. После горячей порки ему очень больно сидеть.

Вот весной Вася угонит чью-нибудь лодку, уедет к Зыкову. Отца он ненавидит, и на мать смотрит с презреньем: с толстогубым партизаном столько времени валандалась. Толстогубый парень, как спускался с лестницы, подарил Васе будильник и ещё бронзовую собачку, очень красивенькую: «На, кутейничек. Я на твоей мамке вроде оженившись». Так и сказал парень, ноздри у парня кверху, и глаза, как у кота, Вася это хорошо запомнил... Вася совсем даже не жулик, раз подарили... А к Зыкову он уедет обязательно. Зыков по лесам рыщет, а в лесах медведи, черти, лешие... Вот бы сделаться разбойником. Ну и занятная книжка — «Разбойник Чуркин». Книжку эту и другие разные сказки он добывал у Тани Перепревой. Вася очень любит сказки.

Любит сказки про богатырей и купеческая дочка Таня. Ха, быть любушкой богатыря, ходить в жемчугах, в парчах, спать в шатрах ковровых среди лесов, среди полей, будить рано потру своего дружка заветного сладким поцелуем.

И от страшной кровавой были Таня Перепреева, большеглазая монашка, едет в голубую неведомую сказку, чрез седой туман, чрез белые сугробы, чрез своё девичье сказочное сердце... «Зыков, Зыков, миленький».

Зыков, сам сказка, весь из чугуна и воли, с дружиной торопится в поход. Но вот задержка: надо отправить жену, Анну Иннокентьевну, в дальнюю заимку, здесь опасно, да и с глаз долой... Анна Иннокентьевна плачет. Как она расстанется с ним? Но пять возов уже нагружены добром, и ямщики откармливают коней.

— Знаю... С девчонкой снюхался... Эх ты! — корит его Анна Иннокентьевна.

Зыков топает в пол, стены трясутся, Иннокентьевна вздрагивает и под свирепым взглядом немеет.

А по гладкой речной дороге едут всадники: Курица и два красноармейца. Они нагоняют подводу. В кошеве мужик, баба и два парня. Один глазастый и такой писаный, ну прямо —

---

патрет. Только ничего не говорит, немой... рукой маячит, а сам в воротник нос утыкает, будто прячется.

— Путём-дорогой! — кричит Курица, он норовит завести разговор, но красноармейцы подгоняют.

Едут вперёд и долго оглядываются на отставшую кошеву.

—... Здорово, Зыков!.. Вот бумага тебе от начальника...

Курица потряс конвертом, голос его был с злорадным холодком.

В горнице пусто, как в обокраденном амбаре. Хозяйки нет. За пустым столом, среди голых стен, сидели четверо приехавших и Зыков.

— Начальник тебя в город требует... Немедля... Теперича, брат, новая власть, а ты так себе... — говорит Курица, часто взмигивая глазом.

Красноармеец сказал:

— Нам желательно выяснить вашу платформу, товарищ Зыков. Кто вы, большевик или не большевик?.. Вашу тактику... Начальство желает...

У Зыкова грудь, как наковальня, и руки, как сваи. Он молча вскрыл конверт и близко поднёс к глазам бумагу. Два раза перечёл, потом, не торопясь, разорвал её надвое: — Что ты делаешь, Зыков! — разорвал вдребезги и бросил на пол:

— Писал писака, — сказал он, громыхая, — а звать его — собака. Так прямо ему и передайте.

Три груди усиленно дышали. Торопливо проскрипели под окном шаги.

— Тогда мы вас должны арестовать...

— Так арестуйте! — Зыков разом опрокинул вверх ногами стол и поднялся головой под потолок.

Красноармейцы схватились за винтовки, Зыков за безмен. Курица сигнул к печке, кричал куриным криком:

— Ребята, не трог его, не трог!.. Всмятку расшибёт.

— Начальство?! — чугунный Зыков швырял, как ядра, чугунные слова. — Над Зыковым нет начальства! Зыков сам себе царь!

— Товарищ Зыков, товарищ Зыков... — стучали зубами красноармейцы: — Нам велено...

— Положить винтовки, — властно приказал Зыков и порлиному глянул им в глаза.

Послушно, как напуганные дети, сразу обратившись в детей, оба молодых парня выпустили из рук ружья и стояли во фронт, каблук в каблук.

---

Зыков не торопясь зашагал к двери. Им показалось, что прошёл мимо них поднявшийся на дыбы конь, и горница враз стала тесной, маленькой.

— Эй! — крикнул Зыков за дверь, и — вбежавшим людям: — Этих двух взять под караул. Напоить, накормить. Утром отправить в обратный путь. С Курицы чалпан долой... Чтоб другой раз не попадал в руки, кому не следует. Башку показать мне.

Курица взвизгнул и, лишившись чувств, пластом растянулся на полу.

## Глава XVI

Меж тем ударила весенняя ростепель, с круч бешено скакали водопады, и проснувшиеся горные речёнки пьяно взбушевали, срывая трухлявые мосты.

Горные дороги рухнули, и семейство Перепреевых надолго осело в глухой заимке верного сибиряка-старожила Тельных.

Родные глаз не спускали с Тани, по ночам караулили её. Таня караулила весенние ночи: Господи, сколько в небе звёзд, и как по-новому, напевно и страстно, шумят в ночи сосны! Нет, не укараулить Таню: сосны влекут куда-то, манят Таню в голубую сказочную даль.

А в голубой дали, не в сказке, там, за горами, у белых стен монастыря, бесшабашная дружина Зыкова дружно выбивает из монастырских закоулков, как тараканов из избы, остатки карательного белого отряда.

Не одна уже была стычка, зыковская дружина поредела — кто убит, кто бежал, кто умирает, но и вражеских трупов, перемежку с партизанами, немало чернеет на посиневших снегах, средь острорёбрых скал, меж стволами хвойных, пахучих по весне лесов.

И сосны, как свечи, аромат их — надгробный ладан, ветер панихидно шуршит в густых ветвях, и отъевшееся коршунё важно похаживает средь поверженной рати мертвецов. Вот коршун на груди безглазого, безносого, бесщёкого офицера — на груди золотятся под солнцем пуговицы и сверкает под солнцем золотой погон — коршун повёртывает голову вправо-влево, блестит бисером любопытствующих глаз, любителю на золотые кружочки: — кар-кар! — и — клевать... Нет, не вкусно.

---

Но вкусно ли было отважным зыковским бойцам переть на себе за сорок вёрст грузную, когда-то отбитую у чехословаков пушку — по горам, по сугробам, чрез кручи, ущелья, чрез убойный надрыв и смерть?

А всё ж таки припёрли, вкартечили в гнездо двадцать два заряда, ухнули бомбой, и белые стены выкинули белый капутный флаг.

Спервоначально крестьяне были рады: «Зыков, батюшка... Избавитель наш, заступничек...».

Осада длилась две недели. Зыковские кучки обирали купцов по богатым алтайским сёлам: надобен фураж, надобна жратва людям, надо всякой всячины, конь храмлет, — коня давай. Потом добрались до богатых крестьян и, в конце уж, стали щупать средняков. Бедноты же, как известно, в Сибири мало, поэтому зароптал на Зыкова, озлился без малого весь Алтай, имя Зыкова стало пугалом, и толстомясые бабы стращали ребятишек:

— Ужок тебя, паскуду, Зыков-то... ужо...

Старушонки же шипели:

— Антихрист... Церкви рушит. Эвот в Майме колокольню, сказывают, сковырнул. Жига-а-ан такой!..

И всё как-то случилось быстро, непонятно, глупо. Шмыгал всюду какой-то вислоухий, чёрный, обросший щетиной, карапуз, черкес не черкес — должно быть, чех, — а может, и русской матери ублюдок. Шмыгал, нюхал, шушукался с крестьянами, с бабьём. Ага! Зыков победу справлять намерен.

И какие-то галопом проносились нездешние всадники из пади в падь, из тропы в тропу, а то и по большой дороге кавалькадой в вечерней мгле. Им вдогонку, в спины, летят от сторожевых костров партизанские пули. Эх, дьяволы-ы-ы!..

И вот широкое сибирское разливанное гулеваньё. Мужики радёхоньки, пивов наварили, — Зыков уходит, так его рас-так... Ребята, чествуй!

И к концу гулеванья, в тот час, когда особенно тосковало сердце Зыкова, — вдруг на улице: стрельба, гик, сабли, грохот, треск ручных бомб, вопли, стоны, матерщина.

Зыкова белые брали в избе. Вломилась целая орда морд, криков, блеснули стволы направленных в грудь револьверов, блеснули погоны, закорючились черные усы, и сотни глаз выкатывались от ярости:

— Стой! Ни с места! Руки вверх!!.

Зыков мигом загасил огонь. Сразу тьма. Хозяева с гвалтом — опретью вон. Затрещали выстрелы. Зыков поймал, рванул от пола трёхпудовую, из кедрача, скамью:

---

— Богу молись, анафемы!! — и, круша головы, как горшки, взмахивал скамьёй с сатанинской силой. Пахло порохом, бесцельно трещали перепуганные выстрелы, теменьская темь качалась, ойкала, визжала, плевалась кровью, кричала караул.

Он вышиб обе рамы, выскочил на улицу и под выстрелами белых, в одной рубахе, бросился бежать через огороды в лес.

Погоня сначала потеряла его из виду, но в небесах выутривал рассвет, и Зыков, стоя на скале, бросал вниз, как ядра, чугунные слова:

— Врёшь! Врёшь, белая сволочь! Я ещё вам покажу-у...

«Жжу-жжу!» — жухали возле его головы десятки пуль.

— Врёшь!.. Меня пуля не берёт.. Заворожённый! — и тряс кулаками, и ещё громче кричал на весь Алтай.

Он лазит по горным тропам и бомам, как горный козёл-яман. За ним покарabalкались было трое, но страх магнитом потянул их вниз.

Солнце встало, и снежные вершины были все в крови.

Зыков спустился в долину речушки, добежал до стога и забился в сено, в самый низ. Ему показалось, что он не озяб, он был внутренне спокоен, до конца владел собой, но вот, когда уж обогрелся, его проняла такая дрожь, он так трясся и подпрыгивал, щёлкая зубами, что стожище сена дрожал и щетинился, как огромный ёж.

## Глава XVII

— А ты, Зыков-батюшка, Степан Варфоломеич, на трахт не выезжай, горами дуй... Поди, возле Турачака чрез Бию и по льду переберёшься. Поди, коня-то вздымет... Всё ж таки поостерегись.

Зыков сидел верхом на буланом жеребце. Чёрного своего коня он потерял. Одет он был в нагольный овчинный пиджак, на голове чёрная папаха с золотым позументом наверху. Папаху он стащил с какого-то мертвеца, попавшегося под ноги во вчерашнем беге. Безмен, винтовку, пистолет Зыков тоже потерял, остался один кинжал.

Лицо его грустно и болезненно, под глазами мешки.

— Ежели встретишь кого наших — чтоб летели к моей заимке. Главная сила у меня там осталась. Всем так толкуй... Прощай, Михайло.

И жеребец понёс всадника к востоку.

---

Дорога была убойна, вёрсты длинные, но Зыков хорошо знал Алтай и ехал уверенно. По ночам заезжал на заимки и в деревни к знакомым мужикам, обращался с горячим призывом слать к нему людей, но получал отпор. В одной деревне такие слышал речи.

Краснобородый, с красными нажёванными щеками крестьянин недружелюбно говорил:

— А ты, Зыков, нешто не слышал про повстаннический Ануйский съезд в прошлом годе, в сентябре? Мы за порядок стоим, а не за погром. Погромом ничего не взять, Зыков. Дисциплина должна быть, чтоб по всей строгости ответственность, тогда и жизнь наладить можно... Нешто не читал прокламаций крестьянской повстанческой нашей армии?

— А ты моих прокламаций не читал? — спросил Зыков.

— Знаем твои прокламации: замест города головешки одни торчат.

— А где ваша повстанческая армия? — запальчиво крикнул Зыков. — Колчак пух из неё пустил!

— На то Божья воля.

— Нет, братцы! Ещё рылом не вышли. А вот идите ко мне... Подбивайте людей, чтоб шли.

— Едва ли, Зыков, пойдут. Накуролесили твои шибко, — сказал седой, осанистый старик. — Да слышать, быдто красные повсеместно укрепляются. Колчаковцы хвост показали.

— Будем за правду стоять, — горячо возражал Зыков. — А про красных погоди толковать... Ещё неизвестно. Я и Ленина поправлю, я и Троцкого поправлю.

Мрачный, встревоженный едет Зыков. Своих не видно. Неужто рассыпались, как стадо баранов, и забыли про него? Тогда он бросится к Монголии, бросится в Минусу, там наберёт себе ватагу. Зыков жив, и дела его прогремят по всей земле.

Заезжал к кержакам, молодёжь от него пряталась, уезжали в лес, будто по дрова, по сено, старики же награждали Зыкова всем, чем хочешь, просили погостить. Но гостить некогда, солнце работало всюю. Да и речи стариков были с подковыркой.

На прощанье язвительно кидали старики:

— Слыхали, слыхали про старца-то Варфоломея, родителя-то твоего. А впрочем сказать, мало ль что болтают зря...

Через Бию переправился по льду пешком, и то едва-едва, бросал под ноги доски. Буланого жеребца пришлось отдать какому-то крестьянину. В Турачаке Зыков получил в подарок белого крупного коня и винтовку с патронами. Подарил белгий солдат Матюхин, обещал — вот маленько отдохнёт —

---

приехать к нему на службу. Это обязательно, и, пожалуй, ещё народу приведёт. Что касемо красных — власть очень крутая, говорят. Пожалуй, зыковской ватаги не потерпит.

— Чёрта с два! — и Зыков надменно потряс нагайкой. — Красная власть... Ха!.. Я сам власть. Две тыщи под верхом у меня коней было. Это не власть тебе?

За Бией он ехал открыто, по дороге.

С полей согнало снег, только северные склоны гор были ещё в белых шубах, бурые луговины зеленели, кой-где цвели холодные фиалки, и робкими огоньками желтели лютики. Гогот гусей и журавлиное курлыканье падали на землю вместе с лучами солнца, как радостный крик возвратившегося из-за морей изгнанника. Зыков вскидывал к небу глаза, искал вольные стаи птиц, но сердце его было в тоске и холоде. Как, однако, плохо одному. К жене, что ли? Нет. К Степаниде?

Зыков задумался, опустил голову, опустил поводья.

И вот вышла из лесу Таня, вся в цветах, одетая, как монашка, на голове из цветов венок, в руках восковая красная свеча.

«Зыков, миленький».

— Таня? Как ты?

«Убежала к тебе... Убей, либо полюби... Люблю тебя».

Зыков едет дальше, и пред ним Таня, будто плывёт по воздуху, лёгкая, большеглазая, лицом к нему: «Люблю тебя».

Зыков подымает голову, озирается и горестно хохочет. Эх, если б Таня живая, настоящая, вот за кого Зыков сложил бы голову свою... Эх...

Нет, нет, Зыков должен быть один, прочь дьяволово наваждение.

А дом, своя заимка всё ближе. Наверное, там люди поджигают его. Подберёт самую головку, отборных, испытанных вояк. Его дружина будет как камень, как пламя, как лавина с гор. Чует Зыков, что с красными ему доведётся в перетык вступить. Ну, что ж!..

И верно: со всех концов летели на него доносы в центр, туда, сюда: «Зыков, правда, бьёт белых, но он же мытарит и мужиков. Кто хуже, Зыков или белые? Оба хуже. Власть Советов, спасай народ!».

Вечер. Солнце огрузло, опустилось в горы, стало холодно. Воздух чист, прозрачен. Далёкие, за полсотни вёрст, хребты казались тут же, рядом, — хватай рукой.

Он спускался в глубокую котловину. Дно котловины зеленеет свежими всходами, в середине, в ещё оголённой роще группа просторных изб — кержацкая богатая заимка.

---

Суббота. Он слез с коня и, пошатываясь от засевшей в нём болезни, вошёл в моленную.

Огоньки, пение, народ — мирный, родной, — и пахнет ладаном. Он принялся: да, не порох — ладан, и горящие свечи — не разбойничьи костры, и свой, знакомый, старый Бог, свой, кержацкий. И ему захотелось молитвы, слёз: вот так упасть на колени и плакать, и каяться в грехах, молиться о своей собственной судьбе, плакать и просить Бога о своём личном счастье: «Дай, Боже, усладу дням подлого раба Твоего Стефана».

Сердце стонало от боли, и душа вся избита, обморожена. Народ поёт стихиры, старец возглашает и кадит, звякает кадельница, и Зыкову мерещится, что это панихида, что он, Зыков, лежит в гробу, в гроб заколачивают гвозди, народ с возжжёнными свечами отдаёт последнее рыдание, ещё маленько — и мертвец будет опущен в землю. А-ах...

...Он схватил скамью и вдребезги расшибает врагов своих — крик, стоны, гвалт, чёрный конь мчит Зыкова сквозь пули, огонь, вой вихря и — стоп! — отлетела голова. Напёрсток гекнул, гекнула вся площадь — «гек» — и отлетела голова. А конь мчит дальше, чёрный, как чёрт, с горящими глазами, как у чёрта, — стоп! — тот самый дом, любезный Танин дом, и Танин голос рыдает надгробно вместе с другими голосами. Гроб. Он, Зыков, лежит скрестив на груди руки.

— Не хочу умирать, — боднув головой, резко прошептал он.

На него оглянулись. Холодный пот покрывал его лицо.

Кругом всё то же: свой, старый Бог, тихие огни, тихий и торжественный голос старца. Зыков вздохнул всей грудью и перекрестился.

После службы все расселись на приступках крыльца, на брёвнах. Зыков затеял разговор, наблюдая, как относятся к нему одноверцы. Шумело, позванивало в ушах, и зябучая дрожь прокатывалась по спине.

— Здорово, Зыков, — мягким тенорком проговорил маленький, брюхатый, он встряхнул льняными волосами и сел в ноги у Зыкова, прямо на землю. Лицо у него рябое, с толстыми побуревшими щеками, глаза блёклые, безбровые.

— Ты откуда? Не знаю тебя... — проговорил Зыков, и что-то шевельнулось у него внутри.

— Я дальний, с Минусы... Федосеевского толку. Ну-ка, скажи, Зыков, пожалуйста: за кого ты воюешь, за старую веру, что ли?

---

— А ты как сюда попал? — допытывал Зыков. — Как узнал про меня?

— Да случай, случай, батюшка Зыков, случай, отец родной... Пасечник я, пчёлку Божию уважаю, ах, благодатный зверёк Христов... Ну, разорили меня всего эти самые белые, пасеку разбили, ста полтора ульев... А у меня возле вашего городишки братейник, тоже пасечник... Я к нему. Как глянул в городке — чьё дело? — Зыкова. Одобрил, потому церкви никонианцев жегчи надо и духовным огнем и вещественным... Так-то вот. — Он помолчал, снял чёрную шляпу, повертел её на пальце, опять надел. — А ведь красные-то, большевики-то, Бога совсем не признают. Ни русского, ни татарского Аллу, ни жидовского. Во, брат...

— Неужто? — встрепенулся Зыков.

— Говорю, как печатаю: верно. А у них свой бог — Марс, хотя тоже из евреев, с бородищей, сказывают, но всё ж таки в немецком спинжаке. Во, брат...

— Ежели не врешь, — сказал Зыков, скосив на него глаза, — я за веру свою старую умру.

— А красные? Значит, ты насупротив красных?

Зыков медлил, чернобородый сосед толкнул его локтем в бок. Зыков отрубил:

— Прямо тебе скажу — не знаю, за что красные; я — за Бога, — и встал.

Рябой, посопев, нахлобучил шляпу на уши, протянул:

— Та-а-ак...

Зыкову почему-то вдруг захотелось схватить его за горло и придушить.

Легли спать на полу, на сене. Рябой кержачишка тоже лёг.

Ночью Зыков спал тревожно, охал. Видел путанные сны: то он голый лезет в прорубь, то в царской одежде, в золотом венце объявляет, что он — медвежачий царь, и берёт себе в жёны молодую киргизку, дочь луны, но из бани ползёт змея и холодным липким кольцом обвивает его шею. Он стонет, открывает глаза и просит пить.

«Заколел тогда, прозяб, немогота приключилась», — думает он.

Рябой исчез. Недаром ночью лаяли собаки.

Утром чернобородый кержак сказал тревожно:

— А ездай-ка ты, Зыков-батюшка, поскорейча к себе.

— А что?

— Да, так... Рябой чего-то путал... Путём не объяснил, а так... оки-моки... Да и какой он, к матери, кержак... Перевертень... Так сдаётся — подосланец.

---

Зыков затеребил бороду, крикнул и быстро стал собираться.  
— С оглядкой езжай, — предупреждал чернобородый. —  
Оборони Бог, скрадом возьмут, в горах недолго...

— Больно я их боюсь, — сказал Зыков и поехал к дому.

Голова была пустая, тяжёлая, и мысли, как сухой осенний лист, кружились в ней, шумя. Сердце всё так же неотвязно ныло. Образ Тани вонзился в него, как в медвежью лапу заноза: досадно, больно, тяжело жить. А тут ещё этот чёрт рябой.

День был серый, в облаках, изредка падали дождевики, и с дождевиками падали трельные переливы висящих над полями жаворонков. Дорога кой-где пылила: встречались таратайки, верховые. Зыков круто сворачивал тогда и, притаившись, выжидал.

Поздний вечер. Каменный кряж пресек дорогу. В скале проделан узкий ход. Копыта чётко бьют о камень. Камень чёрный, и в узком проходе — ночь, черно. Зыков приготовил винтовку и чутко напрягает слух. В чёрном мраке навстречу цокают копыта. И в камне раскатилось зыковское:

— Держи правей!..

Встречные копыта онемели. Зыков взвёл винтовку и процокал вперёд. Молчание. Слева кто-то продышал во тьме, всхрапнула лошадь. «Притаился, дьявол... Целит...» — оторопело подумал Зыков и приник к шее своего коня: «Вот, сейчас...». Испугавшаяся кровь быстро отхлынула к сердцу.

Но засерел выход. Зыков ошпарил коня нагайкой — и вскачь.

А вдогонку с ужасом, с отчаянием:

— Зыков, ты?! Стой, стой!!

Но пыль из-под копыт крутила вихрем, скрывая скачущего всадника.

Парень долго гнал, потом остановил запыхавшуюся свою клячонку и заплакал. Он плакал навзрыд, с отчаянием и, как безумный, вскидывал руки к небу. Он ничего не слышал, ничего не видел пред собой, весь свет враз замкнулся для него.

Парень повернул лошадь, въехал, всё так же по-женски плача, на гребень скалы, слез с седла и подошёл к краю пропасти. Вот он, узкий, тёмный, высеченный в скале проход, где они только что встретились с Зыковым.

Парень заглянул вниз, в страшный сырой провал, куда сейчас кинется он вниз головой, на камни. «Степан не вернётся, Степана убьют...» Сердце его сжалось. И только в этот миг в сердце Зыкова ударил бешеным бичом огонь. На всём

---

скаку кто-то резко рванул его коня, и конь помчал всадника обратно.

Парень отступил несколько шагов, чтоб разбежаться, чтоб броситься в смерть: «Прощай, Степан Варфоломеич»... И — вдруг:

— Эй, парнишка!

Парень оцепенел. И чрез мгновенье:

— Зыков, миленький!!.

Все горы перед Зыковым вдруг заколебались:

— Танюха! Ты?!

— Степан! Голубчик!.. Ведь ты на смерть поехал!

— Как?

— Твою заимку красные взяли. Большой отряд, человек с сотню... Пулемётов много, пушка. Тебя стерегут... Бой был. Скорей, скорей, отсюда!..

— А где ж мои все?

— Твои убежали кто куда.

Зыков побагровел. Белый конь его тяжело водил взмыленными боками.

## Глава XVIII

Когда выбрались на дорогу, наступила ночь, звёздная, весенняя, в сыпучем золотом песке.

— Там келья для тебя, место скрытное. Не опасайся.

Та же ночь висела и над городком, над заимкой Зыкова, над всей землёй.

И попадья впервые в эту ночь решилась признаться мужу:

— А ведь я, отец, понесла...

— Ну? — и отец Пётр радостно перекрестился.

— Уж три месяца, отец.

Батюшка встал, благословил утробу супруги своей и в одном белье опустил перед образом на колени. Молитва его была не горяча, а пламенна: ведь так ему хотелось иметь второе чадо. Девять лет пустовало чрево жены его, и на десятый год разрешено бысть от неплодия. Боже, Боже...

Матушка слушала слова молитвы, и не слыхала их. И в эту минуту особенно остро встал перед ней вопрос: чьё же дитя зреет у неё под сердцем? За упокой души раба Божия новопреставленного Фёдора Петровича она молиться будет обязательно, а вот другой раб Божий помер или жив?

---

Настя тоже три месяца как понесла, но об этом — ни гу-гу. Господи, хоть бы муж не возвращался, Господи... Убьёт. Настя, как и попадья, тоже не знала, чьё дитя зреет у неё под сердцем. Придушить его, родненького, маленького, или оставить — пускай живёт?..

А ночь шла, катились звёзды, золотой песок дрожал вверху и сыпался на землю.

Зыков вскидывал к небу глаза, золотые песчинки залетали в сердце, и так хорошо было сердцу в этот миг. Зыкова охватило свежее, небывалое, такое непонятное чувство. Он пытался побороть себя, и не хотелось бороться. Он дышал порывисто, закусывал губы, крикал, но у сердца свои законы, и даже чужунное сердце не в силах превозмочь вдруг вздыбившейся любви. Зыков дрожал, и в его сильных руках дрожала Таня.

Белый конь ступал тяжело, как литая сталь. Сзади серой мышью тащилась пустая кляча.

Таня прижималась к Зыкову. Он целовал её в лоб, в глаза. Оба молчали, и всё молчало кругом: горы, леса, златозвёздная ночь, только бессонная речонка, разрывая о камни бегучую грудь свою, стонала в горах, плакала, кого-то кляла.

И настроение Зыкова быстро сменилось, короткие сладостные порывы уступали место гнетущему отчаянию. Ошеломляющее известие Тани хлестнуло по его душе, как по одинокому кедру ураган, корни лопнули, Зыков оторвался от земли, и вот жизнь его вдруг вся покривилась, покачнулась, падает, словно подрубленная колокольня. Как? Неужели его колокол отзвонил, и навеки умолкла труба горниста?

Может быть, вырвать из сердца занозу — будет больно, ну, что ж? — Зыков начнёт всё снова... эх, придушить девчонку, что дрожит в его руках... Чёрт ли, девка ли, может, волшебница с притворным зельем — раз и навсегда!

А что же дальше? Нет, не в девчонке дело, не здесь застряла окаянная, трижды проклятая судьба его.

Внутренним оком он озирается назад. Там, в туманных прошлых днях — крепкий царёв острог. За правду, за веру, за смелые слова, по сыску попов и начальства, гоняли его, как собаку, из тюрьмы в тюрьму. А кончил высидку — по Руси бродяжил, по Сибири, узнавал людей. «Эх, с этим бы народом, да раскачку. Уж и грохнул бы я ручищей по земле!» Потом подошла война, и за войной — пых-трах: вздыбил народ — мятеж, огонь и буря.

И вот Зыков снова родился в мятежной буре и услышал в своей душе приказ: «Встань на защиту рабов, борись за правду, а правда и Бог одно — борись за Бога». Как осколок кора-

---

бля, он был выброшен бурей на скалу. И громко прогремел его призывный смелый клич: «Кто за простой люд, за обиженных? кто за правду?.. Эй, братья! все ко мне!».

Зыков думал — нет правды без Бога, и Бог без правды мертв есть. И как думал, так и делал: за старого Бога, за правду, за угнетённый люд! Он всё бросил, всё спалил, что было назади, обрёк себя на страшный бой, и карающий меч его не боялся крови. За Бога, за новую правду! Буря, и кровь, и огонь, не страшно, не грех — так надо. Бурей носился по Алтаю Зыков, старый отец бросил ему: «Назад! Богоотступник!» — смерть отцу! И вот отец убит.

Всё, всё принес Зыков в жертву новой правде, — покой, богатство, даже отца убил. А дальше?

Дальше — ночь, горы, звёзды, и дорога пошла в подъём.

В нём всё дрожит, мутится. Там, у грани каменной пропасти, где они встретились с Таней, Зыков узнал от неё, что красные ищут арестовать и убить его. О, Зыкова не так-то легко схватить. Пусть попробуют. Но за что, за что?

В Зыкове всё дрожит и мутится. Конь напрягает мускулы, дорога идёт в подъём, но душа Зыкова неудержимо лезет в преисподнюю.

— Танюха, голубонька моя, — начинает он тихо, и не может, не знает, какие надо говорить слова. — Приедем, я тебе буду рассказывать сказки. Я знаю занятную сказку про славного вора и разбойника Ваньку Каина.

— Ты сам — сказка.

— Я — чёрт.

— Ты для меня бог.

— Пошто этакое святое слово вспоминаешь?.. Я совсем сшибся с панталыку, округовел. И сам не знаю теперича, кто я.

Таня прижалась правой щекой к его груди, и когда Зыков говорит, его грудь гудит и ухаёт, как соборный колокол. Тане тепло возле большого сильного тела, Тане беззаботно, радостно: Зыков с ней. И не жаль ей ни мать, ни сестру, ни дядю.

Долго Зыков говорит, потом едут в молчании — Таня дремлет. Он что-то спросил, в его голосе ожидание и робость; Таня поймала сердцем, открыла глаза, думает, как ответить.

— У них своя вера, земная... — говорит она.

— Так, так...

— Когда я училась в губернском городе в гимназии... Недолго я училась, три зимы всего... А брат мой Николенька был техник. Пропал куда-то он. Как настала революция — ни словечка не писал нам. Ну, вот. А жили мы с ним вместе.

---

Студенты к нам заживали, революционерами считали себя, сходки там, выпивка, запрещённые песни. Что говорили, не помню ничего, да и не понимала тогда. Только хорошо помню, что Бога они не признавали. Бабы сказки, мол, чушь. Вот также и большевики...

— Ну? Неужто? — грудь Зыкова загудела, и загудели горы.

— Это — ничего... У них своя религия... Своя правда. Всяк по своей правде должен жить.

— Угу, — сказал Зыков, и горы сказали «угу». Зыков добавил: — У них своя правда, у меня своя. Лоб в лоб друг другу смотрим, а хвостами врозь.

Мускулы лица его судорожно играли, меж сдвинутых бровей углубилась складка, он тяжело вздохнул, присвистнул и ударил коня.

Небо бледнело, звёзды скрывались вместе с тьмой. Неуверенно пропорхнула полуночная птица. Где-то вдаль кричал марал, и крик его, как мяч, перебрасывался от горы к горе.

Зыков понял, что всё для него кончено теперь. Значит, прав подосланный перевертень, рябой кержачишка — для новой власти Бога нет. Ага!

И неожиданно:

— А ты, Танюха, боишься смерти?

Таня не сразу поняла.

— Боюсь, — передохнув, сказала она, и ещё сказала: — При тебе — нет.

Он опять роняет: «угу», и долго едут молча.

Он в сущности не молчит, он в молчаньи спорит сам с собой, задаёт вопросы, соглашается, молча опровергает себя, иногда громко восклицает:

— О, чёрт!

Тогда Таня открывает глаза, ей очень захотелось перед утром спать, она так за последние дни истомилась.

И на главный вопрос свой Зыков никак не может подыскать ответа. Сначала, с прошлого года, было так просто и ясно всё: он бил белых, бил чехо-словаков, мстил попам, богачам и власть имущим, он стоял за правду. Он чуял и знал, что оттуда, из-за Уральских гор, идёт и придёт сюда сильная рать, с той же самой, с его, зыковской, правдой. Вот рать пришла, и принесла с собою свою, новую, не зыковскую правду. Да разве две на свете правды? Нет, вся правда у Зыкова, потому что он с Богом, те же — без Бога, и в их делах, в их сердце — ложь. Так или не так? Кто даст ответ ему?

Он не верит сам себе, и его душу раздирает смертельная тоска.

---

А дорога подошла к отвесной скале, и отсюда по узкому карнизу-бому будет идти версты две над страшной бездной.

— Танюха, лебёдка белая, — ласково говорит он, — а ведь тебе на свою клячонку придётся сесть.

— Боюсь. Не еживала по бомам.

— Как же быть?

И горы спросили: «Как же быть?» В горах тишина, горы жадны до звуков, горы любят поболтать с людьми.

В тёмных кручах под ногами белел туман, из ущелий, из падей между гор тоже выползали зыбкие облака тумана. Наступал рассвет, небо полиняло, защурилось. Было очень свежо, в каменных выбоинах замёрзли лужи, и бесчисленные хрустальные зеркала поглядывали холодом на Таню.

— Я озябла, — сказала она, передёрнув худенькими плечами.

— Греться некогда, — сказал Зыков. — Вот встанет солнце, обогреет. Кровь у тебя, как горячая брага хмельная, ничего. Так и быть, поедем на одном коне, только я впереди, а ты позади меня, верхом, сиди прямо в струнку, держись за мой кушак, гляди в спину, вниз не гляди, с непривычки страшно, голову обнесёт. Дорога убойная. Вишь, какая дорога? Ну, с Богом.

Он старался говорить уверенно, ободряюще. Когда двинулись, добавил:

— Ничего... Не бойся.

Но Таня вдруг забоялась, ей стало страшно от голоса Зыкова, ей сердце вдруг сказала: берегись!

Да, в голосе Зыкова притаилось что-то, как в чулане вор. Он решил кончить всё разом. Он всё принёс в жертву, отца убил, — но что же оказалось на поверку? Партизаны, друзья, все, все оставили его, и правда его — не правда. Значит, довольно жить. И это будет незаметно, будет сразу, Таня не успеет испугаться.

— А ежели, деваха, я умру?.. вот нечаянно с седла ежели сорвусь. А? Да в пропасть... А?

— Ой, молчи ты, — прозвенело за спиной с мучительной болью. — Лучше я... Зыков, миленький...

— Ты молодая, будешь жить... Моё дело кончено...

— Умирать — так вместе.

— Ты с ума сошла, деваха!..

«Аха!..» — раскатились горы.

Стало светло в горах, и небо на востоке порозовело.

Таня повернула голову влево. В аршине от её глаз медленно двигалась серая стена ребристого, с опрокинутыми слоями сланца. Кой-где в расщелинах кустики травы, кой-где мох,

---

вот зелёная ящерица сидит на выступе, как игрушка, ждёт солнечных лучей.

— Почему это у меня ноет сердце?.. Ужасно ноет, — помолчав, сказала с тревогой Таня.

— Скоро успокоится, — ответил он.

— Почему скоро?

Он молчал. Таня перестала дышать. Сердце её захолонуло. Преодолев волнение, спросила сквозь испуг:

— Почему?

Зыков ответил дрожащим неверным голосом:

— Потому что... — и остановился. — Потому что взойдёт солнышко.

Таня глубоко вздохнула и уперлась лбом в спину Зыкова.

Ей захотелось взглянуть в провалище, вправо, но страшно. Ах, как хочется взглянуть! Нельзя, надо, нельзя, нет, надо... Голова повернулась сама собой, глаза упали в бездну. Таня взвизгнула и мотнулась на седле.

— Защурься! — крикнул Зыков. — Самое опасное место скоро...

И вдруг заговорил как-то необычно торопливо и приподнято:

— Знаешь ты... Только сиди тихо, закрой глаза. Я расскажу тебе всё, я покаюсь тебе... Меня томят грехи, дух мой в огне весь, на сердце мрак... Мне надо покаяться, очистить себя... Некому больше, как тебе... Слушай!

— Зыков, что ты...

— Молчи, слушай...

— Я боюсь... Страшно мне, Зыков...

— Слушай!.. Сиди тихо... Закрой глаза...

Они были на недоступной высоте. Узкая тропа, высеченная в каменном массиве, опоясывала почти отвесный склон скалы, как карниз. Конь выбирал, куда ступить. Конь дрожал. Основание скалы скрыто от взора. В пропасти белым жгутом изогнулась речка, она внизу сотрясает камни, грохочет, но сюда не долетает её рёв. Не надо глядеть вниз... Зыков поднял глаза к небу. Конь, всхрапывая, осторожно шёл вперёд.

Зыков бросил поводья.

— Слушай! на моей душе много крови, может, невинной... Слушай, никому не говорил, тебе скажу: я своего отца убил, старца святого, Варфоломея... Да, да... А твоего я не убивал, твоего убили мои...

У Тани глаза широко открыты, открыт рот, и уж ей не страшна бездна, она забыла про опасность, её страшит иное.

— Степанушка, Степанушка, голубчик!.. Как мне жаль тебя.

---

— Правда моя в крови, — Зыков говорил скорбно, с убеждением и страстью. — Грехи свои и людишек на мне, как камни. Боже, Господи! Неужели у Тебя не найдётся милости ко мне? Неужели нет мне спасенья и пощады?

У Зыкова бегут слёзы по обветренному носу, на бороду, на грудь. Таня тоже плачет, но не замечает слёз.

— Слушай... Ведь не зря же я такой грех на душу взял... Ведь я не изверг, не тать, не убивец, я верный слуга Христов. И вот чую, всё дело моё рушилось. Рушилось, девонька, рушилось... Чую, идёт против меня сила сильнее меня. И у той силы другая правда... Ежели я прав, они меня сломят своей силой, а ежели правы они — сердцу моему прямая погибель, ведь от своей правды я не отступлюсь. Так стоит ли жить мне?.. Слышишь?

— Ты не любишь меня! не любишь!..

— Люблю... Вот увидишь, не расстанусь с тобой... Люблю.

Вот оно, самое узкое место. Осторожный конь едва уставляет свои ноги на скользкой, точно отполированной, в аршин, тропе. Левые коленки всадников задевают выступы скалы, правые же, вместе с круторёбрым боком коня, висят над пропастью. Конь трепещет. Он наваливается на скалу, боясь низринуться. Его копыта стучат по скользкому краю обрыва. Ах...

— Не любишь!..

— Сказал, люблю...

— Не любишь, не любишь, не любишь...

Солнце всходит, чёрное-чёрное, вот его лучи, они, как кинжалами, бьют в глаза и в сердце.

Зыков заносит левую руку, чтоб оттолкнуться от скалы... Ах... Тогда вмиг все трое — конь и всадники — ухнут в бездну: смерть скорая, в крике, в грохоте, в движенье.

Зыков весь похолодел.

— Прощай! — крикнул он. — Смерть пришла!.. — Накрепко сомкнул глаза, и с силой оттолкнулся...

Всё сразу ахнуло, рушилось, закувыркалось, горы скакали и крутились, грохотом раскатывался гром, под ногами то солнце с небом, то земля, то солнце, то земля — трах-трах-трах — вдруг искры, молчанье и тьма.

Вот заржал конь. Вот всё стало снова на своих местах.

— ...О-о-ох... — надрывно выдохнул всей грудью Зыков и открыл глаза. — Моченьки моей нет, рука не подымается... Любушка, любушка моя... Танюха.

— Степанушка, Степан Варфоломеич! Что с тобой?

---

Зыков широко перекрестился и вытер рукавом крупный на лице пот. Он весь дрожал и поводил плечами. Этот ярко представленный и пережитый им миг смерти разом испепелил в нём всё отчаянье, всю душевную труху. Он — снова прежний — сильный, крепкий, как чугун.

Тропа повернула влево, в расселину, и выбросилась на широкую площадку. Извиваясь меж огромных камней и маленьких, уродливых сосенок, она стала постепенно снижаться в лесистую долину.

— Ну, Танюха, будь, что будет, а только перед Богом ты жена мне. Так полагаю, жизнь у меня настанет новая. А никакой власти я знать не хочу, ни советской, ни колчаковской. Я сам себе власть. В Монголию уйду, либо в Урянхай... И тебя с собой... Не отстанешь? Дело будет... Войско соберу. За правдой следить буду. Ха, поди, испугалась? Поди, зашлось сердчишко-то?

Таня смеялась звонко, плакала радостно, целовала Зыкова, смеялась и плакала вместе.

Солнце поднималось жаркое, и густые травы здесь были все в цветах. Травы сулили усладу..

## Глава XIX

Дул небольшой ветерок, перешёптывались сосны, день клонился к вечеру.

Терёха Толстолобов сегодня не в духе: вырвавшийся из бани медвежонок задавил двух гусаков и перешиб собаке позвоночник; собака на передних лапах, волоча зад, уползла под амбар и там визжала дурью.

Терёха бил свою старую жену, а Степанида, вытаскивая из жаратка кринки, ухмылялась. Но вот она услышала во дворе голос Зыкова, и её бока вдруг тоже зачесались.

— Ладно, ладно, дружок Степанушка... — говорил у ворот Терёха, — ублаготворим, как след быть... И какой это тебя буйный ветер занёс опять? Эй, Лукерья! Да не криви ты харю-то... Тьфу, бабья соль. Живо очищай горницу, с девками в амбаре поживёте, не зима теперича...

Пред Степанидой стоял Зыков:

— Здорово, молодайка. Отбери-ка самолучшие наряды свои... Вы ростом одинаковы, кажись... Ты погрудастей только. Иди, оболочи её... там, в лесочке она... Награжу опосля... Ну!..

---

Степанида сразу всё поняла, румяное лицо её побелело:

— Степан Варфоломеич... А я-то, я-то...

Но в это время вошёл Терёха, крикнул:

— Поворачивайся живо! бабья соль...

По двору бегали собаки. Сука под телегой кормила щенят. В трёх скворешниках щёлкали и высвистывали скворцы, их полированные перья сверкали на заходящем солнце.

Дно котловины, где заимка, покрывали густые вечерние тени гор. Прямо перед глазами спускался с облаков широкий жёлто-красный склон скалы, и, как седая грива, метался по склону далёкий онемевший водопад.

Лукерья с девками молча и деловито перетаскиваются в амбар. Кот, хвост кверху, ходит за ними взад-вперёд. Под телегу по-офицерски пришагал петух, повертел красной бородой, что-то проговорил по-петушиному и клюнул сосавшего щенка в хвост.

Задами, чтоб не показываться людям, Таня со Степанидой прошли в баню. Воды немного, но на двоих хватит, да Степаниде и мыться неохота, разделась за компанию.

Таня всё рассказала ей. Степанида разглядывала белую, стройную, стыдливую Таню:

— Ну и сухопара ты, девка. Какая ж ты можешь быть жена ему, этакая тонконогая. Ты погляди-ка, какой он Еруслан... Ох, городские, городские... И всё-то вы знаете... Поди, неспроста он прилип-то к тебе... Поди, зельем каким ни то из аптеки присушила...

Таня улыбалась. Горячая вода, белая мыльная пена действовали на неё успокоительно. Она тоже разглядывала Степаниду. Степанида крепкая, ядрёная, как свежеиспечённый житный каравай, и пахнет от неё хлебом.

— А ты, должно быть, любишь Зыкова? — спросила Таня.

— Зыкова? Очень надо. У меня свой мужик, — раздражённо ответила баба, плеснув на каменку ковш воды. — Это вы, городские, с чужими мужиками путаетесь... Совесть-то у вас, как у цыгана... Да ты, девка, не сердись...

— Я не сержусь, — сказала Таня. — А про какую это Зыков Лукерью поминал?

— Ну, это так себе... Хозяину моему родня... — Степанида сердито захлесталась веником и, побрякивая, говорила: — А ты напрасно ему кинулась на шею... Для баб прямо злодей он, хуже его нет. Жену бросил, говорят. А мало ли девок через него загибло... И тебя бросит, а нет — убьёт...

— От судьбы не уйдёшь, — грустно сказала Таня, одеваясь и закручивая в тугой узел тёмные свои косы.

---

Терёха угощал их на славу. Терёха рад: Зыков теперь ему не страшен, и Степанидино сердце, Бог даст, образумится. Экая стерва эта Степашка, чёрт: всё ж таки так и пялит глаза на Зыкова, а тот свою монашку по головке да по плечикам точёным гладит. А хороша монашка... Ну и дьявол этот самый Зыков.

— Кушай, Степан Варфоломеич, кушай, милячок... Татьяна, как тебя по батюшке, пригубь. Самосядка хорошая, что твой шпирт. Эх, справлять свадьбу, так справлять!.. Чёрт с ним...

Терёха с радости схватил двустволку, выставил в окно, грянул сразу из двух стволов и заорал:

— Урра!! В честь новобрачных...

— Оставь, Терёха, не дури, — улыбался Зыков. — Какие новобрачные... Дай пожениться-то.

— Ужо по грибы будем ходить, по ягоды! Хорошо, едрит твою в накопалки... Степан Варфоломеич, а ты брось своё разбойство-то... Давай работать вместилах... Земли здесь сколь хошь. Ни один леший не узнает... А из твоих известна кому заимка-то моя? Ай нет?

— Никому, — сказал Зыков. — Был горбун один, Напёрсток, да он теперь водичку в реке хлебает.

— Степан Варфоломеич не разбойник, — вступилась Таня.

— Нет, разбойник я... Это верно, — резко сказал Зыков и, не отрываясь, выпил стакан самогонки. — И ежели правды настоящей не увижу на земле, так разбойником и околею.

— Брось! — крикнул Терёха, и его рукава замотались в воздухе. — Правда твоя убойная. Тьфу такая правда!

— Эх, дружище, — сказал Зыков и похлопал его по плечу. — Ты в горах, как медведь в берлоге. Отсель и неба-то малый клочок, с козью бороду, видать. Не твоего ума дело это. Не уразумеешь тебе. А я, брат, как с торбой по свету путался, таких людей встречал, что ах... Бывают люди, а бывают и мыслете. Понимаешь? Мыслете, горазд мыслят, значит... Они мир-то разумом своим, как столбами, подпирают. Вот у них поспрошай про правду-то... Ну, да бросим об этом толковать... Я и сам не рад, может. Силища прёт из меня, как с горы водопадazole твоей заимки... Видал? Поди, останови... Так и я. А может, я родился таким горбатым. У Напёрстка на спине горб, а у меня душа с горбом.

— А ты выпрямляйся, Степан Варфоломеич, — сердечно проговорила Таня. — Ведь говорил же ты, когда ехали с тобой.

---

— Ну, тогда мы в зубах у смерти были... — и Степан бережно обнял её. — Эх, Танюха, пташечка залётная. Пускай сегодня время будет наше, без тоски, без дум, а там видно будет. Ничего... Зыков не пропадёт... Ну, бросим это. А помнишь Ваньку Птаху? Песни его помнишь?..

— Не надо, миленький, не надо...

— Ну, ладно, ладно... А хорошо парнишка пел... Я заметил тогда, как сердчишко-то твоё девичье затрепыхало. Эх, песню бы...

Все были вполпьяна, всем весело, только пред взором Тани мимолётно проплыла чёрная та городская ночь. Царство небесное парню-песеннику. Таня вздохнула тяжело, но Терёха уж выплыл на средину горницы, приурезал каблуками в пол и, скоротившись, загорланил песню:

— И-изх да и во-о-о-уух... ты...

Зыков нагнулся и поцеловал Таню в губы. Степанида ударила стаканом в стол, — стакан разлетелся, — опрокинула табуретку и быстро вышла в дверь.

— Стой, бабья соль!.. Куда?

За дверью послышался стон и плач.

Когда шли Таня с Зыковым к обрыву, ночь была вся в звёздах: в тёмной вышине всё так же дрожал и колыхался золотой песок. Внизу, под обрывом, белели заросли цветущей черёмухи. Терпкий, духмяный запах подымался вверх. Наперебой, и здесь, и там, в разных местах, заливались соловьи. Зыков развёл большой костёр. Они сидели в дремучем кедровнике. Землю густо покрывала хвоя. Оба молчали.

Он вдруг вытащил откуда-то Акулькину конфетку с кисточкой, засмеялся и подал Тане:

— Девчоночка одна дала... На-ка!.. Вот сгодилась когда...

— А какая ночь, Степан... Чу, соловьи... Ой, сколько их... И посмотри, как внизу черёмуха цветёт.

— Эту ночь не забудем, деваха, в жизнь.

— Если завтра умру — жалеть не буду. Больше этого счастья, что теперь, не испытать мне. Ах, какая радость любить тебя...

Соловьи пели всю ночь до утренней зари. И всю ночь плакала Степанида.

Пред рассветом Таня сказала, чуть согнувшись и глядя пред собою:

— Но почему же, Стёпа, милый, такая тоска? Сердце болит...

---

Пред рассветом Степанида пробралась сюда, в руках её топор. У костра тишина. Зыков, должно быть, сказку рассказывает, на его коленях разметалась Таня.

Топор в крепких руках Степаниды очень острый... Вот Степанида хлестнёт, оглоушит Зыкова, девку искромсает: на! А сама бросится торчмя с обрыва. В её глазах огненные круги, и всё, кроме тех двоих, куда-то исчезает. Она заносит топор и делает шаг вперёд. Хрустнул сучок. Зыков обернулся. Она яростно швыряет топором в костёр и с диким воем: «Дьяволы, погубители!» — как сумасшедшая, мчится прочь, в трущобу, в мрак.

## Глава XX

Зыков ещё не совсем справился с болезнью. Последние месяцы — от расправы в городишке до тайного убежища на заимке Терёхи Толстолобова — искривили его душу.

Настроение его было неровное, зыбкое, как трясины. Его взвинченному воображению то рисовались великие подвиги и слава, то позорный невиданный конец. От этого неумолчно скучало его сердце, он хотел открыться Татьяне в своём малодушии, но не хватало воли.

Эх, какой я стал!..

Была истоплена баня жаркая, зыковская. Топил сам Зыков.

Степанида не возвращалась. Терёха, захватив ружьё, гайкал на весь лес, искал её. Степанида — как в воду.

Таня сидела в своей горнице под раскрытым окном. Она вся ещё была в прошлой ночи, улыбалась самой себе большими серыми глазами, прямые тёмные брови её спокойны, сердце под чёрной шёлковой кофтой бьётся ровно, отчётливо. Как хорошо жить... Скорей бы приходил к ней Степан. Нет, никогда не надо думать о том, что будет завтра...

Зыков разделся. Кто-то ударил снаружи в дверь. Он отворил:

— А, Мишка!.. Ну, залазь.

Медвежонок, набычившись, косолапо вошёл с обрывком верёвки. Морда и глаза его улыбались по-хитрому. Облизал ноги Зыкову, повалился пред ним вверх брюхом, благодушно заурчал.

---

Зыков большим пальцем ноги почесал ему брюхо, потом взял винтовку, кинжал, десятифунтовую гирьку на ремне, револьвер, и вошёл в мыльню. Эх, хороша баня, всю хворь прогонит. Зыков вымоется на всю жизнь теперь. Ну, баня!

Едва он окунул ковш в кадку с кипятком, куда бросали раскалённые камни, как во дворе раздался резкий залиvistый собачий лай, а в предбаннике рывкнул Мишка.

— Кой там черт ещё! — буркнул Зыков, ковш замер в его руке, а Таня вполношнo отскочила от окна и глянула из-за кисейной занавески на двор.

Один за другим въезжали в ворота всадники, их человек двадцать. Раздался выстрел, Таня заметалась. Все, кроме одного, соскочили с коней.

— Занять выходы! Встать у каждой амбарушки! — деловито командовал всадник. Он с большими серыми глазами юноша, сухое загорелое лицо, кожаная выцветшая по швам куртка, ствол винтовки из-за спины, кожаная шапка.

— Боже мой — Николенька! — всплеснув руками, прошептала Таня, и ноги её подсеклись.

Голоса на дворе, нервные, крикливые, робкие, злые:

— Где хозяин? Эй, тётка!

— Нету, батюшки мои, нету... Бабу убёг искать.

— Здесь Зыков? Ну?.. Говори! Где?!

— Ой-ой... Ничего я не знаю... Пареньки хорошие... Вот хозяин уже придёт.

— Взять её!

— Я знаю, где... — раздался хриплый голос. — А ну, робёнки, побежим.

— Николенька, Николенька, — взмолила Таня. Держась за косяк, она полулежала на лавке у раскрытого окна.

Юноша слез с лошади, глянул через окно:

— Сестра!.. — И быстрым бегом в горницу. — Как, ты здесь?.. Татьяна... Тебя Зыков украл? Да?

— Нет... Я сама пошла к нему...

— К нему?.. Сама?!. — лицо юноши вытянулось, и сама собой полезла на затылок шапка. — К Зыкову?!

— Да. Сама, к Зыкову. — Девушка пружинно встала и, сложив руки на груди, шагнула к брату. Побелевшие губы её, дрожа, кривились.

— Татьяна! Ты ли это говоришь?

— Да, я говорю.

— Брось глупости, Татьяна. Ты вернёшься со мной. Будем работать... Таня, сестра...

— Брат... Я люблю его... Умру за Зыкова.

---

Зыков отпрянул прочь от низкого оконца бани, и волосы его зашевелились: ему померещилось, что с улицы, к самому стеклу, сделав ладони козырьком, приник Напёрсток.

Зыков закрестился, закричал:

— Покойник!.. Покойник!.. — и бессильно шлёпнулся на пол.

Горбун толстогубо дышал в стекло, оловянные глаза его жадно жрали Зыкова, широкие ноздри раздувались.

— Здеся! — крикнул он, радостно подпрыгнул и ударил себя по бёдрам: — Ей-бо, здеся!.. Хы!.. Как тут и был... Эй, робёнки!..

Горбун рванул в баню дверь... Вдруг Мишка всплыл на дыбы и свирепо рявкнул. Напёрсток в страхе отшатнулся, Мишка двинул его лапой по спине. Напёрсток, как лягуха, пал на карачки, заорал. Красноармеец всадил меж лопаток Мишке нож, Мишка оскалил зубы, заплевался и бросился с ножом в лес, широко раскидывая передние ноги и мотая головой.

Внутреннюю дверь красноармейцы быстро снаружи припёрли бревном.

— Эй! Живые или мёртвые?! — кричал запертый Зыков.

— Живые!.. — хрипло взвизгивал в самую дверь Напёрсток. — Ведь я, Зыков-батюшка, Степан Варфоломеич, колдун... Траву-кавыку жру. Ты меня в прорубь спустил, а я рядышком в другую прорубь вынырнул... Не досмотрел ты, маху дал... Хы-хы-хы!.. За долгишком к тебе пришёл... Добрых людей привёл.

— А не мёртвый — будешь мёртвый, собака! — крикнул Зыков.

Сжимая кулаки, юноша шипел:

— Не смей меня называть братом... Я не брат тебе...

— А ты не смей трогать Зыкова... Зыков мой муж! Слышишь? — шипела в ответ сестра.

— Дура, тварь...

— Брат.. бра-а-т...

— Тварь!.. Зыков бандит, палач, враг советской власти. А ты... Ещё последний раз говорю: опомнись. Скорей, Татьяна! Могут войти. Тшшш... — Он взмахнул предупреждающе рукой и обернулся к двери. — Сейчас, товарищи!.. Одну минуту... — и к Тане: — Ну, решай. Со мной или с ним? Сестра, умоляю... Ради нашего детства...

— С ним.

Юноша на мгновенье закрыл глаза ладонью.

— Поторопись, товарищ Мигунов!.. Зыкова нашли... В бане... — горячо дышали в дверях три красноармейца.

---

— Караульте эту! — твёрдо крикнул юноша. — Не выпускать...

— Скорей, товарищ Мигунов, скорей... — хрипел Напёрсток, завидя Мигунова — Перепреева.

Рукава рваного его армяка по локоть засучены, фалды подоткнуты под кушак. Он жался к углу бани, повернувшись боком к бежавшему юноше. Горбун походил на кряжистого мужика, которому обрубили по колена ноги, башку отсекли и приткнули кой-как на уродливую грудь, из-под волосатого затылка торчал огромный горб, жирное, коричневое, как сосновая кора, лицо обрюзгло, потекло сверху вниз, всё в лишаях, кровоподтёках, ссадинах.

Юноша с брезгливостью окинул его взглядом.

Резко, коротко ударил выстрел.

— Ох, стреляет, чёрт! — вскричал горбун.

Юноша покачнулся, мотнул ногой и, схватившись за живот, отпрыгнул в сторону. В бане загремела брань и хохот.

Напёрсток хватил вприскокку из-за угла дубиной и вышиб раму:

— Эй, вылазь добром!

— Убивают! Зыкова убивают! — Татьяна птицей выпорхнула из окна и понеслась.

— Стой! Стой! — гнались за ней красноармейцы и стреляли в воздух.

Петух с криком взлётывал, как ястреб, порхали утки, курицы.

Вдруг один красноармеец опрокинулся навзничь и стал недвижим. В бане опять раздался хохот Зыкова.

Напёрсток неистово орал:

— Куда?!. Не бегай тут!.. Перестреляет всех!.. Убьёт!

Татьяну смяли, поволокли, она билась, кричала, проклинала брата.

Юноша крепко стиснул зубы. Он был бледен, его колотила дрожь, в испугавшихся глазах металось страданье и смертельная тоска. Упал на землю.

Собаки залиvisto лаяли, растерянно крутили хвостами, но их глаза были люты и оскал зубов свиреп.

Из лесу выбежал Терёха Толстолобов, он остановился, вильнул взглядом туда-сюда и, сразу всё поняв, бросился к бане:

— Что, Зыкова добываете? Бейте его, варнака! Жгите его!.. Через него баба моя задавилась... Ой ты!..

Он шатался, как пьяный, весь был дик, походил на лишившегося рассудка.

---

— Тащи соломы да хворосту! Чего слюни распустили? — щёлкая зубами и воя, кричал он.

Юноша сдерживал стоны и тихо охал. Он лежал в стороне от бани, на пуховике, под головой подушка.

— Навылет, товарищ Мигунов... Авось обойдётся... — Маленький, чёрный, с чёрными усиками красноармеец, сбросив куртку, обматывал раненому поясницу и живот бинтом, бинт быстро смочился кровью. Рана была большая и рваная, от медвежачьего ружья.

Красноармейцы — бегом, вприпрыжку — тащили из дому холст и тряпки, стригли, рвали их лентами.

— Товарищ Суслов, — юноша искал взглядом высокого, загорелого, с белой бородкой красноармейца. — В случае... вы будете командовать... Что, не вылезает?.. Поджигайте баню...

— Поджигай!!

— Поджигай!.. Где серянки?..

— Стой! Сдаюсь... — закричал Зыков.

— Стой! Сдаётся! Зыков сдаётся...

— Эй, Зыков! Давай оружие сюда.

— На! — он выбросил ружьё. — На ещё, — выбросил пистолет. — Всё. Отворяй дверь, выйду.

— Врёшь, нож у тебя, — хрипел, сплёвывая и матерясь, Напёрсток. — Вижу, нож!

— Нету, всё...

— Поджигай!

— На, на! — ножище сверкнул в окне, как на солнце щука. — Где Татьяна? Покличьте Татьяну сюда.

— Вылазь! Бросай гирю...

Гиря бомбой брякнулась на землю.

— Вылазь!

— Открой дверь, дай я оболочусь. Нагишом, что ли?

— Эге! нет, брат Зыков, — подмигнул горбун и отчаянно сморкнулся из ноздри. — Ты, этакий леший, выберешься — дубом тебя не свалить. Вылазь в окно!

Напёрсток и другой плечистый красноармеец прижались к самой стене по обе стороны оконца. В их настороженных руках арканы.

— Вылазь!.. Вылазь, кляп те в рот! — в один голос закричали горбун и Терёха. — А то живьём сгорим.

— Жги. Не вылезу нагишом. Где Татьяна? Жги.

— Ребята, подкаливай со всех углов!

Солома вспыхнула, густой жёлтый дым, загибаясь, повалил в баню.

---

— Сдаюсь, — упавшим немощным голосом сказал Зыков, лохматая голова и широченные плечи его, изогнувшись и царапаясь о косяки, показались в окне. Аркан жихнул, и, как коня на поводу, человек десять красноармейцев повели богатыря к Мигунову. Зыков давил тыщепудовыми ногами землю, земля кряхтела, красноармейцы казались пред ним ребятами.

Напёрсток, подбоченившись и слюняво похохатывая, ужимался, опаски ради, в стороне:

— Что, сволочь, хы-хы-хы, будешь честных людей под лёд спускать? — Изверченное будто картечью лицо его подёргивалось, подмигивало, облизывало толстые, покрытые пеной губищи. — Хотела синичка море зажегчи, море не зажгла, а сама потопла.

— Ещё пострадавшие есть? — спросил Мигунов. Голос слаб, прерывист.

— Алёхин убит.

Мигунов неспешно, мутными глазами повёл от голых коленей Зыкова вверх, чрез живот, чрез грудь, но до головы не добрался, голова где-то высоко, выше сосен, и в глазах Мигунова темнело.

— Расстрел на месте, — сказал он, приподняв и вновь опустив кисть умиравшей, вытянутой вдоль тела руки.

— За что расстрел? — глухо спросил Зыков. Он внешне был спокоен, но лицо потемнело от напряжения воли и потемнели серые глаза. — Я работал на помощь вам.

— Ха-ха! Хороша помощь! — наперебой закричала молодёжь. — В городе сколь народу искромсал, вот начальника нашего изувечил, товарища убил!

— Анархия, разбой! Советская власть не потатчица, — резко проговорил белобородый Суслов. — Ну?!

— В городе расправлялся по-вашему. Сам в газетине читал, как вы кожу с живых сдираете. Эвот, груди женщинам отрезали... Сам читал...

— Врёшь, брешут твои газетины! — кричали красноармейцы. — Контрреволюционеры пишат твои газетины! Над мирным людом сроду мы не изгалялись.

— Расстрел на месте, — открыв глаза, ещё раз сказал Мигунов и быстро приподнялся на локте. — Пить.

Глаза его то вспыхивали, то погасали, жизнь кончалась в них. Он жадно глотнул ключевой воды.

Зыкова повели. Он кричал:

— Что ж, милости у тебя, малец, просить не стану! И правде повреждения не сотворю! — Он остановился, и все остано-

---

вились, он потянул за концы аркана, красноармейцы, взрывающая землю пятками, надувшись и пыхтя, подъехали к нему и захохотали:

— Ну, конь...

— А вот скажи мне на милость, — Зыков уставился в грудь, в мутные глаза сидевшего Мигунова. — Бога признаёте вы, Господа нашего Иисуса Христа? — в голосе его было страданье, последний крик, настороженность.

Мигунов резко потряс головой:

— Нет.

Зыков закачался. По лицу, как ветер по озеру, пробежала судорога, он крякнул и твёрдо сказал:

— Стреляй тогда...

К нему вдруг вернулось спокойствие, лицо посветлело, на губах появилась улыбка, и взор стал радостным, отрешённым от земли.

— На обрыв, на обрыв! Шагай на обрыв! — кричали сосны, люди, камни.

Зыков шагал уверенно и твёрдо, обернулся, проговорил Мигунову душевным голосом:

— Прости меня, милячок... Согрешил пред тобой... Ау! А жену мою Татьяну, — крикнул он громко, — не трог, ради Христа!.. Может, из-за неё гибну, а духом радостен. Ну, ладно. Других умел, сам умей... Прощай, солнце, прощай, месяц, прощай, звёзды, прости, матушка сыра-земля.

И вновь закричали люди, закричали сосны, закричало небо и камни. Напёрсток с Терёхой Толстолобовым трясли кулаками, хохотали в тыщу труб, плевались. Зыков ни разу за всё время не взглянул на Терёху.

Мигунов застонал, повалился на бок, скорчился, зачмокал губами, во рту было сухо, горько.

— Пить...

Возле него на коленях и на корточках четверо красноармейцев, среди них — Суслов, в круглых очках, с остренькой белой бородкой. Лукерья, всхлипывая и кривя рот, сновала от умирающего в избу и обратно, тащила то святой воды, то ручник, то какого-то снадобья в пузырьке, вот принесла чёрную, в светлом венчике икону, поставила в изголовье умирающего, закрестилась.

Гранули выстрелы. Лукерья ойкнула, подпрыгнула и, заткнув уши, побежала домой.

Мигунов открыл глаза:

— Красному зна... Товарищ Суслов... — голос слабел, углы рта подёргивались, дыхание было короткое, горячее; боль-

---

шие, как у сестры, глаза глядели в пустоту. — Там, в городе... Целую красное знамя... передайте... Умираю... Девчонку расстрелять...

— Она ваша сестра, товарищ... — откачнулся Суслов, зашевелил бровями, очки на переносице запрыгали. — Она говорила, что...

Мигунов поймал ртом воздух.

— Расстрелять, — и глаза его стали стеклянными.

Татьяна стояла на краю обрыва, как на облаке. Она не чувствовала ни своего тела, ни страха, ни земли.

Кто-то звонкоголосо, страшно кричал, раскачивая небо:

— Ха-ха... Сейчас к дружку кувырнёшься, свадьбу править.

Татьяна оглянулась как во сне. Обрыв глубок, и камни остры. Меж серых остряков застряло жёлтое, большое. Узнала: Зыков. Глаза её мгновенно расширились и сузились. Всё плыло, качалось пред её глазами.

Восемь винтовок, как чёрные пальцы, прямо указали ей на грудь.

— Пли!!

Но залп прогремел впустую: Татьяны не было, пули унеслись в тайгу.

Напёрсток вырвал у кого-то топор и, гогоча, кинулся лохматым чёртом к пропасти, где лежали два мёртвые тела, он с проворством рыси начал было спускаться, его схватили за опояску, встряхнули и вытащили вверх. Глаза Напёрстка налились кровью и вертелись. Он сбросил шапку, отёр полой потное лицо и протянул руку Суслову:

— С благополучным окончанием дел... А кто? Я всё. Кабы не я, — чёрта лысого вам Зыкова сыскать... Ручку!

Суслов быстро убрал свои руки назад.

— Наградишка-то будет, ай не? — и широкий рот горбуна скривился в подхалимной, как грязная слизь, улыбке.

Суслов отступил на два шага и громко:

— Бывший партизан Напёрсток за кровожадную бессмысленную жестокость, проявленную им при разгроме города...

Напёрсток радостно улыбался, торжествующе поглядывая в застывшие лица красноармейцев, он не слышал, что говорит товарищ Суслов, и только одно слово, как визг стрелы, пронзило оба его уха:

— Расстрел.

— Хы-хы-хы, — ничего не соображая, бессмысленно заготовил Напёрсток, однако глаза его заметались от лица к лицу и сразу провалились, как в яму, в рот товарища Суслова.

— Взять! — резко открылся и закрылся рот.

---

Напёрсток сразу вырос на аршин, сразу до земли согнулся. Залп — и уродливое тело его заскакало по камням в смерть.

Был поздний вечер, тихий и тёплый. Лукерья суетилась по хозяйству. Девки пригнали коров и овец. Двор оживился.

Над свежей могилой под зелёной лиственницей, куда зарывали двух красноармейцев, прогремел последний залп в память со славою погибших. Пели революционные псалмы и стихиры. Товарищ Суслов говорил речь.

Терёха Толстолобов с красноармейцем поехали «на вершинах» в лес, сняли с петли удавленницу Степаниду и привезли домой. Терёха положил её в той комнате, где ночевала Таня, зажгёт лампадку и свечи, крякал, пил вино, утром собирался за попом. Но ему был дан приказ — с зарёю вывести отряд на дорогу.

Красноармейцы торопливо обстругивали большой надмогильный крест, Суслов сделал надпись. Крест белел даже среди ночи, на нём висел из хвой венки.

Ночь была холодная, как в сентябре, серпом красовался в небе месяц...

Утро было всё в тумане. Терёха повёл отряд. Лукерья с девками боялись мертвецов, ушли в лес.

И опять спустилась ночь, тёмная, без звёзд и месяца.

В пропасти кучкой лежали трое: кержак, каторжник и купеческая дочь. В избе, с тёмным и страшным лицом — Степанида. Возле заимки, с ржавым меж лопатками ножом, уткнув в мох морду, — медвежонок.

Заимка была пуста.

1922

---

---

## Вячеслав Шишков

Вячеслав Яковлевич Шишков родился в 1873 г. в Бежецке Тверской губернии.

Окончив строительное училище, он в 1894-м приехал работать в Томский округ путей сообщения и связал себя с ним на двадцать один год как изыскатель наиболее удобных водных и сухопутных коммуникаций. Положив лучшее время жизни на службу Сибири, Шишков считал её своей второй родиной.

В общественной жизни Томска он принимал деятельное участие — состоял в президиуме Общества изучения Сибири, сотрудничал с Обществом попечения о народном образовании, участвовал в Литературно-художественном кружке.

Его первая публикация оказалась весьма поздней: в тридцать пять лет в томской газете «Сибирская жизнь» он напечатал лирическую сказку «Кедр».

В ту пору Томск был интеллектуальным центром Сибири, и Шишков органично попал в круг здешних учёных и творческой интеллигенции. Почётное место среди его знакомых занимал Г. Н. Потанин, великий общественный деятель Сибири, пытавшийся формировать местную интеллигенцию и вызвавший к пробуждению гражданского самосознания. Именно он наказал Шишкову «писать и писать», а о персонажах рассказа «Ванька Хлюст» заметил: «Эти лица великолепно, выпукло обрисованы», и вообще в изображении у Шишкова «всякое пятнышко, всякая пушинка видны».

---

Шишков сетовал, что в его рассказах «слог чаще на простую беседу смахивает», однако читателя как раз брало за душу простое изложение событий и очень точная передача речи. О чём бы Шишков ни писал, он всегда старался выявить наиболее значимые черты человека или ситуации, чтобы читатель вник в психологию купца, переселенца, бродяги, тунгуса и уловил суть проблем, болезненных для человека и для общества. Шишков часто указывал на то, что границы взаимопонимания обусловлены социальными и национальными рамками, мешающими понять чужую душу, а в человеке надо прежде всего видеть человека.

Сюжет о самосуде над бродягами вырос в повесть «Тайга». Название символично, ибо тайга дана как образ душевной и духовной глухоты. Общественный уклад навязывает людям дикие отношения, да и у самих нутро греховное. После молебна — поножовщина, Бога в душе даже у попа нет. Понять чужую правду никто не желает. «Нет, — утверждают, — ты заодно с миром греси...» «Они кто?» — говорят про бродяг. — «Они, собаки, в Расее людей режут, а их сюда?.. Чтoб нашу сторону гадить?!» Убивают, а после каются. Дед Устин, чтобы вернуть ушедших на убийство, запалил свой дом, а потом вовсе ушёл, — и Шишков буквально настаивает на том, что не стоит село без праведника: над людьми разразилась гроза. Они опаматовались, но поздно. Шишков понимал, что социальные перемены окажутся безрадостными, если человек не преобразится к лучшему, и, поставив эпиграфом слова из послания апостола Павла: «Но мы нового небеси и новой земли чаем, где правда живет», — уже и сам выделил главное: «Русь! Веруй! Огнём очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена».

Газета «Сибирская жизнь» назвала «Тайгу» самым значительным произведением о крестьянской Сибири за последние десятилетия. Пожалуй, стоит с этим согласиться.

Изучив фарватеры многих рек, от Иртыша до Лены, Шишков в 1913 г. стал начальником партии по исследованию Чуйского тракта. Он предложил оптимальный вариант пути без мостов и переправ, но из-за I Мировой войны работу прекратили, а Шишкова как выдающегося инженера в 1915 г. пригласили работать в Петрограде в управлении шоссейных

---

дорог. По делам он побывал в Томске ещё однажды, в конце 1916-го.

Расставшись с Сибирью, он не желал расставаться с нею в своём творчестве («...я переполнен впечатлениями, которых хватит на всю жизнь...») и отобразил Сибирь и в рассказах, и в романе «Ватага», в котором живописал кровавую бойню Гражданской войны на юге Томской губернии.

Бывший комиссар чапаевской дивизии, писатель Д.А. Фурманов заявил, что в «Ватаге» Гражданская война дана в «смердящем виде», а Шишков потрясает «смелостью утверждений. Опасность от “Ватаги” усугубляется тем, что написана повесть хорошо, читается с большим захватом!». Полуоправдываясь, Шишков говорил, что «все описываемые события сдвинуты с исторического фокуса, характеристики и характеры действующих лиц сгущены, и внешней стороне романа придана эпическая, полусказочная форма... Зыковщина — это горячая накипь в народном движении... И как бы жестока и уродлива ни была трагедия ватаги Зыкова, она всё же полна народным страданием, отчаянием и гневом...».

Кузнецкий Алатау, где происходит действие романа, Шишков прекрасно знал, а в основу сюжета положил захват Кузнецка анархистским отрядом Рогова в декабре 1919-го. Писатель В.Я. Зазубрин, ранее осуждавший Шишкова, побывал в Кузнецке и понял, что Шишков оказался прав, — и не семьсот жителей было убито, а две тысячи, половина города: «Их, безоружных, просто выводили из домов, тут же у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо “именитых” и “лиц духовного звания” убивали в соборе. Редкая женщина или девушка в Кузнецке избегла гнусного насилия. Рубились люди, так сказать, по “классовому признаку”. Именно: руки мягкие — руби, на пальце кольцо или следы от него — руби...» Отрубали головы, это назвалось «красить шею». Читателей ужасала сцена распилки человека, но один из бывших роговцев написал Зазубрину: «Факт распилки колчаковских милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых подтверждениях не нуждается».

По словам автора, он хотел «поставить в центре романа психологию масс, лишённых идейного руководства», и

---

«вскрыть душу руководителя ватаги...». Вместо анархистов у Шишкова появились староверы, громящие храмы и убивающие священников, — это понадобилось, дабы сказать, что изначально разлом произошёл не в обществе, а в человеческой душе, взыскующей истину и слепой к различению добра и зла. «Она веками тоскует о правде — русская душа, — писал он, — но сказка ещё творится, и Великая Совесть ещё не народилась на земле». Однако Зыков, не понимающий, что делает, выглядел у Шишкова романтическим разбойником, не убедительным в своей нарочитости: слишком короткий был срок для появления вполне объективного произведения, слишком остро воспринимались недавние события, и литераторы ещё искали нужный угол зрения. Запечатлённый в «Ватаге» «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (по выражению Пушкина), требовал беспристрастного воплощения, а для этого существовала лишь одна возможность — историческая проекция, позволяющая всё увидеть в подлинном масштабе.

Жестокость этого мира Шишков чётко воплотил в финале романа. Все погибают, никого не простив. Зыков не хочет жить в мире, где не будет веры, умирающий комиссар требует убить свою сестру за её любовь к Зыкову, а та в гордыне кончает сама с собой.

В 1933 г. Шишков опубликовал роман «Угрюм-река», над которым трудился полтора десятка лет. Образ Нижней Тунгуски как Угрюм-реки стал образом потока жизни. «Главная тема романа, так сказать, генеральный центр его, возле которого вихрятся орбиты судеб многочисленных лиц, — это капитал со всем его специфическим запахом...» — так определил Шишков идею своего произведения. Герой «Угрюм-реки», купец Прохор Громов, поначалу мечтал, что «оживит этот мёртвый край», но жажда наживы оказалась сильнее. Шишков последовательно показал гибель Прохора как личности. «Я ни во что не верю», — говорит тот. — «Ищу точку опоры и не могу найти», — теряет рассудок и кончает самоубийством. «Мы съём свои человеческие масштабы в колесо истории», которая ломает людей, — полагал Шишков, но верил, что при иных социальных условиях вместо Угрюм-реки всё-таки потечёт «река Радости». Он считал «Угрюм-реку»

---

своим главным произведением, заявлял, что родился ради него, и на критику отвечал: «...я знаю только один закон: писать надо правдиво».

Он скончался в 1945 г., чуть-чуть не успев завершить десятилетний труд над хроникой «народной трагедии» о пугачёвщине и не дожив два месяца до полной победы в Великой Отечественной. Между прочим, уже в начале войны он утверждал, что перелом наступит тогда, когда на фронтах появятся сибиряки.

*Николай Серебряников*

---

---

# Содержание

Злосчастье . . . . .	5
Ванька Хлюст. . . . .	12
Краля . . . . .	35
Часовня . . . . .	55
Тайга . . . . .	66
Ватага. . . . .	209
<i>Николай Серебренников. Вячеслав Шишков . . . . .</i>	<i>337</i>

---

---

## «Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал; имеют художественную и общественную ценность; известны за пределами области.

1. И. А. Кущевский. «Николай Негорев, или Благополучный россиянин». (Кущевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — автор первого «томского» романа «Николай Негорев...», объективно описавший идейный разброд молодёжи 1860-х годов).

2. Н. И. Наумов. Рассказы. (Наумов Николай Иванович (1838—1901) — крупнейший сибирский писатель-народник).

3. Г. Д. Гребенщиков. Рассказы. (Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883—1964) — крупнейший сибирский прозаик первой половины XX века; с 1920 г. эмигрант. Автор «крестьянской эпопеи» «Чураевы»).

4. В. Я. Шишков. Рассказы. «Тайга». «Ватага». (Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — классик сибирской литературы. Автор романа «Угрюм-река», экранизированного в 1969 г.).

5. Г. М. Марков. «Строговы». (Марков Георгий Мокеевич (1911—1991) — автор романов, положивших начало традиции «романа поколений». Романы «Строговы» и «Сибирь» экранизированы в 1976 г., «Соль земли» — в 1978 г., повесть «Тростинка на ветру» — в 1980 г., роман «Грядущему веку» — в 1985 г.).

6. М. Л. Халфина. Рассказы. «Мачеха». (Халфина Мария Леонтьевна (1908—1988) — автор произведений о проблемах семьи (повесть «Мачеха» экранизирована в 1973 г., рассказ «Безотцовщина» — в 1976 г.).

7. В. В. Липатов. Рассказы и повести. (Липатов Виль Владимирович (1927—1979) — писатель социальной проблематики (экранизированы повести «Деревенский детектив» — в 1969 г., «Инженер Прончатов» — в 1972 г., «Анискин и Фантомас» — в 1974 г., роман «И это всё о нём» и повесть «И снова Анискин» — в 1978 г., повесть «Ещё до войны» — в 1984 г., роман «Игорь Саввович» — в 1987 г., повесть «Серая мышь» — в 1988 г.).

8. Вл. А. Колыхалов. «Дикие побеги». (Колыхалов Владимир Анисимович (1933—2009) — автор романа «Дикие побеги», показавший объективную картину жизни в послевоенной Сибири.

9. В. Д. Колупаев. Рассказы и повести. (Колупаев Виктор Дмитриевич (1936—2001) — выдающийся писатель-фантаст, «русский Брэдбери».

---

Литературно-художественное издание  
Вячеслав Яковлевич Шишков

## Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*  
Редактор-составитель тома *Н. В. Серебрянников*  
Технический редактор *А. Р. Рубан*  
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.  
Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания».  
Подписано в печать 18.06.2014 г. Печать офсетная.  
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.  
Усл. печ. л 21,4. Уч.-изд. л. 16,03. Тираж 1 000 экз.